

ISSN 0132-0637

1996



Октябрь

Октябрь

10 1996

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца этого года и в 1997 году
«Октябрь» предполагает опубликовать новые
произведения многих известных
авторов. Среди них:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая.

Валерий БЫЛИНСКИЙ. Июльское утро. Повесть.

Александр БОРОДЫНЯ. Религиозные войны. Роман.

Юрий БУЙДА. Рассказы.

Ролан БЫКОВ. Дочь болотного царя. Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. Ковчег. Роман.

Игорь ВОЛГИН. «Родиться в России...». Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. Повесть.

Вяч. Вс. ИВАНОВ. Воспоминания. Бродский.

Владимир КАНОВИЧ. Парк забытых евреев. Роман.

Юрий КАРЯКИН. Дневник русского читателя.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Письма к Господу Богу. Роман.

Руслан КИРЕЕВ. Виттинские легенды. Рассказы.

Михаил ЛЕВИТИН. Чушь собачья. Повесть.

Юнна МОРИЦ. Рассказы.

Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений. Рассказы.

Олег ПАВЛОВ. Дело Матюшина. Повесть.

Записки из-под сапога. Рассказы.

Михаил ПРИШВИН. Дневник 1938 года.

Михаил РОЩИН. Рассказы.

Генрих САПГИР. Бабье лето и несколько мужчин. Рассказы.

Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. Быть! Документальное повествование.

Борис ХАЗАНОВ. После нас потоп. Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. Просто голос. Поэма. Продолжение.

Асар ЭППЕЛЬ. Рассказы.

Следите за нашей дальнейшей рекламой!

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1996

ОКтябрь

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ.
Меня оставили жить. Повесть. Подготовка текста и публикация С. М. Смоктуновской и М. И. Смоктуновской 3
- Александр ТКАЧЕНКО.
Меж двух начал... Стихи 47
- Анатолий АНАНЬЕВ.
Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Продолжение 49
- Владимир КРАКОВСКИЙ.
Татьямба. Рассказ 145

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Владимир КАНТОР.
Лишенные наследства. К проблеме смены поколений в России 161

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Леонид БАТКИН.
О постмодернизме и «постмодернизме» 176

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Экс-курсия 189

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 30.08.96. Подписано к печати 23.09.96. Формат 70x108 $\frac{1}{8}$.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 15 720 экз. Заказ № 855. Цена 8900 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64,

214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел

поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Инокентий СМОКТУНОВСКИЙ

М е н я о с т а в и л и ж и т ь

ПОВЕСТЬ

*Отцу моему, Михаилу Петровичу
Смоктунвичу, погибшему на фронте
в 1942 году*

Глубокая ночь, время самой вязкой ее власти. Монотонные ритмы долгого марша расслабляли, укачивали, и редко какому звуку удавалось выделиться в толще однообразных звуков движения колонны и пробиться в изнуренное, заторможенное сознание идущих. Сон скашивал, гнул, сокрушал. Шли давно. Пора быть привалу, давно пора, уже давно неумоготу, но шум идущих в темноте людей расплзлся цепкой заразой — давил, стирал, выматывая последние силы, а привала все не было и не было. Но вот далеко за спинами наконец что-то прозвучало. Никто толком не разобрал, что это за команда, кто кричал и вообще был ли то крик, однако, кто слышал этот звук, затаился, притих — ждал его повторения, жадно надеясь услышать: «Стой, привал». Но топот сотен ног вытеснял то измученное ожидание. Мысли о другой какой-нибудь команде в отяжелевших, набрякших головах не возникало. Однако вскоре ясно и четко, приближаясь, послышалось: «Остерегись, не спать, возьми вправо». И легкая повозка, запряженная двумя лошадьми, резко прогромыхав, ушла вперед. Лошади не по-ночному неприятно громко фыркнули, словно давали сигнал, боясь наскочить на кого-нибудь в темноте. «Тоже не железные, поди, силы тоже, поди, на исходе». В повозке за спиной беспрестанно кричащего ординарца высохшим крючком промелькнул силуэт командира батальона, он вообще крючковат, будто ему всегда холодно, и, развалившись рядом с ним, кто-то, судя по безвольно мотающимся из стороны в сторону коленям, спал. «Скачут вперед, чтоб остановить голову колонны, по себе, должно быть, почувствовали, что пора». С этой мыслью было как будто светлее и легче, может быть, потому, что других вообще не было, а она хоть и одна-единственная, но честно и добросовестно выполняла свою работу — заставляя двигаться, моторно тащила вперед. Темные спины впереди мотались тенями, удаляясь, то вновь оказывались совсем близко, и резкий запах давно не мытых тел с тяжелым сопением заполнял собой сознание и все вокруг, и даже ощущалось тепло рядом идущих. Бормотание каких-то странных незнакомых слов неясной звуковой круговертью надоедливо вползло в сознание. Пришла мысль: должно быть, быстро иду, нужно помедленнее или даже несколько приостановиться, а потом опять качнуть себя вперед, чтоб не отстать. В какие-то моменты ожидание привала, придя вновь, вдруг оборачивалось ожесточением и надсадной ношей оседало в душе, и только темнота лесной дороги, казалось, была неизменной и бесконечной, как сама дорога.

Очевидно, та минута была одной из последних минут, когда еще мог носить себя, ночь, дорогу в лесу и все еще ждать, ждать... привала и, импульсивно переставляя ноги, все же двигался вперед, не опасаясь, пока вот-вот рухнешь подкошенным снопом, когда поднять тебя, по существу, уже не будет никаких сил. Еще какие-то совсем малые мгновения, и я действительно свалился бы,

зайдясь в подступившей истерике, и, чтоб хоть как-то противостоять этому надвигающемуся тупику, задрал голову, я заверещал на каких-то совершенно несвойственных мне высоких тонах:

— Не могли передние уйти так далеко, не могли, должны же они наконец остановиться когда-нибудь и дать... дать отдохнуть, лечь.

Кажется, оттуда же сверху, куда я только что невольно излил всю горечь накопившего приступа бессилия, ответили: «Лечь, где? Лес, снег, темнота». Не взяв в толк, что возражаю какому-то другому, совсем иному миру, все так же гнило пропищал:

— Все равно, все равно — лишь бы лечь, остановиться и лечь.

— Помочь, тяжело тебе? — теперь прозвучало совсем рядом над ухом.

Оглядываюсь... Никого.

— Вижу, ты не веришь, а я действительно готов помочь. — Двумя шагами впереди меня, несуразно мотаясь, тащил себя худой, длинный, как вешалка, славянин...

Он брел нескладно, вероятно, его так вело, и в те короткие моменты, когда он оказывался вывернутым вполоборота ко мне и все же успевал выложить свои дурацкие наставления, что-то очень бледное, длинное, как полено, маячило там, где у него должно было быть лицо... И лишь когда голые кроны деревьев уступали место темным разрывам-продыхам между ними, это «что-то» оказывалось все же чахоточно-длинным клином его лица.

— Чем можешь, потащить мой автомат или меня самого?

— Зачем такая крайность, она, надеюсь, тебе не понадобится. Да и не какая это не помощь, а так... минутная жалость, даже не сострадание — обман... Любит человек, чтоб его пожалели...

— Что ты несешь всякую ...ню, вот я издохну сейчас прямо здесь на дороге, и к чему тогда вся твоя сраная философия?

— Самому уходить из этого мира никогда не следует, об этом позаботятся другие. Видишь ли, ты попросту не прав, ты хочешь идти и спать — так не бывает.

— И совсем я не хочу идти — я хочу спать и ничего больше, только спать, спать, спать... только спать.

— Такая определенность замечательна и похвальна, но сейчас-то требуется идти, правда. Значит, надо идти, а спать будем, когда придем, и что тут толковать — не понимаю. Я, к примеру, не молод, как ты, и сил у меня намного меньше, а вот, как видишь, иду и не скулю, не ною — на судьбину не жалуюсь, наоборот, рад — иду в тыл... Значит, скоро отдохну и выплещу.

Я пытался разглядеть эту редкую «жердь». Никогда раньше в нашем подразделении я такого не видел. Длиннота его не могла не обращать на себя внимания. Он был худ, как я, но еще головы на полторы, а то и все две выше, длиннее...

Этот удивительный рост... И память властно относила меня на Днепровский плацдарм, где моя собственная удлинненность едва не оказалась причиной гибели. Немцы точными и плотными по насыщенности артналетами перебили нашу связь, протянутую по дну протоки (со штабом полка, не то дивизии — точно не помню), докладывать об обстановке на плацдарме высшему начальству, находящемуся на острове, посредине Днепра, должно быть, было необходимо (???), и из подразделений выбирали самых высоких ростом, чтобы те вброд под обстрелом, то и дело погружаясь с головой в воду, держа лишь над ней и, естественно, над водой пакет с какими-то там страшно секретными данными, могли, если повезет, пройти самый глубокий, а оттого самый опасный, медленный участок протоки и, выбежав из воды опрометью, сверкая голым задом, донестись по совершенно открытому, пологому, как хороший пляж, песчаному берегу до какого-нибудь овражка или ямы. Какой овражек, какая яма — берег ровный, как прекрасный пляж, тогда хотя бы просто залечь за вздутые от времени, нестерпимо дурно воняющие останки наших боевых товарищей — погибших лошадей, — перевести дух и опять что есть сил до следующего укрытия, а там, глядишь, и до спасительного леса. В одну из таких увеселительных прогулок выбрали меня и одного (небольшого роста) бойца из какого-то, как помнится, соседнего подразделения. Ничего не объяснив, нас привели в землянку начальника штаба полка, поставили рядом и мне одному приказали поднять руки вверх. Ничего не подозревая и думая, что и здесь продолжается вечное подтрунивание над моим ростом и худобой, я глупо тянулся в этукую несуразную

оглоблю, но, кажется, именно эта нелепая вытянутость произвела впечатление на стоящих перед нами офицеров; они едва ли не хором сказали: «О-о-о, здорово». И именно в тот момент, когда они так дружно «проокали», в их глазах я вдруг прочел старательно скрываемую ими опасность или вернее: «Жалко ребят, молодые такие, еще могли бы жить да жить...» Я все понял.

— Вот пакет, его сухим следует доставить в штаб на острове, через протоку ты идешь первым, ты старший, он...— Офицер показал на того плотного парня, молча с интересом наблюдавшего эти мои устремленные в накат блиндажа упражнения.— ...будет тебя подстраховывать, если что случится, ну, мало ли, ранят тебя, захлебнешься или...

Помню, и заминка его, и это его «или», довольно выразительно им не сказанное, не вызвали во мне ни героического порыва, ни самозабвенного вдохновения, скорее напротив, и я пересохшим вдруг горлом пытался было объяснить, что сейчас утро, все просматривается как на ладони, и у немцев брод пристрелян, и он бьет по нему не только навесным минометным огнем, но и просто-напросто, видя цель, прямой наводкой и, кажется, не самым мелким калибром своих орудий... К тому же вчера мы имели возможность наблюдать подобные дневные попытки <пройти> через эту же протоку, и оба посланных связанных у середины брода были расстреляны.

— И потом,— продолжал я увещевать спокойно, по-доброму слушающего меня, кажется, понимающего все, напутствовавшего нас начальника,— он совсем маленький, он захлебнется у берега,— показывал я на моего низкорослого подчиненного.— А там не меньше двух метров, я думаю, а местами так и поглубже. Вчера те двое, не знаю, вы посылали их, нет, но не прошли же — мы видели.

В общем, всячески убеждал, как мог убеждать восемнадцатилетний человек, страшно желавший жить,— говорил, что подобное задание, кроме нашей гибели, ничего не принесет, что попросту мы будем следующими, кто у середины протоки пойдет ко дну,— говоря все это, я поражался молчаливости офицера, его терпению.

— Вот поэтому сегодня идете вы в таком соотношении,— мягко прервал меня офицер,— он без оружия, и, повторяю, если что... он доберется вплавь, он прекрасный пловец, именно поэтому он и идет. Как видишь, мы все учли и исправляем ошибки вчерашнего.

И, видя, должно быть, что «пловец» осознал наконец ситуацию и собирается что-то сказать, офицер все так же мягко, как и раньше, но как-то уж очень отчужденно произнес:

— Да-а, вот так!!!

— Сейчас смеркается рано, может, лучше переждать пару-тройку часов, а то ведь так...— начал было до того безмолвствующий, но вдруг ставший страшно серьезным и с какими-то уж очень умными глазами мой помощник.— Вы же знаете, у него все пристреляно по этому броду, ночью он бьет с еще большей плотностью, чтоб не допустить возможного подкрепления нам... так что... сами видите, из двух зол... ничего другого не остается, как идти сейчас...

— Все, там ждут, выполняйте.— Офицер, вроде сказав все, что он должен был сказать, смотрел куда-то вбок.

Мы еще какое-то время стояли, и я увидел, как мой боец рядом чуть развел руками, они мелко-мелко дрожали и как бы спрашивали: «Как же это?!» — и, услышав: «Вернетесь — доложите, за вашим переходом протоки буду наблюдать сам, действуйте», — опустил их. Мы вышли.

Затем эта была обречена, это понимали все. Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не мог держаться со мною рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела, такое указание тоже было, и где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая хватить воздуха перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, увидел, как он, странно разбрасывая руки, боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился набок. Я что-то пытался крикнуть ему, но думаю, что это было неверно, глупо да и просто бесполезно — грохот разрывов усилившегося обстрела (ребята у минометов видели, что я пока все еще жив и на плаву уходил) заглушал все кругом. Пройдя глубокую часть протоки, на бегу оглядываясь, пытался схватить взглядом пройденный участок брода, но никого уже не было, его или снесло течением, или он затонул. Из-за какой-то коряги я еще пытался осмотреть все кругом, но берег и протока были тоскливо пусты. Тот

дурацкий пакет я доставил, в этом-то отношении все было в порядке, и меня даже представили к награде медалью «За отвагу», правда, вручили мне ее спустя сорок девять лет прямо на сцене МХАТа после спектакля «Мольер». Мои однопольчане-москвичи (их осталось — раз-два и обчелся) сами разыскивали все документы по этому награждению и в реляции (так, кажется, называется подобный документ) был кратко, по-казенному, описан этот нелепый, в общем-то никому не нужный (я и сейчас так думаю) эпизод. На острове мне разрешили задержаться до наступления темноты, и в свое расположение я вернулся ночью. Оказывается, за нашим купанием в Днепре наблюдали многие, и все, кто видел, как колошматили нас на протоке, были немало удивлены, узнав, что меня даже не царапнуло. «Ну, везет тебе, длинный, ты просто счастливчик, несмотря, что доходяжка».

И теперь, когда в прозрачном сумраке ночи то проявлялась совсем рядом, то едва не исчезала вовсе фигура этого действительно длинного и столь же разговорчивого человека, я наверное знал: будь он тогда на нашем небольшом плацдарме, вместо меня, без сомнения, протоку проходил бы он, и никому тогда и в голову не пришло бы заставлять его поднимать руки. Он все так же молот какую-то ерунду, но говорил почему-то громче. Мысль, что в протоке купалась бы эта долгая, болтливая каланча, показалась почему-то смешной и отвлекла меня от надсадной усталости... Неожиданно белесые глаза человека, только что мотавшего бледным призраком в студеной протоке Днепра, оказались у самого моего носа и усталились в меня.

— Слушай, что тебе в конце концов надо, ты напугал меня, отстань наконец... конца этому наконец не видно, конца... в конце... на конце концов!!!

— О, это понятно... так... заклинет на одном месте, ни туда и ни сюда, и никого, в конце концов... конца... Понимаю, я призван все понимать и прощать.

Голова, колыхнувшись несколько раз в такт шагов, вознеслась восвояси, и оттуда сплошным потоком понеслось известие что о каких-то концах, которые в конце концов... наконец, к концу... в конце... конец.

Я уже ничего не соображал и плохо слышал, отвлеченный тем, что только что колыхнулось передо мной. Какие... мутные уши... и размер... ничего себе... ничего подобного никогда не видывал... они были куда выразительнее этой его необычной долготы, вцепившись в них взглядом, я тем не менее услышал нечто, что многое объяснило:

— Никто и ничто не обходятся без меня. Я — всюду. Я — везде. Я — был, я — есть, я — буду, потому что я — всегда и присно и во веки веков!

Очень хотелось встрять и сказать «Аминь», но стало неудобно вдруг и немножко страшновато... Было совершенно ясно: рядом сумасшедший, как же это я раньше не догадался? А в армию-то его зачем же взяли? А-а-а, он, должно быть, уже здесь, на фронте, свихнулся... Он же здесь перебьет всех своих на хрен! Сумасшедший, совершенно определенно... уши, уши мутные — первый признак! О, с ним надо поосторожнее, не то не ровен час, влепит ни за что ни про что, и ищи-свищи ветра в поле. Не случайно он как-то присматривался ко мне... Вот они — уши! И тут вроде его опять подзарядили на ходу:

— Без меня человечество — вонь, грязь, плесень и чесотка, я его отмываю, делаю чистым, свежим, бодрым, способным на добрые дела и все еще, надеюсь, достойным моего внимания.

Оставаться дальше безучастным было небезопасно, выбора не было, и, легонько сторонясь его, я деликатно согласился с ним:

— Да-да, понимаю, товарищ... потому что вы — Господь Бог!

— А вот и не угадал, но близко... потому что я — варю мыло! Я — главный технолог мыловаренному заводу з мисту Николаеву. Ты був там? Це моя батьковщина — гарне мисто! — перешел он вдруг на одесский диалект.

Все услышанное о мыловарении было столь неожиданным, что, очевидно, пытаюсь свести это открытие к простому и реальному и определить, кто все же из нас двоих ненормальный, я остановился.

— Во, бачишь, хлопче, яка сила слова, ты встал, это так и должно быть... потому что,— перешел он опять на русский язык,— вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было БОГ, а потом уж появилось мыло, человечество и все остальное со всякими там семью парами чистых и, кажется, таким же количеством крупного рогатого и не менее интересного, но совсем не мытого, нужного, но не очень ухоженного всякого другого, в любом хозяйстве скота,

которого срочно нужно было мылить, мыть, чесать и гладить, иначе не было бы равновесия в мире, гармонии и, конечно, не было бы никакого мыла, и, что, разумеется, огорчительнее всего — не было бы нас с тобой. Как пусто, правда, и печально, не выговорить!

Совершенно запутавшись и перестав вообще что-либо соображать, я теперь решил по-доброму попросить его больше ничего не произносить — ни единого слова, потому что для того, чтобы осознать все произносимое им, тоже ведь нужны силы, и немалые, а поскольку... Однако новая волна откровений, дошедшая до моего сознания, оставила меня на ногах, но принудила быть не только настороже, но просто наготове.

— «Я — червь, я — раб, я — царь, я — Бог!» — уже как-то заходясь, выкрикивал он, нащупывая в темноте мою руку. — Теперь давай попробуем вместе, повторяй: Я — червь...

Как если бы прося пощады, я выдохнул:

— Я что-то не могу понять, о чем ты все время говоришь... и почему это я вдруг стал каким-то червем?

— Ну, что ж тут непонятого, подумаешь, бином Ньютона, все намного проще, повторяй за мной и иди в ногу: я — червь, я — раб, раз-два, я — царь, три-четыре, я — Бог, пять-шесть, и опять, раз-два, я — червь.

— Ну, хорошо, хорошо, я — червяк, араб, Мафусаил... и кто там еще, все равно ничего не понимаю и не хочу, и оставь, пожалуйста, ты видишь, я просто не могу.

— О, о, о, это непонимание и есть первое проявление очеловечивания, даже можно сказать, что ты на пороге сознания... А вот сейчас тебе будет совсем хорошо, именно это состояние когда-то совсем недурно определил мой предшественник Декарт. Правда, он был любитель, дилетант и совсем не умел варить мыло. Он говорил: «Я — мыслю. Я — существую!» Ну, ты сам подумай: как можно уметь мыслить, не умея варить мыло?

Бред, суший бред. И он чем-то очень холодным, освежающим, даже не спрося ничего, протер мое лицо, и запах далекой спокойной жизни приятно ударил в нос. И вот уж не знаю, не то он меня добил, не то я сам сломался, но я даже не испугался неожиданности его проделки и наконец имел возможность разглядеть, что же такое творится с его ушами... и был огорчен: это какие-то большие нахлобучки, которые только имели форму ушей, но были много больше, и этот странный мутный цвет, и все это совсем нехитрое сооружение уходило под пилотку, оставляя действительно очень узкий абрис его бледного лица.

Светало... Привала, как видно, решили не объявлять, и усталость, вернувшись, давила с новой силой. За спиной вдруг что-то произошло. Обернувшись, успел заметить метнувшуюся с дороги тень. Треск в бессильной злобе разбитого о дерево котелка (как потом выяснилось — полного молока) слился с истощенным воплем солдата: «Что хотите делайте, дальше не пойду, не могу!» Мгновенные мы растерянно топтались на месте и горохом сыпалась на снег и дорогу. Отбежав пяток шагов от терзавших все же меня «мутных ушей», я рухнул на землю. Солдат от одних ног перекатывался к другим и неприятно, надрывно, громко орал. Все молчали. Дорогу и небольшой редкий лесок у обочины заполнили собой кашель и тяжелое, рваное дыхание. Все всё понимали и тем не менее если бы были хоть какие-нибудь силы, то, пожалуй, в душе благословляли бы эту минуточку, позволившую наконец вытянуть ноги, а так как сил не было напрочь, то просто лежали, сопели, дышали.

Появился лейтенант, молча уставился на происходящее и, присев, старался поймать катавшего солдата и, когда ему удавалось задержать его, гладил по спине, голове и как-то уж очень уныло твердил: «Успокойся, просто полежи тихо, отдохни, так лучше». Было противно на душе, всего какими-нибудь двумя-тремя минутами раньше со мной должно было произойти это (да полноте, должно было, уже происходило, только я не орал как зарезанный, вот и вся разница, оттого и неволею). И не я ли своим писком невольно подтолкнул этого любителя молока на его вопль и конвульсии?

И, как ни убеждал себя, что он был далеко и не мог услышать меня, мысль, что я-то услышал его сразу и хорошо, так почему же он, будучи на таком же расстоянии, что и я от него, не мог услышать меня, СНЕДАЛА, было противно, как близко, как опасно близко был я к такому же! Однако правда и то, что вокруг меня тогда, во время моего вопля, было все наше подразделение, но ни-

кто же другой не завопил, не стал разбивать автомат о дерево, не бросился на землю, скорей, напротив, человек с ушами, к примеру, он просто был рядом, и более уравновешенного, спокойного человека трудно сыскать... Кстати, где он? Спросил и тут же уперся в него.

Облокотясь о дерево, «мутные уши» сидел спиной к «лобному месту» и смотрел в мою сторону (лучше б я его не искал). «Ты видишь — мы поступали правильно, а такое, как видишь, гадко!» — кричали его глаза, и лишь редущая темнота, тоже, должно быть, уставшая от борьбы с разливающимся рассветом, понимая меня, не спешила уходить, чтоб в сумраке мне было легче бороться с самим собой.

Все! Сейчас встану, подойду к этому прекрасному человеку с мутными ушами и скажу: «Я такое же говно, как этот, я кричал первый», — но не встал, не подошел и никому ничего не сказал... Пожалел сил? Нет... не мог, было стыдно! Было нестерпимо.

Угнетенный борьбой с самим собой, я, к сожалению, не мог в полной мере воспользоваться и впитать так неожиданно предоставившийся отдых. Вскоре мы опять шли. Намерений, чтоб уклониться или, напротив, искать соседства с «мутными ушами», не было, острота пережитого все делала безразличным, но, увидев его около себя, испытал что-то вроде облегчения, радость, хотя что он мне или что я ему? Но вот тем не менее такое было.

«Мутные уши» с мылопроизводства перебрало на виноделие, и перед тем, как спархнуться в еще какую-нибудь область человеческой деятельности, он вдруг спросил:

— Ты любишь виноград?

— Где ты возьмешь его сейчас?

— Ты меня или не слышишь, или я тебя переоценил, и, если хотя бы одно из предположений подтвердится, никакого винограда ты, конечно, не получишь... Итак, я еще раз повторю свой вопрос: «Ты любишь виноград?»

— Люблю.— Обилие вдруг хлынувшей слюны делало меня покорным и совсем немногословным.

— Прекрасно, сейчас мы все это вместе и сделаем, повторяй за мной: «Ваин-трауб...»

— А что это такое, вот это: Ваин-трауб?

— Это и есть виноград и некоторым образом — моя фамилия, мы с ним однофамильцы, он — виноград, и я — виноград, он везде, и я всюду, я тебе уже об этом как-то говорил.

— Ну, виноград... это я понимаю, а ты-то почему всюду?

— Потому что я делаю мыло, после хлеба и вина мыло — продукт первой необходимости... Итак, повторяй и шагай: «Ваин-трауб, раз-два, Мендель — Блок, три-четыре...»

— А это что еще такое?

— Мендель — это мое имя, а Блок — вторая моя фамилия, в отличие от моего родного брата, он тоже Мендель и тоже Блок, здесь уж ничего не поделаешь — местечковая еврейская ограниченность. И отец у нас Мендель, поэтому я для пущего смеха взял себе фамилию матери — Ваин-трауб... Однако мы отвлеклись...

Вскоре за ним пришел запыхавшийся связной, и я невольно узнал, что мой новый знакомый еще и переводчик при штабе полка; пообещав найти меня в месте дислокации, куда мы так долго держим путь, он ушел.

Конечно, это был необычный человек, не сумасшедший, нет, но и обольщаться по поводу его уравновешенности, как вспомню его эти выкрики: «Я — всюду, я — везде, я — всегда!» — я бы тоже поостерегся.

А вместе с тем как легко и очень просто он заставил меня навсегда запомнить его фамилию, хотя мы расстались с ним тогда навсегда, однако непростая фамилия его вот уже полвека живет в моей памяти, как пять других фамилий друзей-товарищей моих, с которыми довелось прожить долгие месяцы фронтовой жизни, такие, как Михаил Васильевич Привалов, Николай Георгиевич Степанов, старший лейтенант Кривошееенко (имя, отчество, к сожалению, не помню), генерал-лейтенант Каладзе, Фомин, правда, еще одну фамилию я помню, но не хочу вспоминать ни фамилию, ни самого того гадкого, мерзкого, страшного человека, он недостоин упоминания даже в обычном перечислении. А вот этого действительно прекрасного, замечательно доброго, нежного чело-

века, кажется, не забуду никогда уже хотя бы и потому, что он был последним человеком, кто был внимателен ко мне перед тем кошмаром, о котором я начинаю рассказ.

Ничто не предвещало того, что произошло здесь всего за одну на исходе зимы февральскую ночь. Это была небольшая обычная деревенька, каких огромное множество побывало уже на нашем долгом пути. Ее можно было бы отнести даже к уютным, чистеньким селениям, в которых жить покойно, надежно, — да, так оно, должно быть, и было.

Мы пришли сюда засветло, немногим позже полудня, но шли всю ночь и утро этого последнего для большинства из нас дня. Спина ныла, ноги гудели, и тяжелая, вялая голова медленно склонялась вниз, временами, как бы спохватываясь, закидывалась вверх, борясь с одолевшими ее усталостью и сном. В общем-то это — обычное состояние человека после долгого перехода, и во время войны никто никогда об этом не говорил. Дело это было, как говорится, привычное. Фронт, передовая — не самое подходящее место для разговоров об усталости. Да, уставали, так было.

Передовая требовала предельного выявления напряжения человека, его возможностей. Однако сейчас, собираясь написать о случившемся в этой деревне почти 50 лет назад, испытываю неловкость, вспомнив об усталости, и если все же продолжаю говорить о ней, то только потому, что именно в ней, думается, в ее предельной крайности таилась одна из зловещих причин случившегося.

Плетясь, буквально волоча отекавшие ноги, мы разбрелись по нескольким домам, уютившимся около почему-то очень темного, тонкого костела, однако часть из нас, в которую входил и я, сразу же должна была двинуться на окраину деревни. Эта необходимость казалась безрассудной и оттого противной. К чему же здесь эта скоропалительная чехарда, если мы действительно шли и пришли в тыл, как говорили нам сутки назад, когда снимали наши подразделения с утомительного, но все же победоносного преследования отходившего на запад противника? Однако приказ остается приказом, и здесь уж никакая там усталость в расчет не берется — ее нет, и все тут, хотя, по делу-то, только она одна и была. И, кроме нее, ничего.

Выбор пал на нас. Тяжело поднявшись, мы стояли, сонно сопя, ничего не соображая и не чувствуя, кроме разве зависти к тем, кто оставался сейчас в доме. Никто из них не смотрел в нашу сторону, чтоб не выказать невероятной радости везения — возможности вытянуть изнывшие руки-ноги, а может быть, и вздремнуть. Но вот ведь как непредсказуемо все и странно бывает! У них, кому мы так завидовали, всей жизни оставалось каких-нибудь два-три часа. Всех нас было человек 150, и если больше, то совсем немногим. Тогда же казалось — около двухсот, и в этом невольном преувеличении повинно, пожалуй, простое чувство самосохранения, а не какая-то там вдруг взывающая фантазия или безответственная выдумка — болтовня. Психотерапия, обычное успокаивающее человека самовнушение: нас много — мы сильны! Ну, правда, это уже где-то недалеко от стадного чувства, но, право же, на фронте бывало и такое, но об этом почему-то умалчивают, не говорят, не то стесняются, не то боятся. И еще одно (это уже из области мистики и математики, если вообще подобный симбиоз возможен): если на войне без жертв не обойтись, то не попасть в это фатальное, неминуемое число жертв — возможность, значительно более реальная в большом количестве находящихся вокруг тебя, чем в незначительном. Вот откуда-то эти неосознанные, но совсем не злонамеренные преувеличения.

Последний двор деревни, к которому вел нас командир, как объяснил он, — передовая (почему передовая, какая передовая в тылу?). Сейчас, пока еще светло, необходимо увидеть все собственными глазами на случай, если недругу вздумается пойти по этой дороге ночью — мы легко и безболно его остановим! Ну, остановим так остановим, что там говорить лишнее... Не в первый раз... Пришли. Действительно, это была окраина деревни, дома которой чуть полого спускались к небольшому болотцу. Дальше, метрах в двухстах пятидесяти, сплошным скучным валом шла железнодорожная насыпь. Ее однообразную унылость разбивал единственный проезд под нею, или то был мост, под которым протекал ручей. Сейчас не могу припомнить точно, скорей же всего подробность эта не была выяснена и тогда. За полотном поднималась лоскутная вспаханность полей со скудной белизной запавшего в глубокие борозды снега.

Железнодорожный путь скрывал от наших глаз еще одно болото, тянувшееся вдоль него с противоположной от нас стороны, и совсем вдаль спокойно темнел лес. Все кругом было тихо и мирно, и никаких признаков врага или какой-либо иной опасности мы не заметили, и, когда на фоне огромного, раскинувшего свои голые черные ветви дерева у дороги мы увидели вдруг солдата, усиленно махавшего нам руками: дескать, ложись! — кто-то из наших сострил: «Ну да, как же, сейчас разбежимся, мы только для этого сюда и пришли, чтоб ложиться». Раздались даже отдельные смешки солдат, оценивших шутку, и ни у кого не возникло и намека на зловещую изнанку этого доморощенного каламбура, что всего через несколько часов станет явью, вещим страшным предсказанием. Короткая команда заставила нас горохом рассыпаться по двору и канавам вдоль дороги.

По другую сторону дороги упрятанное ветками, настороженно пригнувшись, вроде чего-то ожидало 76-миллиметровое орудие с распластавшимся вокруг и под ним артиллерийским расчетом, человека четыре, напряженно всматривавшихся в сторону лощины. Тревога была неожиданной, и эта ее внезапность в каждом из нас откликнулась излишне сковывающей напряженностью, у которой, как говорят в народе, глаза велики. Обдало холодной испариной, внутри неприятно засосало, и мелкий нервный озноб понуждал учащенно дышать. Хотелось перевернуться на спину, вдохнуть всей грудью сырой, холодный воздух и сбить эту предвестницу неизвестно где ждущей, но явной, близкой опасности. Стряхнув вялость, голова работала ясно, не допускать преувеличения, но гнала прочь и излишнюю успокоенность. Однако все вокруг молчало и было, как казалось, миролюбивым.

И опять страшное подтверждение ограниченных человеческих возможностей, или действительно настолько мы все валялись с ног, что не воспринимали даже обычного: опасность подтвердили и даже рукой махнули... И тем не менее ни прямо, ни краем или каким-нибудь закоулком чувств никем не ощутилось, что из-за дорожного полотна в этой же тишине, затаясь, с не меньшим напряжением, чем вслушивались, всматривались мы, то же самое жадно проделывали те, кого мы должны были не пропустить, и они, учитывая все — сколько, где, как,— готовились к своей акции.

Порою приходится слышать удивительные истории о предчувствии беды, смерти и едва ли не предвидении надвигающейся катастрофы, и рассказы эти не только воспринимаются, но и звучат в устах очевидцев всех этих вещей, обстоятельность или самих героев, обладающих этим редким даром, убедительно и достоверно. Однако если и мелькнет некая настороженность, то лишь от чрезмерно подробной доказательности увлажнившегося рассказчика. Здесь же, во дворе этом, ничего такого не происходило, а казалось бы! Сколько прекрасных, молодых, всемогущих, бурлящих жизнью, жадных к ней существ — здесь у всех этих людей, полных не только здоровья, жизненной энергии, обычных физических сил и повышенных нервных, чутких импульсов и реакций. Три-четыре месяца фронтовой жизни вырабатывают в человеке этакий «локатор» восприятия всего происходящего вокруг, когда каждая клеточка, пора, даже легкомысленный кончик волоса трепетно, по-родительски подскажет, живо и быстро предупредит, даст почувствовать, где нужно, не раздумывая, плюхнуться куда попало, а где, напротив, можно спокойно пренебречь и шальным роением пуль, и точно высчитанной определенной площадью разрывов мин и снарядов. Ну, правда, это не столько предчувствие грядущего, сколько восприятие сиюминутности, где порою реагируешь, как ранее уже много раз попадавший в подобную облаву затравленный зверь,— тогда же не было и этой малости.

Почему ни одного из нас (если существуют эти биотоки предчувствия и ощущений), ни одного, в том числе и меня (правда, обстоятельства оставили меня жить, как и еще трех бойцов нашего подразделения), не захватило ощущение своих последних часов жизни?! Что же, все эти рассказы — пустая болтовня, ля-ля, давайте попридумаем, чего нет, но уж очень хотелось бы иметь? Не знаю, не знаю. Конечно, можно попытаться объяснить этот глухой тупик душевной отгороженности от мира и от самих себя, но ведь это — только предположение, не больше, которое так и остается лишь неловкой попыткой объяснения. Вот, право, и не знаю, как тут быть? Что говорить, доброе желание присваивать человеку больше, чем это обусловлено его чудесными, невероятными, вызывающими удивление и, собственно, создающими человека и его ощущение

ние чуда жизни пятью чувствами — похвально, однако жизнь не слишком часто подтверждает наличие этих новшеств, и не могу сказать, чтобы это вызывало уныние, у меня, например, нет.

Многие тысячелетия понадобятся для полного освоения того, что имеет сейчас отобранное скрупулезной эволюцией современный человек! Куда же больше? С этим бы совладать в меру. Разумно справиться в себе, среде и времени.

Большинство вместе с лейтенантом укрылось в огромном кирпичном амбаре в глубине двора, тянущемся параллельно дороге. Я оказался в группе поменьше, недалеко от того дерева, с орудием. Нам ближе и проще было уйти в другой, поменьше, амбар, такой же кирпичный, расположенный под прямым углом к своему большому соседу с разрывом между ними в шесть-семь метров.

Внутри амбара было сено, и — разумеется, это так понятно, — быстренько вытянувшись на нем, мы почувствовали, что есть жизнь и что наконец-то мы пришли домой. Однако отдыху не суждено было длиться.

Амбар наш вдруг вздрогнул, как от внезапного испуга, плотная волна воздуха, резко хлестнув в лицо, так же быстро исчезла, оставив по себе лишь запоздалый скрежет скользящей с крыши амбара черепицы и звон в ушах. Артиллерийский расчет умел не только наблюдать, и по этому поводу начали было острить, но с треском ударившая в косяк сарая дверь от второго выстрела орудия недовольно предупредила, что все не так весело, как кажется. Послышались крики: из большого амбара нас требовали к себе, и, уже пригнувшись, хотя для этого не было никаких видимых причин, мы перебежали туда. От того ли, что стали острее впитывать окружающее, не то два этих выстрела орудия насторожили, но привлек внимание ствол нашей громыхающей пушки — он был направлен куда-то вниз, даже немного ниже горизонтального уровня. Для нас, уже что-то повидавших на фронте, подобное положение орудия означало, что орудийный расчет просто видит цель и бьет по ней прямой наводкой. Значит, враг здесь, рядом. Теперь становилась понятной та поспешность, с которой нас перебрасывали с запада на восток, в противоположную сторону от фронта, и что, к сожалению, для того спринтерского ночного марафона были основания.

Эти мои мысли прервал приход той отдохавшей в это время другой части нашего подразделения, представив теперь другим возможность ознакомиться со всей этой несложкой странной обстановкой и местностью. Наш взвод или наша рота — не припомню точно, короче, мы оказались в двухэтажном доме не то школы, не то почты. Я и раньше часом назад заглядывал сюда в поисках воды, но не видел, чтобы там были какие-нибудь раненые, а теперь их было несколько человек. Даже не верилось. Может быть, я что-то и перепутал, но раненые — вот, налицо.

Двое, видно, только что перевязанные, лежали поодаль, и свежесть их бинтов с проступившими на них альбами пятнами крови, как зажженный фонарь для мошкары, в темноте неотступно притягивала к себе, заставляя вновь и вновь возвращаться к ним взглядом. На третьем бинтов не было видно, он лежал пластом, вроде продолжая стоять по команде «смирно», только лежа, он до боли пусто приоткрывал глаза и здесь же снова отчужденно, медленно, как бы бесшумно дыша ими, закрывал их. Было видно, что дело худо. Не зная, как в таких случаях поступать, дождавшись, когда он в очередной раз открыл глаза, наклонившись к нему, я спросил: как ты? Тяжело? Что ты хочешь?.. Он не увидел, не услышал меня, но, показалось, еще скупее сомкнул веки, как-то уж совсем медленно и плотнее, чем проделывал это раньше, вроде в последний раз, навсегда... Хотелось схватить, трясти, толкнуть, чтобы еще попытаться вырвать его из власти тихо, давно и терпеливо ожидающей смерти. Обожгло чувством вины: может быть, я своим приставанием невольным ускорил его кончину?.. С испугом и надеждой уставившись в его закрытые веки, я ждал... ждал долго... Они не открылись. Я начал было терять терпение, когда заметил, что грудь тихо... поднимается!

«А-а-а, жив, дорогой!» — радостно заколотилось внутри, словно он не только останется в живых, но и никогда больше не будет так страшно закрывать глаза, а через какое-то время вообще встанет и разделит с нами необходимость превозмочь усталость (никто еще не знал тогда, что в ожидавшем нас это будет самым малым, едва ли не легким, наивным усилием), будет рядом здоро-

вым, бодрым. И радость крепла, становилась больше, чем яснее доходила до меня нелепость моего вывода: «Если человек так закрыл глаза да к тому же долго не открывал их, значит — все. Не-ет, не все... живем!»

От моей столь бурно вспыхнувшей радости осталось лишь скомканное ощущение неловкости, когда я увидел, как он открыл глаза... И он ли открыл их? Они приоткрылись неосознанно, повинувшись лишь великому инстинкту жизни, прорвавшемуся через хаотическое нагромождение поверженной гармонии, чтобы хоть раз, еще только один — последний — раз восстановить угасающую связь с уходящим от него миром мысли, света и духа.

— Эй, солдат... не мучь его, видишь, он отходит.

— Я хотел помочь ему.

— В этом помогать не надо.

— Я совсем не в этом. Я...

— Ну, вот и отойди от него.

— Ну, если ты все знаешь, так ты подойди, а то из-за Волги глотку лудить, бревна катить...

— Ты смотри, какой умный... про Волгу знает, а про пеленки давно забыл, засранец?

И что-то еще несвязное недовольно, про себя бормотал тот человек, но по-нукал не зло, скорее вяло, устало, безразлично. Я умолк, стараясь вспомнить молитву, которой научила меня баба Васька Шевчук еще на Украине, когда меня, сбежавшего из немецкого лагеря военнопленных (я успел побывать и в этом обездоленном горьком положении), умирающего от истощения, болезни и душевного шока, рискуя своими жизнями, укрыли, пригрели, отмыли и выходили дорогие моему сердцу украинцы в Каменец-Подольской области (теперь Хмельницкая область). Это конец сорок третьего и начало, а точнее, январь — март, сорок четвертого года. Пленен я был под Житомиром 3 декабря сорок третьего года. Но об этом обо всем нужно специально, подробно, не спеша. Слушая лишь сердце и благодаря мгновения за восстановление правды.

На столе, запрокинув голову и как-то уж особенно шумно дыша, неловко подпирая себя руками, сидел еще один раненый... Ему, должно быть, обязан я в какой-то степени своим спасением тогда. Он, разумеется, не знал об этом да и не знает, если он остался жить, но, думаю, вряд ли — в ту ночь и после нее выйти из деревни тяжело раненным было совершенно невозможно.

Раненые в жизни фронта — явление частое, страшное, многострадальное, но все же повседневное, к чему привыкаешь. Они, собственно, составляли одну из постоянных частей этой жизни, и часть значимую, высокую, но порою такую тяжелую — просто невыносимую. Идет война — они есть, к несчастью, должны быть, и это никакой не вывод — это страшная суть войны. Однако внезапное появление этих раненых сейчас здесь, черт-те где от линии фронта, было недоброй, совсем недоброй приметой, и не я один так считал — по лицам моих товарищей было видно, что встревожены все. Свежая белизна бинтов раненых вопила, кричала, что ребята попали в беду, если не только что, то и не так давно и скорей всего недалеко от этого места, где мы сейчас, пытаюсь осмыслить увиденное, таращим на них глаза... Да, хотелось хоть что-нибудь знать, и это одно было бы значительно большим, чем знали мы, но спросить было не у кого, никто ничего не знал... Как же так, например, мы за все время ночного перехода ни разу не вступали с противником ни в какое соотношение сил, намерений или настроений? Да мы вроде бы и не должны были попадать ни в какие там передраги...

Мы шли себе и шли, и в этом нет ничего такого необыкновенного или непривычного, но, однако же... Мы-то шли в тыл, нам так и говорили: вы идете в тыл, чтобы просто своим присутствием, наличием, так сказать, морально давить на «окруженную группировку», которая, видя, что мы здесь и ее дело поэтому просто плохо, в конце концов сдастся — вот и все! Ну, мы и пришли, готовые давить морально, психически, да как угодно, а тут оказывается — обыкновенная война, и к нам попадают раненые из каких-то других частей, которые уже встречались с этим противником и выяснили, что он не очень согласен с тем, что ему уж так совсем плохо и что его кличут «окруженной группировкой». Да к тому же это подозрительно долгое отсутствие санитаров, вопиющих доставивших группу раненых, бросивших их и исчезнувших куда-то, надо полагать, не по личным делам... Значит, либо мы, идя в тыл, каким-то образом

опять вышли к фронту, что, кстати, запросто могло случиться: попробуй-ка всю ночь едва ли не бегом, дорогой, правда, но в лесу, темно, а порою так и буреками, либо, активно окружая уже окруженного противника, сами ненароком немного попали в окружение, что, естественно, много хуже и скучнее первой половины этого второго предположения.

Как бы там ни было, но все вокруг говорило о противнике, а мы не слышим никакой стрельбы и никаких тебе разрывов, кроме двух выстрелов нашего орудия, и то каких-то странных — себе под нос!

Не могу сказать, чтобы все это было слишком радостным и внушало какое-то повышенное ощущение полноты спокойствия: ведь он все-таки где-то здесь... Значит, что же? Затаился... Зачем? С какой целью? Где? И это бы еще ничего — привычно, и мы не раз могли не только постоять за себя, но порою принудить, заставить понять ту, другую сторону передовой, что каждый может иметь не только силу, но и достоинство, убеждения, права и не считаться с этим — нехорошо! Но в том-то вся и заковыка, что здесь все было иное, начиная с того, что никто не знал, где и вообще есть ли она, передовая, и враг здесь мог быть, которому все нипочем, лишь бы выйти из окружения, да и нам самим недурно бы иметь врага где-нибудь с одной стороны, а здесь все пока неясно...

Нервно перебирая все это в башкенции, я вдруг увидел нечто невероятное — раненый на столе, очевидно, устав ждать или решив переменить положение, повернулся другой своей стороной! У бедняги были сорваны все нижние ребра с правой стороны груди, да, собственно, она вся была срезана, открыта, зияла огромная темная дыра, и при вдохе темно-синяя с перламутровым отливом плевра легкого, клокоча и хлюпая, выходила неровными скользкими вздутиями наружу. Как он терпел? Не знаю, чем объяснить, но крови, как ни странно, было немного.

— Ну, где же они? — взмолился он.

В голосе слышалось, как он страдает. Не нужно было обладать какой-то повышенной сообразительностью (да такой у меня никогда и не было), чтобы понять, что он ждал и звал санитаров. Нависла тишина... Тишина была неприятной, долгой, нехорошей... За нею даже не скрывалось, а было понимание ее всеми, и все же все продолжали молчать. Напряжение последних дней и бессонная ночь перехода вытравили душевные силы, и их хватало лишь на то, чтобы каждый стал глуше, скупее в голосе и движениях. Признаюсь, и я бы промолчал, так как сил, ну просто напрочь не было, но меня угораздило быть рядом и, проклиная, что всегда это так — все в конечном счете сваливается на меня, стал оглядываться по сторонам в надежде отыскать кого-нибудь из медсанбата, однако какой-то славянин, подзвав меня жестом, тихо и с досадой пояснил, чтобы я не очень хорохорился: санитары, внесшие их сюда, забрали с собой и наших двоих из санроты, ушли за оставшимися еще где-то ранеными и скоро должны вернуться. Но вот время идет, а их что-то нет и нет... Так что ты не вылупливайся, а утомись, так будет лучше... тебе... ему... да и всем.

— Кто-нибудь, перевяжите меня... я умру! — уже прокричал раненый на столе.

В общей сутолоке его, должно быть, не очень-то и слышали, оправдывал я себя, всех и эту ненормальную, надсадную тишину, а кто и слышал, не знал, как и что делать в этом редком случае. Я продолжал стоять самым близким к нему и испытывал страшную неловкость от невнимания всех к его горю, но меня уже одернули, выговорили, что я суюсь не в свое дело, и я молчал, но, видя, что он вдруг учащенно задышал, и боясь, как бы этот измученный болью и страхом мир не взорвался в исступлении и безысходности и, израсходовав остаток сил, не угас бы одиноко среди множества разбросанного на полу люда, подошел к нему.

— Потерпи, дорогой, видишь, здесь из медроты нет пока никого... все молчат... не знаю, как и чем помочь тебе.— Я дотронулся до его руки.— Теперь, должно быть, уж скоро придут.

Он поднял дикие глаза и, так же хлюпая легкими, остановился взглядом на мне, как если бы вопрошал, ждал, что я скажу что-нибудь могущее успокоить его. Что я мог сказать, я молчал, продолжая равнодушно, как бы совсем безразлично смотреть вареным судаком, кляня про себя и минуту ту, и его лихорадочные глаза, и что опять я туда, куда не следует, полез, и что я такая тряпка, а главное, что опять, опять не отдохну, и что черт меня дернул оказаться именно

здесь — на этом, казалось, более свободном месте. На самом же деле, увидя этих раненых, все расплзлись по углам и стенам, чтобы избежать хлопот — забот о них, — и в общем-то это понять можно, — все валились с ног, и я устал не меньше других, но как-то наивно предполагал, что будем делать все вместе — сообща и быстро и никому тогда не будет в тягость, уже хотя бы потому, что каждый из нас мог тоже оказаться в подобном положении, а может быть, оказаться в худшем. Однако жизнь распорядилась иначе.

Он продолжал сверлить взглядом, и казалось, этому не будет конца. Я был близок к тому, чтобы прервать это насилие и сдаться, но тут дало себя знать то, на что я никак не мог рассчитывать в ту далекую пору, сработало, должно быть, врожденное — гены, и я ни с того ни с сего, вроде у меня и не колотило в висках, так же безразлично-сонно глядя на него, спросил:

— Ты что смотришь, узнаешь, что ли, меня? Я тебя не знаю, например, не помню, из какого ты батальона, или ты не наш. — Видя, что вроде недурно получается, и осмелев, уже пытался я ухлопать двух зайцев: и подозрение его отвести, и какая часть, откуда и что случилось с нею — разузнать.

Однако он был совсем не дурак и откровенно недобро смотрел на меня.

— Мне просто даже неудобно, я думаю, ты перепутал что-нибудь, мы только сегодня пришли сюда, так что видишь...

Без труда можно было заметить, как безуспешно он боролся с полным недоумением в самом себе. Какое-то время он продолжал, как и раньше, смотреть на меня, вроде оставляя мое актерское выступление без всякого внимания, затем, очевидно, решив переменить подход к этой задаче, совсем по-другому осмотрел меня всего. Кажется, в нем промелькнуло сомнение: уж не идиот ли перед ним? Плуг был глубоко, и я пахал свою борозду: «Нет-нет, ты ошибаешься, я, например, тебя не знаю», — я видел, что он готов и очень хочет верить, но не хватает лишь йоты, капли.

— Ты перевяжи, — сказал он тихо-тихо, — у тебя получится.

Казалось, сжалился он, а может быть, и действительно поверил, что ничего такого страшного я в нем не заметил и у него еще есть надежда выжить. Я, чувствуя, что удастся, теперь уже бесстыдно, но все так же скучно уставился в его разверстую грудь и чувствовал, что он в это время изучает меня не меньше, чем раньше.

— Не смею, боюсь, у тебя же вона-а какая царапина... Не страшно, но не просто, совладай-ка с ней, например, попробуй. Ан не враз, здесь прилежание, как в школе, подавай тоже, а то, не ровен час, и повредить недолго, — болтал я что-то такое, чтобы уйти от его пристального взгляда. — Слава Богу, что еще ничего не задето, открыто, и все... Можно сказать, повезло тебе, парень, потому-то они тебя и не перебинтовали, должно быть... Подождет, дескать, ничего, других-то вона как, что твои дети в пеленках лежат, замотали так — где начало, где конец, не найдешь.

— Думаешь, не страшно, пронесет? — не сразу, но жадно цеплялся он.

— Чего тут думать, и не собираюсь заниматься этим, вижу просто, потому-то они и махнули рукой на тебя, — сказал и уж потом сообразил, что это можно понять двояко.

Осекшись, я не сразу обрел уверенность и нужный тон и стал нести совсем уж какую-то жуткую ахинею, вроде: «А теперь не умеючи, поди-ка попытайся и не сразу, не вдруг — школа нужна, навык». Он молчал. Скажи он хоть слово, и я бы уж теперь законно перевел разговор на то, где это их всех так угораздило, но он только настороженно, вопрошающе смотрел.

— Ну, давай попытаемся, попробуем, хотя, честно говоря — боюсь, никогда не делал этого... Ты пока потерпи, брат. Запрокинь голову, как ты сидел, тебе так легче, кажется, было.

Этого говорить не следовало, и он это понял и совсем по-иному, недобро, подозрительно смотрел на меня, устав, должно быть, от непонимания, кто же в конце концов перед ним — слабый, доверчивый, «без царя в голове» придурок, пентюх или затаенный, вероломный, все видящий и понимающий дьявол?! Ему было над чем подумать, впрочем, это нелишним было бы и мне.

— Давай запрокинь, запрокинь... Я же видел, как ты отдыхал давеча, от меня, брат, ничего не скроешь, я всюду, я всегда, я царь, я... брат, я червь, и не думай, что я дурак дураком, все замечу, все учту, потому что я был, я есть, я буду... потому что я... этот... этот... никакого винограда, конечно, не получишь...

но голову запрокинь... эта поза называется Ваинтрауб... нет-нет... мелкий блок... запрокидывай, вот так,— тут же всюю командовал я, понимая, что хоть и проговорился, но теперь, чтобы выстоять, нужно продолжать тянуть одну и ту же линию.

Был какой-то момент, когда показалось, что он вот-вот спросит, сколько лет мне, откуда и кто я такой, но, боясь, должно быть, совсем запутаться, где правда, а где ложь, глубоко вздохнул и закрыл глаза — смирился, я доконал-таки его, но больше — самого себя, помнится.

— Ребята, эй, не спать!.. У кого индивидуаль... индуваль... идивидидаль... — Слово «индивидуальные» не давалось.— У кого бинты, пакеты личные есть, дайте, тут солдату необходимо! — уже едва ли не нагло, громко кричал я на радостях, что избавился от пытки, но больше от того, что под личиной необходимости сгустить краски для успешного сбора пакетов могу наконец сказать правду. Оказывается, все эти мои манипуляции наблюдал наш лейтенант и один из первых протянул мне пакет: «Помоги, помоги ему, сержант... все правильно».

Откуда только силы берутся — подбодренный, я носился по дому, как хорошо выспавшийся, отдохнувший бегун какой-нибудь, ну, правда, это самочувствие такое было; внешне же я не очень, наверное, подтверждал то состояние души, не случайно кто-то, протянув пакет, крикнул: «Эй, доходяга, вот возьми!» Но это все мелочи, важно, что у меня уже было полно пакетов, и, увидев, что мой раненый смотрит, как я все это проделываю, строил ему в ответ веселые рожи, показывая кучу прекрасных, запечатанных пакетов: живем, дескать, со владаем и с этим, ты только потерпи, брат! Невероятно, показалось — он улыбнулся.

И опять вспомнились Ваинтрауб и его это совершенно непереборимое «жить и радоваться жизни», почему-то его нигде не видно. Наверное, в штабном доме где-нибудь... Хотя здесь тоже офицеров пруд пруди и он мог бы быть здесь, но вот пока нет нигде. Наконец я приступил к перевязке и волновался так, словно это я сорвал ему грудь. Да-а-а, дело-то это, оказывается, совсем непростое и много всяких непонятностей, вопросов: рана немалая — пакеты небольшие, надо сшивать, и опять шарада — дотрагиваться до стерильной поверхности нельзя и края раны необходимо каким-то образом промыть, продезинфицировать; откуда-то появилась кружка со спиртом, не то с несколькими глотками водки... И снова загадка: как и чем прикрыть саму рану, а то ведь можно вместо помощи еще больше повредить. В общем, я изрядно попотел, кто-то издали корректировал, подсказывал, но помочь никто, к сожалению, не помог — все сидели, лежали, сопели, храпели, но... то ли врожденная крестьянская жила — все делать так, чтоб уж потом сто раз не переделывать, то ли ответственность дела сказались, а может быть, была одна из прекрасных минут жизни и созидания ее, не знаю, что там такое было, однако перевязка с трудом, но получилась, и я радовался и не мог скрывать этой своей радости. Меня всего маленько колотило, знобило, в глазах колики появились, и мой раненый, недоумевая, что это со мной происходит, уставился в меня и опять тихо спросил:

— Ты что?

— Знаешь, кажется, получается, вот меня и трясет от радости.

Он смотрел строго, серьезно, и я даже подумал, что он хочет спросить: кто же я все-таки, откуда, из какой части? Но он не только не спросил, но я увидел, что, находясь во власти своих мыслей и болей, даже не видел меня, а через малое время вообще забыл бы меня, и мое воспаленное лицо, и жар, в который меня так неожиданно бросило, если бы события несколько повременили со скоростями... Перевязать до конца не удалось.

Автоматные очереди с противоположной стороны улицы, истерически захлебываясь в шальном азарте, прорезали окна и двери нашего дома. Такого не ожидали. К счастью, никто не пострадал, однако все повскакивали, готова оружие. «Спокойно, оставаться на местах!» — Наш лейтенант был не молод и в свои двадцать восемь — тридцать лет был завидно уравновешен. Я легко уговорил моего раненого спуститься на пол под подоконник только что расстрелянного окна, и он, как переломанный в пояснице, тяжело опираясь на мою руку, осторожно посылая себя в сторону каждого шага, медленно перешел туда. Ему, наверное, было много хуже, чем казалось. Очевидно, я имел дело с редко сильным человеком.

Где-то недалеко спеша, вроде стараясь опередить друг друга, разрывая тишину ранних сумерек, взрывались мины. Колотило долго, жестоко. Слышались не выстрелы, а разрывы — значит, били не мы, а другие нас. Да и по внезапности, жестокости налета это тоже не могли быть наши... Злорадство и спешная плотность артналета вернули нас в жесткие будни передовой. Что происходит? И что же наши? Где они? Почему молчат? Может быть, я не разглядел, но, кроме той пушки, я что-то не заметил, чтобы у нас была еще какая-то артиллерия. Да-а... дела! Не шибкие. Совсем не шибкие. Отдых, к которому с надеждой шли и ждали, не начавшись, кончился. Теперь мы должны быть там, это понимали все. Однако лейтенант, подпирая спиной стену, пусто смотрел перед собой. Я, ожидая, когда мой раненый расположит себя на подставленный ему ящик из-под боеприпасов, заметил, как некоторые солдаты скрыто поглядывали на лейтенанта, боясь своими взглядами напомнить командиру, что — пора.

Заканчивать перевязку на полу было неловко, не с руки, ко всем другим трудностям теперь прибавилась еще и стена — она просто мешала, и я все делал, но получалось все страшно медленно, но никто не понукал, не подгонял — все ждали.

Как-то страшно вбежавший связной негромко, но, судя по всему, что-то неприятное сообщил лейтенанту, тот дернулся, отвернулся к стене и какое-то время вроде безучастно сидел боком. Лица не было видно, и что поразительно — не хотелось, чтобы он поворачивался, вообще было неловко смотреть в его сторону, стало вдруг тесно, хотелось глубоко вдохнуть. Я проглядел, когда лейтенант встал, но, увидев его, на мгновение не поверил своим глазам — он был бел, как известка.

— Пошли и мы, — тихо сказал он.

Все слышали, понимали, но остались, как были.

— Взвод, встать! — так же негромко скорее проговорил, чем скомандовал лейтенант, чтобы выйти, он должен был пройти мимо меня и уже на ходу бросил: — Догоняй!

И все это многоликое, но в чем-то очень схожее один с другим скопление людей двинулось в свой последний путь.

Санитары не появлялись, и мой раненый, поняв, должно быть, что они и не придут, стал совсем отрешенно тихим — смирился, однако, увидев, что я собираюсь уходить, взял мою руку и, помолчав, попросил воды, и, когда я, раздобыв ее, вернулся, он, устав от боли или все же сказавшаяся потеря крови при ранении, впал в полубезумие. Другой так же послушно вытянуто лежал под лестницей, но глаз больше не открывал. На грудь его не глядел — боялся. Двое, что смотрелись близнецами, также тяжело и основательно лежали «затонувшими бревнами», и помочь им чем-нибудь конкретным, кроме как подать воды или свернуть сигарку, я не мог, да они ничего и не просили, а лежали себе, никого не обременяя, и все вокруг им было нипочем, его для них просто не существовало. За стенами дома перестрелка не унималась, и пули то и дело, не встретя никого на своем пути, в бессильной злобе залетая в наше помещение, сердито отбивали штукатурку со стен. Надо было идти. В возвращение санитаров я не верил (уж очень долго они не появлялись), а теперь просто знал: с ними что-то случилось, в любом другом случае они были бы здесь. В доме еще оставался какой-то штабной люд: группа офицеров и человек двадцать саперов, связистов. Попросив посматривать теперь уже за моим пострадавшим, я вывалился за порог и тут же уткнулся носом в какую-то каменную или чугунную тумбу, служившую, очевидно, когда-то основанием для парадного фонаря. Теперь времена иные и много удобнее и надежнее обходиться без всяких подсветов. В полутьме сумерек мелькали темные силуэты. Кто такие, определить было трудно. Никого не окликай, чтоб вместо ответа не получить в живот очередь из автомата, перебегай от одного дома к другому и сам превратившись в одну из мелькавших теней, я быстро добрался до знакомых амбаров.

Дальше все пошло, покатило, стремительно нарастая, переплетаясь, завязываясь в сплошной клубок боли, нервов, озверелого ожесточения, смертей, невыразимо тяжелой, давящей тоски, отчаяния и черных провалов тупого безразличия ко всему происходящему вокруг и к самому себе, словно впереди предстоит прожить еще три-четыре сотни жизней и этой одной, такой рваной, нервной, несложившейся, можно, пожалуй, сейчас и пренебречь, потому как уж очень тяжело и долго, мучительно. То все вдруг уходило за внезапной, букваль-

но вламывающейся, невероятной жадой выжить, выстоять, не пустить: вы претесь, ломитесь, вам непременно надо пройти — это понять можно, мы сами иногда лезем черт-те куда на рожон, однако в подобных случаях мы больше во власти жертвенности, исполнения долга, но никогда не истребления всего вокруг — никогда! Нет, голубчики, не такой ценой! Вы что-то перепутали или недоумали. Но так нельзя! Не надо! Не надо!

Те давно ушедшие часы представляются мне сейчас какой-то непрерывной спешкой к единому, уже predetermined, неуклонно тянувшему к себе концу. Могло лишь показаться, что среда и время все еще пребывали в том соответствии, которое несет в себе надежду на то, что еще многое впереди, все будет, и поэтому никто не заметил уже случившееся.

...Неясные, темные пятна вытягивались в неровную полосу, и она, изгибаясь, собиралась, сгущаясь до черных провалов на фоне снега, и вновь распалась на отдельно бегущие группы.

— Опять гости.

— Ох, видно, немало их там, за полотном!

— Почему за полотном — тебе их и перед ним хватит.

— Мне их хоть бы век не видеть и не слышать ни одного, так не очень бы...

Быстрые, нервные вспышки за насыпью железной дороги то тут, то там четко высветили ровную черную границу ее. Начинается!

— В укрытие, в укрытие!

Мы ринулись в амбары. Через полторы-две минуты они будут здесь. Только бы вовремя залечь после налета, иначе...

— Проверить оружие!.. Гранаты наготове?

Писк, вой, скрежет, свист, грохот, остервенелое месиво взрывов, резкий стукоток осколков, пыль и осыпающаяся земля с развороченного потолка амбара. Видно, не на шутку взялись, надоело цирлих-манирлих разводить...

— Приготовились!

Невольно разбившись на две группы, тесно прижавшись друг к другу, одни по одну сторону дверей, другие — по другую.

— Сейчас он перенесет огонь в глубь двора, и вы, — указал на нас совсем незнакомый какой-то человек, — всей оравой налево между сараями! С вами будут еще из того сарая с лейтенантом, а вы все со мной...

И без того, кажется, надорванный голос его потонул в неистовом грохоте взрывов, амбар трясло, с потолка уже валилось, и казалось, в следующее мгновение, не выдержав, он рухнет. Было нечем дышать. Несколько мин со страшным ревом взорвали черный снег у наших дверей, обдав нас вонью взрывчатки и жженого металла. Вдруг три-четыре быстрых острых вспышки и грохот орудия рядом. Всех отбросило, прижало к углам.

— Молодцы, братва! — орал кто-то из угла.

Я не мог пробить горло от пыли, душил кашель. Кто-то пытался колотить меня по спине...

— Пожа...лей, бра..з...здесь ви...вилы... о-осторож...

В следующее мгновение весь двор превратился в ослепительно яркий, взрывающийся мир... Все ринулись к дверям. Вспарывая темноту, ракеты снапами взлетали за нашим сараем. Ночь уступила место страшному карнавалу. Тени амбаров, огромного дерева металась в дьявольской пляске, насакивая одна на другую. Двор стонал от разрыва мин и визга осколков.

Незнакомец, осторожно высунувшись из ворот, напряженно всматривался в сторону большого амбара. Мы стояли, дыша друг другу в шею, плечи. Вытянутая рука незнакомца слегка дрожала, как бы говорила, сдерживая нас: сейчас, сейчас, потерпите!

— Пора. Пошли-и!

От большого амбара бежала группа наших, человек восемь... Лейтенанта не было — не увидел...

Надсадный ор из ложины. Бегущая темная полоса с лихорадочной переключкой вспышек автоматных очередей. Тряска приклада... Рядом, справа, до боли в ухо глушит автомат соседа. Ничего не слышу... надо бы отползти... Пытаюсь спустить ухо шапки. Где-то за спиной бешеный хоровод взрывов и истерический визг осколков над головой... Стоявший за углом амбара чей-то темный силуэт вырвал автомат и медленно сползал вниз.

— Ах, мерзавцы, что творят, что делают!

Комки земли, камней сыпались, не переставая, осатанелый, сплошной вопль летел снизу, нарастая, и пляска светляков автоматного огня, устремившихся на нас, была близкой. Вой пропал в остервенелом хохоте наших автоматов и опять истошно врывается в сырую темь ночи, когда руку сводило острой болью судороги и немалых усилий стоило распрямить искореженные ею пальцы. Темнота, устав скрывать, быстро приближала к нам мутно-серые пятна орущих лиц. Их много — огромная колыхающаяся гряда, уже слышны тяжелое дыхание бегущих и топот ног.

— Гранаты, гранаты! — разрывая хаос звуков, несло из-за амбара в темноте.

Слева иступленно, с силой махали руками. Вскочив, далеко швырнул гранату и, вырвав кольцо у другой, момент высматривал место нужнее — вторая полетела за первой. Гранаты еще не долетели до цели, но сдерживали, останавливали от вала, приступа, в котором они неслись на нас. Автомат справа, глушивший меня своей близостью (его хозяин лежал за большим металлическим колесом, еще мелькнула досада — моя булыга так не защитит, как его колесо), вдруг смолк, и только эхо его резкой стучащей скороговорки продолжало колотиться в ушах. На короткое мгновение, приподнявшись на руках, сосед (не помню его фамилии — он из сторожилов, все они были несловоохотливы и с нами, «сосунками», не очень-то общались) неподвижно устался в темноту, ожидая что-то, и вдруг, вроде отрицая все на свете, замотал головой, кровь ручьем хлынула из носа и рта, и он рухнул.

— Эй-эй-эй! — Я полз к нему и орал, словно ошалелый крик мой оставит, задержит жизнь.

Развернув набок вздрагивающее, размякшее тело, понял, что все закончилось, — тепло, накопленное жизнью, вместе с кровью покидало его. Глаза заволакивала мутная пелена, и они остались вяло прикрыты. Кто-то кричит? Кто и где — не пойму! Тащу из-под него автомат, весь в липкой теплой крови с комками земли и снега. Кажется, сейчас, отплевываясь, он заорет: ты что, обалдел, что ли? Вместе с ремнем вытягиваю руку, и она, рвано вздрагивая, вдруг совершенно безразлично отпускает автомат... Весь диск изжеван попаданием роя пуль. Опять крик, но откуда, кто и что кричат — понять не могу. Станный, «фырчащий» звук над головой... Какое-то мгновение сознание ничего не фиксирует — его нет. Что, все?.. А вот опять вижу, слышу... Рву затвор на себя — привычно напрягаюсь, ожидая напор давления выстрелов, — как палка... диск пустой! В низине частые беспорядочные взмахи рук и опять этот «хромающий» звук летящих на нас их на длинных деревянных ручках гранат... Некоторые в шальном азарте бросить прицельно и дальше вскакивали в полный рост. Какие-то неясные быстрые тени скользкими силуэтами, метнувшись в сторону, исчезли, оставив загадку и вопрос: показалось или было? И что это? Опять разрывы, но много дальше, перестарались, слишком подползли, наверное... В них уже вызрела уверенность, решимость: вот сейчас уже в следующее мгновение расстрелять в упор, смести, стереть, убрать. Отрывисто и гортанно, нагло, громко, вроде пытаюсь догнать что-то, пронеслось в долине по-немецки, темная полынья, вскочив, ожила... вопль с каждой секундой усиливался, набирая силу, черная масса, неистово вдруг взревев, колыхнулась и бросилась на нас!

— Огонь. Гранаты, гранаты! — раздирали темноту и нарастающий ор, и хрип за спиной.

Одна за другой летели они навстречу орущей, обезумевшей бледной темноте... Но и это уже не спасало нас. Все. Конец.

Вдруг огонь, грохот орудия рядом. Ошалев от отчаяния и мелькнувшей надежды жить, мы дурными, истошно-дикими голосами тоже что-то такое вопили, отдаленно напоминающее «ура». Черная лавина внизу сбилась, распалась на части, вой оборвался, кто-то ринулся в снег, кто-то повернул бежать обратно, основная темная масса в растерянности топталась на месте, казалось, обиженно смотрела в нашу сторону. Орудие разразилось еще четыремя-пятью едва ли не слитыми в единый залп выстрелами; лежа, мы завывали уже более определенно и внушительно.

Более дикого ора в жизни больше не слыхивал... Уж не виделось бледно-серых размытых лиц, и черная плотность распалась на нервные черные дыры, быстро разрывая себя, тая во тьме. Они бежали. Надолго ли, но деревню пока отстояли. А если удалось бы совладать с собой и легкими и осторожно

хватить ими воздух, так, чтобы их разорвало, — то, может быть, и саму жизнь. Тяжело. Ком земли или снега, ударив, рассыпался здесь же, возле меня. Оглядываюсь — у амбара, уставясь в меня, лежит солдат.

— Ты ранен? — ору я ему.

Тот зло, без звука, широко открыл рот, вроде показывает, какой он у него большой, и быстро захлопнул... Опять как бы чего-то продолжал ждать от меня.

— Ты ранен, что ли?! — недоумевал я.

Он резко вбок мотнул головой и нетерпеливо коротко взмахом руки потребовал меня к себе. Ползу...

Здесь я должен несколько отвлечься. Сперва солдат тот сказал мне слова, которые я сам знал довольно хорошо в ту пору и даже, наверное, порою высказывал вслух некоторые из них, однако, помнится, чаще приходилось выслушивать. Что говорить, слова эти, безусловно, расширяли возможности воздействия великого русского языка, но расширяли... сюрреалистически, что ли... В общем, уродливо, какой-то опухолью, отростком, в котором перемешивалось все и вся настолько, что выходило, например, так, что этот орущий на меня ни с того ни с сего человек был не только хорошо знаком с моей родней, но и был наделен какими-то совершенно неограниченными полномочиями, что мог запросто отослать меня отсюда к ней, то есть к моей родне! На самом же деле это была полная чушь, не имевшая под собой никакой основы, нада же все-таки сообразать и учитывать обстановку вокруг, а она была и оставалась совсем не для родственных встреч и связей. Да и сам он, наверное, в глубине души понимал несостоятельность всего того, что так необдуманно в сердцах наорал мне; это было видно из тех слов, которые произнес он, перейдя на обычный здравый человеческий язык без всякого сюрра.

— Оглох, что ли? Они здесь, за сараем, к пушке подбираются... Сержант приказал идти к нему, — четко выговаривал он мне в самое ухо, а я с удивлением слышал его тоненьким пискком комарика на фоне все еще клокочущего в ушах стука автомата и каких-то отдельных, остаточных выбросов его сюрра.

— Ага, понял, пошли! — кричал я, обрадовавшись, что понимаю, и меня понимают, и ничего расшифровывать не надо. — Да-да, я видел... видел с нашей стороны амбара, по-моему, их не больше пяти-шести.

— Это мы сейчас узнаем, только не ори ты.

— Я же не по-немецки ору, они, если и услышат, так все равно ничего не поймут — в школе русский не изучали, не то что мы: гутен морген, вифель ур.

— Да заткнись ты наконец!

— Это я от радости, что мы победили... У тебя диска лишнего нет? У меня все...

Мы бежим вдоль маленького амбара, на бегу он сует мне, чувствую по весу, неполный рожок. Радость и огорчение вместе; еще покажем, что почему стоим за себя... неправда ваша... поживем. Жаль рожок... в нем вдвое меньше, чем в диске, да еще и не полный к тому ж.

Воистину нужно было обладать недюжинным запасом душевных сил, чтобы продолжать жить, видеть, говорить, чувствовать после случившегося в ту ночь. И хоть никто не знал, да и не мог знать, что барьер перейден, кризис миновал, и все, что суждено было пройти оставшимся в живых, было невероятным настолько, что преодолеть его было под силу лишь совершенно бездушным или таким, какими стали мы к исходу той долгой ночи.

Орудие, точно оно «сорвалось с цепи», изрыгая огонь, яростно и гневно посылало в темноту: «Не надо, не надо больше ходить сюда ночью!» Это были его последние выстрелы. Не понимая, что происходит, и опасаясь, как бы по ошибке нас не приняли не за тех, но больше, наверное, от неожиданности мы ринулись на землю. Но все было правильно — орудийный расчет тоже видел прорвавшихся и теперь расстреливал землю за малым амбаром в надежде остановить и не дать им закрепиться за стенами, проникать дальше. Но здесь случилось то, что должно было рано или поздно произойти: вскочив во весь рост на лафет орудия, раздирая ворот гимнастерки (шинель сбросил, наверное, чтоб легче было управляться), иступленно потрясая сжатыми кулаками, орал единственный уцелевший из расчета боец. Не верилось, чтоб он в одиночку с такой скоростью мог выпустить целую обойму снарядов.

— Тебе сюда надо, иди убивай, сволочь, я здесь, на, на... давай...

Все произошло мгновенно, внезапно, лишая нас возможности вмешаться, остановить, но, правда, какая-то шинель (или то казалось) тенью метнулась к орудию, но и это было поздно: ответ последовал без раздумий и пауз — приглушенная, нагло короткая автоматная очередь в упор из-за угла амбара... Парень на лафете нелепо отбросил руки, вроде не умея, но все же решился нырнуть, подался вперед и всем своим измученным телом обрушился на орудие, повис на его щите, издав при этом нелепое: а-а-авв! Руки не доставали до земли и как бы сожалели об этой малости, они вздрагивали, тянулись, замирали, опять тянулись... и застыли.

«Гранаты, гранаты!» — надсадно хрипело рядом. И «придержи на раз, на два!» — выдернув чеку, отбросив руку в сторону, мгновение стоял, замерев... и с силой швырнул гранату за амбар.

— Через крышу давай, через крышу... не тяни,— требовал он, и в его надрывном хрипе звучала жуткая радость, что ему это уже удалось.

— Только придержи, придержи. Не раскисай, ребята.

Отбежав друг от друга, мы с лихорадочным проворством выдергивали кольца, отпускали рычаги и, зажав живую смерть в застывших кулаках, высчитывали секунды, посылали круглые чугунные лимонки за крышу и торцы нашего спасительного укрытия, слыша в ответ суматоху их разрывов за амбаром. Они хотели нашей смерти, они шли с этим и смели бы нас — все к тому шло, но тот парень на орудии был не так слаб, как казалось. Он сдерживал основную лавину, но, оторвав своих убийц от общей массы, к сожалению, не смог только одного — скрыть, что все было последним: и снаряды, и нервы, и самообладание. У нас не было выбора. Наши гранаты не позволили прорвавшимся к амбару сообщить залегшим в снег, что орудие теперь будет молчать, и только это избавило нас от их последнего приступа. Их обманула плотность разрывов наших гранат, по ней никак нельзя было предположить, как близко были они к своей цели. Мы не могли уступить в этом положении без выбора (к этому моменту нас осталось только девять человек), мы должны были!..

— Все, чисто! — выбегая из-за амбара, бросил деловито все тот же хрипун.

Им оказался сержант, что был с ними в амбаре во время их артподготовки (не знаю ни имени его, ни фамилии, он был не то из первого, не то из третьего взвода).

Пустовато, редко было, да к тому же двое раненых, один из которых был просто плох. Оставшиеся ошалелыми глазами упирались один в другого, молча спрашивая: «Ты здесь?.. Хорошо... Ну, вот и я, видишь... А, и ты здесь, друг, славно! А где?.. Вот ведь как...» Однако каждый в душе надеялся, что еще подойдут, соберутся, забыв, что сами уже подошли и собрались. Никто не говорил, не спрашивал, все рвано дышали и, заведенно шатаясь, не в состоянии остановиться, топтались на месте. То один или несколько, случайно объединившись, растворялись в темноте и тут же возвращались, так же тяжело дыша, вроде там им приходилось бежать, а вот теперь и пешком пройти можно, подышать свежим воздухом. На глаза все время попадались два «гиганта», и одного так бил надсадный кашель, выворачивало наизнанку, что казалось: вот тут-то уж с ним будет окончательно покончено, несмотря на его могучую стать. В общем, на победителей мы не походили, и если отстояли деревушку и дорогу, то просто чудом, случаем. И не скажу, что было тяжело — нет, это слово не в состоянии определить то, что пришлось перенести.

Невозможно, невыносимо — был какой-то душевный столбняк, шок.

Ушло время, вообще ничего не было, кроме мятущегося сердца с короткими, как уколы, проблесками сознания. Напрочь были забыты боль, страх, смерть, сами мы. Мысль, осознанность вообще надолго уходили и только позже, вернувшись, отметили четкостью и остротой все виденное, прочувствованное, пережитое.

— Мужики, гранаты остались? — Голос звучал тихо, ровно, не раздражая, почти без хрипов.

Я был поодаль, но сразу узнал его и все слышал четко и ясно.

— У меня одна.

— Две.

— У тебя?

— Да откуда, что я, делаю их, что ли?..

— Тоже нет ничего...

— А у тебя? Чего молчишь?

— Есть... этого добра навалом — вон в ящиках, хватит на всех. Жизни нет, а это о-о...

— Вот это дал, философ! Ты сейчас-то жив только благодаря им, дурило. Гранаты есть — жизнь будет! Здесь, брат, все взаимосплетено — не разрежешь, не порвешь... Не до жиру — быть бы живу.

— Да какая же это жизнь?!

— Не пойму, тебя контузило, что ли?

Я слушал их и недоумевал: они так же, как и я, всего полчаса тому назад случайно остались живы, а теперь спорят, отстаивают свои взгляды на эту и сейчас все еще на волоске висящую жизнь. Случись спор этот в любой другой обстановке, я не обратил бы на него никакого внимания, но оба они были столь серьезны, что я не мог, хотя бы молча, не принять участия в этом, с виду простым, диалоге. Говорили о жизни! Ох, как хотелось жить — невероятно! Все чувствовалось обостренно, должно быть, оттого, что каждый момент мог стать последним.

Непонятный, непривычно слабый, похожий на крик подбитой птицы, тихий, несколько раз долетавший до нас звук утонул в промозглом воздухе ночи... Все замерли, прислушиваясь.

— В амбаре... раненые или куры.

— Нет здесь никаких кур.

— Да раненые же, слышишь, стонут?

— Раненых забрали всех.

— Тихо, вы... Кто-то у пушки!

— Кто же это их успел забрать?

— У пушки был... да сплыл. Теперь наша очередь!

— Да замолчишь ты наконец! Может быть, это условный знак у них! Вы оба и ты — можешь или уже нет... туда, в проем между амбарами, вы втроем и ты, пошли со мной... а-а-а. — И он диковато оглянулся, только сейчас, казалось, осознав, до чего нас мало.

— Да-а, не густо! Тогда оставайся здесь и свяжешь, если что...

— Тихо... Слышите?.. Стон, явный стон!

Звук одиноко опять прорезал настороженное затишье. Плач?.. Не похоже! Может, домашнее животное какое ранило, вот оно и стонет!

— Какое животное?.. Кроме тебя, другой живности здесь нет.

— Смешно, молодец... а главное, вовремя и по делу!

— Цыть, какие вы, право... Кто-то плачет!

— Что здесь, детский сад, что ли?

Опять последовали слова, которые по смыслу (если, конечно, позволить себе вольность — предположить наличие в них какого-нибудь смысла) ну уж совсем не подходили к данной ситуации, поэтому я их и опущу, но вот ведь какая петрушка, должно быть, многослойность, что ли, тех изречений подействовала отрезвляюще, и все как миленькие затихли, застыли, напрягая слух, стараясь уловить малейшее, что выпадало из плотной толщи ночных шумов, но никто ничего не слышал, кроме разгула потаенной жизни ночной тишины, собранного воедино гигантской раковиной, образованной амбарами и темнотой. Тишина мстила за долгое пренебрежение к ней, и стоило теперь лишь осознать и почувствовать, что все погрузилось в тишину, как она буквально обрушивалась шквалом шорохов и всевозможных шипов и скрипов. Мучительно хотелось освободиться, избавиться от этого пресса.

— Ребята, я знаю... — робко прозвучало рядом...

Если бы неожиданно-негаданно нас обдали ледяной водой или под нами вдруг заходила бы земля, то эффект от этих катаклизмов был бы не большим, чем от той тихо сказанной фразы. Когда первое обалдение прошло и действительность стала ясной и близкой всем, конечно, захотелось развернуться и дать как следует, чтобы в другой раз не повадно было так некстати высываться со своими знаниями, и если ничего не дали, то только потому, что плохого-то он, в общем, ничего не хотел.

— Что вы все дергаетесь, как бельё на веревке, что такого ужасного я сделал? Сказал, что знаю, кто орал, и все... Немцы не забрали всех подстреленных,

вот они и подают сигналы, но кричать в голос боятся, чтоб до нас не долетело, правильно кто-то говорил здесь.

Довод был убедительным, и все помягчали, примолкли, не зная, что делать, как поступить. И присмиреешь, задумаешься — есть над чем, — все непросто, когда он перся с автоматом, орал, хотел убивать и убивал — это одно; теперь тишина, никто не стремится ни голову размозжить, ни свинец всадить в тебя — это уже другое, иной коленкор... Стон, как вздох, раздавшись, избавил нас от размышлений...

— У пушки!

Опротметью ринулись туда. У разводной опорной станины (не знаю, как точно называются эти две длинные трубы, которыми орудие упирается, чтобы во время стрельбы не откатываться и не становиться на дыбы), на снегу спиной к нам сидел солдат. И было непонятно — ранен он или цел? Но с ним было худо, и это виделось даже в темноте: руки неожиданно взбрасывались, как бы желая задержаться на лице, и тут же вяло, тряпками падали вниз. Сержант помог ему удерживать кисти рук у подбородка.

— Хочешь — голову поддержать? Нужное дело. Давай вместе.

Однако результат был не лучшим, если б все то же самое проделали с манекеном или чучелом. Был неловко видеть его, ушедшего во что-то такое, куда не хотелось бы заглянуть... Между ним и нами была разящая пропасть. Было жутко и неприятно от того, что его самого напрочь здесь не было. Кто-то протер ему лицо снегом, сержант с силой несколько раз «взболтнул» его, держа за плечи, — все было напрасным, наши домогания и вопросы он попросту не замечал.

Он был страшно далек от того, чтобы осознать, что он здесь, от него что-то ждут, хотя его возврата. Его подняли, пытаясь поставить на ноги, и показали, как надо ходить, ничего этого он не видел и не понял — то, что недавно было человеком, теперь превратилось лишь в неудобную вешалку для рук и ног, которых, казалось, стало вдвое больше, и все они были плохо привязаны и оттого болтались, не находя единой цели в действии и лишь мешая друг другу. Пробовали здесь же на месте пройти с ним — пагал, но шagal не он, а как бы память его вздрагивающих мышц, которые жили сами по себе. Пробовали ставить и отпускали — он оседал, рушился и сникал совершенно. Единственным проявлением жизни в нем был вот тот выдох с сиплотой, похожий на плач, который привел нас к нему.

— Что же это такая хиленькая артиллерия у нас? Тот выступать вдруг начал, теперь этот... всех на дачу отправил...

— Выедешь... Это ты лапоть, пехота, каждый день с немчурой чуть не чай пить ходишь, а они артиллерия, бог войны. Это всегда где-то за долами и весями — далеко и недосыгаемо, а тут вдруг нос к носу, и встречать нечем — ни хлеба, ни соли... Один чтец-декламатор, так что понять, я думаю, можно.

— Может, ему приказ какой отдать? — мягко, неуверенно предложил кто-то.

Сержант, который больше всего возился с артиллеристом, скользнув взглядом по предложившему этот эксперимент, вдруг активно, с силой подвел его к затвору орудия и, поддерживая солдата, резко шепотом проговорил:

— Слушать мою команду! Орудие, огонь!

Невероятно! Откуда-то из страшной тьмы надломленной психики первым пришел «здоровый» озноб. Солдата дернуло, руки опять подбросило, они, прежде вялые, вдруг начали дрожать, готовясь к какому-то поиску. За доли минуты солдат взмок.

— Огонь! — неуклонно давил голос.

Днем, при нормальной видимости смотреть на происходящее, я думаю, было бы неприятно и даже страшно, но сейчас все молча, окружив их, стояли и ждали. «Огонь!» — неумолимо требовал сержант. Каждая команда заставляла солдата изнутри, рвано, выбросами вздрагивать всем телом, вроде силы, возрождающиеся в нем, готовы были к действию, а вот сознание, логика все еще не могли уразуметь, осознать — вот его и бросало короткими конвульсиями. От него дохнуло теплом, он учащенно задышал, силится (было видно, что наконец почти осознанно) приподнять, взбросить голову. Сержант был рядом, и казалось, он подхватит эту безвольно, нелепо мотающуюся голову, но он, на-

против, совершенно отпустив солдата, отстранился от него и зло, в упор, жестко бросал: «Беглый огонь!»

Возвращавшиеся силы солдата, на что-то натываясь внутри, пытались догонять команду, вскидывали голову с запозданием. Чувствовалось, что он хотел, страшно хотел зацепиться за неровные выступы рухнувшего духа, казалось, еще совсем короткое время — и он обретет себя, вернется. С беспорядочными скачками головы вместе с дрожью впервые появились бессвязные хрипы и звуки. Все еще подбрасывая голову, солдат остановился взглядом на лице сержанта, но не видел его, совсем не видел, лишь сила голоса заставляла его искать источник какого-то резкого возбудителя. Энергия, так валом нахлынувшая, вдруг видимо и так же быстро стала покидать солдата. Он осел, ударившись скулой о затвор пушки, и никакие команды до него не доходили.

— Все, ушел... совсем... сломался!

Солдат действительно не производил впечатления живого человека — это была груда того, что было человеком. Ему расправили ноги, разбросали руки и оставили лежащим на снегу.

— Вот сейчас он и отойдет сам по себе, без всяких криков! — недовольно проворчал солдат, который сетовал на отсутствие жизни.

Однако через некоторое время все тот же сержант заговорил вдруг так просто, мягко, что было непонятно, что это с ним теперь случилось и с кем это он так.

— Теперь лучше, ну, вот и хорошо, только поглубже дыши, и все будет славно!

Солдат лежал все так же, разбросав руки, но глаза его теперь были глазами человека — сломанного, может быть, раздавленного, но живого, мыслящего и слышащего. Жизнь медленно, коряво, но приходила, ничего не обещая, а лишь требуя следовать ее нелегким, непростым путем.

Может быть, ни к чему было беречь память, воскрешая случай с солдатом, однако все события ночи связывались этим вот неутомимым сержантом, заставившим меня немало пошевелить башкой, чтобы как-то восстановить в памяти отдельные пятна нашей фронтовой жизни. Если вся ночь прошла единым страшным мгновением, то время по реставрации человека в том надорванном артиллеристе, казалось, остановилось и ему не будет конца.

Сержант обладал каким-то невероятным терпением и настойчивостью, на которые никого из нас просто не хватило бы. Солдат уже довольно живо для его состояния смотрел, переводя взгляд с одного из нас на другого, но, казалось, никак не мог взять в толк, кто мы такие и что нам нужно от него. Узнать он нас не мог — он не знал нас и раньше, а вот когда взгляд его наткнулся на расстрелянного друга, лежащего теперь недалеко от него на снегу, он долго пусто смотрел на него, пока ему не удалось замкнуть цепь событий ночи, и он, часто и коротко задышав, потихоньку заплакал, что, казалось, просто обрадовало сержанта.

— Ну, вот это ладно, давно бы надо так.

— И это все действительно было бы хорошо и славно, если бы я не узрел в поведении сержанта страшную жажду заставить солдата говорить. Сержант был неутомим, и этот его хриловатый голос, манера настаивать что-то скрывали за собой, где-то уже вроде были, звучали, но где и что именно, никак не давалось собрать во что-то предметное, определенное. Совсем не взростые всхлипывания солдата, казалось, только распалили сержанта. Он добился своего: оттепель пришла. Через нагромождение хлипа и стонов стало прорываться порою нечто вроде осмысленных звуков, и нам теперь уже сообщая удалось уловить суть рваных причитаний солдата: он удерживал друга, тот ничего не слушал, потому что устал... потому не выдержал... устал... сошел с ума. Наконец становился понятным тот спасительный шквал огня нашего орудия — их было двое.

— Ну, теперь-то уж что... Слышишь, успокойся! Может быть, глоток водки выпьешь? Вы что... давно были вместе в расчете?... Когда вы пришли сюда?... Снарядов у вас нигде больше не осталось, а? Ну-ка вспомни, вы к кому были приданы? А ты знаешь, что ты всех нас спас, дорогой?

И еще навал всяких вопросов, увещеваний. Голос хоть и выговаривал всякие добрые, хорошие слова, но хрипел, становился противным, гундосым, неприятным. Что он навалился на этого несчастного? От одного голоса убежишь

куда глаза глядят. Однако я слушал и смотрел со всевозрастающим недоумением на обладателя этого «ржавого наждака». Что-то было связано у меня с ним, и это «что-то» было совсем рядом... Но «что»? — хоть матушку-репку пой, не мог припомнить, как ни смотрел, ни прислушивался.

— Полно, полно... А мы ведь до сих пор так и не знаем, как тебя кликать, звать-то тебя как?

— ...ле-те, нег... те-не...

— Какой-такой «те-не»? Таких и фамилий-то не бывает на свете. Может, я неправильно понял — говори яснее. Как?

— ...те, неле... теле...

— Тенелев? Терентьев?

— Не-ет... Те-ле...негин...

— Теленегин... Телегин?! Ну, брат, дела! Телегин! — произнес сержант эту фамилию так, словно произносил нечто высокое, чему невозможно подобрать ни цены, ни измерений, настолько оно редко и прекрасно.

— Какая замечательная фамилия Те-ле-гин, а нервы у тебя, просто скажем, никуда не годные, как у раз-ва-лю-хина какого-нибудь, это не дело, брат, нет, ты уж извини!

Слушая нехитрые, доморощенные доводы сержанта, я вспомнил наконец, не мог не вспомнить. Невероятно, невероятно! Ай-яй-яй! Он замечательный человек, и другого определения ему нет... И голос его такой славный, с надорванными обертонами, прямо скажем, задушевный, право, какой-то. Ах, какое счастье, что есть такие хрипуны на белом свете и до всего-то им дело, забота и разумение! Да, да, это он! Он запал в память с одного привала, когда мы шли на запад и тылы не очень успевали за нами. Наша кухня, проплутав где-то, привезла все холодное, и сержант этот достойно и просто выговаривал интенданту-офицеру, едва ли не капитану, точно не помню, что они обязаны быть всегда вовремя, готовы ли в кондиции, и упрямо твердил: «Не дело, капитан, не дело, извини». Я еще подумал тогда: вот я старший сержант (правда, различие это не очень уж и велико, а если честно говорить — никакого), а вот так говорить и вести себя с начальством, прямо скажем, не смог бы — слаб в коленках. Теперь хотелось подойти и сказать ему что-нибудь хорошее, душевное. Ну, да что ж... ладно. Будет талдычить: не дело, брат, не дело... Ладно, действительно, не дело, да и к чему. Сентиментальность — все это сахар, патока. Человек как человек... и голос-то ржавый... в дрожь бросает.

Между тем двор, дорогу, амбары и лощину погрузило теперь уже в настоящую, глубокую тишину, и, хотя желанная гостья эта пришла вдруг, никто не удивился ей. Она давно должна была быть, но что-то вот уж слишком долго тянула, и оттого казалось, что уж теперешняя, наконец-то пришедшая, она не может, не должна таить в себе что-то там еще, кроме нее самой. Разговоривалось шепотом, но все было слышно и понятно. В растворившуюся благодать расстояния могло донести громко гортанные голоса наших неудачливых недругов из-за полотна дороги, но и этого не происходило — и они надорвались, должно быть, хоть и «высшая нация», а ведь тоже, поди, достукались с этим их дурацким «Дойчланд, Дойчланд юбэр аллес!»¹, и сейчас ночевать в поле на снегу не очень-то сподручно, потому, должно быть, и перли напролом — в дома, в тепло, хотелось вздремнуть с уютом, а вот, поди ж ты, откуда ни возьмись, как черт из рукомойника, русская братия — сама не спит и другим не дает. Да-да, чего-чего, а это мы иногда умеем!

Ну, да не о том речь. Стало действительно тихо — так вот, наверное, было в мирной жизни. Мирная жизнь — что это? Какая она? Прекрасная или обыкновенная, простая жизнь, а весь этот теперешний кошмар — лишь сон... Но нет, это была такая военная обстановка, такая жизнь, похожая на кошмар. И стало вдруг всех жалко: и Телегина с его несдюжившим другом, и соседа, загоротившего меня от взрыва гранаты, и сержанта с его неумной жадной выжить, и самого себя, так как по всему выходит, что завтра (то есть уже сегодня), может быть... И стало жаль даже всех тех, за полотном железной дороги, — какого черта они не сдались там, в городе-крепости Торунь? И им было бы сейчас хорошо — спали бы где-нибудь в помещениях, отведенных для военнопленных, и мы все были бы целы... А так вот, поди ж ты, все наоборот — нехоро-

¹ Германия, Германия превыше всего!

шо! А тут еще совсем непонятно — куда подевались остальные? Третий — ранены или легко задеты, но и вместе с ними всего десять человек? И больше никто не подходит. Неужели все?.. Раненые оставались с нами, да им, собственно, и некуда было уходить — кругом враг, и они вынуждены были разделить участь всех нас, уцелевших. Так казалось мне той ночью, однако пришедшее утро принесло с собой некоторые загадки, которые я до сих пор так и не сумел разгадать.

Долгая ночь, отнявшая у нас понятия цены, жажды жизни, уходила нехотя, вдоволь желая насладиться тем, что ей так недурно удалось. Брезжащий рассвет, стесняясь, не спешил к страшным плодам своей предшественницы и сперва робко, издали обозначил только светлую бурость построек и груды серых шинелей вповалку во дворе и между амбарами. Должно быть, прошло страшно много времени?

— Слушай, скажи, пожалуйста, я что-то ничего не понимаю... Это что же... все наши, что ли?

— А то чьи же?.. Конечно, они. Отдыхают!

— Когда же это их всех?

— Вот те раз — ночь целую месили, а ты — «когда же»...

Артилеты те да крупнокалиберные с насыпи приговорили здесь многих. Долго ли, умеючи-то? Время было...

— Так среди них и раненые, должно быть, были?

— Конечно, были. Ты от Телегина заразился, что ли? Были... Все было. Их собрали и стащили в сарай, легко раненные сами ушли... Не знаю.

— Куда ж они ушли?

— Не сказали, говорю — не знаю, и... отстань, Бога ради!

— Да не сердись ты!.. Эти-то все, что же?

— Да! Как видишь...

Что с лейтенантом? Спросить же о нем как-то не осмеливался, боясь услышать страшное. Где он может быть? Совершенно не помню, каким путем опять оказался около Телегина. Он стоял на коленях у ног своего друга, бормотал что-то и пригоршнями греб к нему снег. Но у него это не получалось. Поблизости с ним, помочь ему ни сил, ни желания в себе не нашел, хоть такая мысль и промелькнула. Несмотря на тишину и полученную передышку, покой беспричинно вдруг ушел, нервы сковали все внутри. Поговорить бы с кем-нибудь, и я вернулся на старое место.

Когда накануне, подбежав к лейтенанту у дальнего торца амбара, я доложил: «Я здесь», — не то он считал само собою разумеющимся, что «я здесь», не то просто забыл, что оставлял меня добинтовывать безгрудого, но посмотрел он на меня, как на незнакомого, явно не понимая, чего я хочу, и сказал: «Ты и должен быть здесь, иди к тем, что между амбарами». Это было последним, что я слышал от лейтенанта.

— Это опять я, извини... Можно, я просто постою здесь?.. Когда собирали их, рядовых и офицеров брали вместе?

— Где, каких офицеров?.. Ты о раненых, что ли?

— Да.

— Откуда же я знаю?.. Я их не допрашивал, а они не докладывали — кого брали, кого нет, оптом или в розницу. Видел только, бегали тут, лазили, копались, но не приметил... ни к чему было.

— Сейчас-то они тоже здесь?

— Что пристал ко мне, как банный лист?.. Пойди да посмотри! Тоже следователь — что, где, когда, почему?.. Потому! И не подходи ко мне больше, пошел отсюда... Врежу, ей-богу, врежу... Много здесь вас — куда, зачем, откуда, почему...

— В том-то и дело, что немного... Тошно, тяжело, потому и спрашиваю.

— Вот и иди себе, кого хочешь спрашивай, кому хочешь отвечай, а меня оставь... Здесь у самого душа не на месте... Нашел громкоговоритель.

Видя, что с ним действительно лучше не заговаривать, какое-то время стоял, молчал, потом отошел. Надо поискать лейтенанта. Смотри-ка, санитары вернулись-таки, молодцы. Как там мои хворые? Интересно, не повредил ли безгрудому своей неумелой перевязкой? И те двое, как они, бедняги? Телегин-то вряд ли совсем отойдет, уж очень слаб, вояка никакой. Странное дело, но только теперь стал по-настоящему мне понятен его плач. Телегин маленький

какой-то, как ученик младших классов... Потерять друга прямо на глазах — можно свихнуться. Правда, у меня с друзьями как-то не получалось и в школе...

Не могу сказать, что всегда был один... Нет, характер, что ли, плохой или по-настоящему неинтересен был никому? Вот только однажды, пожалуй, Сережка Кожевников и Колька Терентьев в третьем классе, но и те что-то недолго продержались, отстали. Да, наверное, что-то неприятное есть во мне, скрытое, что и я-то не знаю, отталкивающее. Хорошо бы узнать, что именно, что за скверна, и я поборол бы в себе это зло, этот страшный, отталкивающий недостаток, порок, и друзей у меня было бы полно, они все были бы добры ко мне, дорожили мной, я был бы им нужен, и мне было бы хорошо, и им было бы славно, и не было бы у меня этой душевной недостаточности, как теперь. А то стоит кому-нибудь взглянуть на меня по-доброму, как я уже готов опрометью ринуться в огонь и воду. А может быть, это-то и есть тот страшный недостаток, от которого все шарахаются как черт от ладана. Но я же не навязчив? Да-а-а! Такое, конечно, цениться не может.

И вот хотя бы сейчас — не знаю, как у других, а у меня и здесь нет друзей, а уж, как надо, чтобы <друг> был здесь, сейчас, это-то уж я знаю точно. Вот разве только раненый тот, да и лейтенант... похвалил вчера и глазами, вроде одобрил. А виноград этот... как это? Ваинтрауб — смешное слово... Э-э, фамилия. Интересный человек — это есть, это ни в какие вещмешки не засунешь... Немного сумасшедший, зато умный, черт-те что, это тоже нечасто встретишь, и добрый, кажется: подбадривал меня, боялся, чтоб я опять не сорвался, и пахучкой меня какой-то намазал — до сих пор воняю. В ногу заставлял идти. Правда, вот еще сержант этот, тоже человек замечательный, редкий, и это терпение его невероятное, вызывающее восхищение, завидное просто, как это он управляется с ним — ума не приложу, но уж очень конкретный какой-то, даже скучно становится — все дело да дело... И голос!.. Это ж надо такое — скрипит и всех пугает. Вот и все! Ну, правда, никто из них и в ум не возьмет, что я их друг, и от этого немного грустно.

— Ты что как соляной столб стоишь?

Вона-а, стоит припомнить, так он в ушах и скрипит. Деловой уж очень, хозийственный. Там за холодную пищу набросился на бедного интенданта-обозчика, здесь пересолили все ему... Никто-то ни в чем не угодит никогда!

— Плохо слышишь, что ли? — Сбоку от меня стоял сержант и как-то странно смотрел на меня. — Не надо расслабляться, не время, они вот-вот опять, надо думать, полезут... а ты где-то такое витаешь. У тебя все на мази, в порядке, готов?

— Я? Да... готов. Все в порядке... Вот с патронами у меня не очень, просто худо.

— Так в чем же у тебя порядок? Э-э-э, да ты, я вижу, как из детского сада, действительно. Ты кто по профессии?

— По специальности, что ли? Никто, не успел еще, просто человек, по улицам бегал и немного киномехаником работал.

— Ого-о, ничего себе!.. Это немало, а говоришь — никто, и механика — прекрасно, и бегать тоже уметь надо... А жить хочешь, человек?

— Еще бы, конечно... Кто ж не хочет-то?

— Ну, вот видишь, как ладно получается... Это и надо делать сейчас, а потом и постоять успеем, и помолчать, и подумать... Вон их, бедолаг, сколько навалили... Ни за что ни про что, тоже ведь, поди, не дурно бегали, хотели и постоять, и подумать... и кино посмотреть... Ах ты, Боже ты мой, — как-то совсем сокрушенно выдохнул он. — Беда! Ты поползай-ка между ними, собери, набей себе диски, пока обстановку позволяет.

— Ладно, сделаю! Сержант, правда, что ли, завтрак привезли или ты подбодрить хотел, агитировал?

— Завтрак?.. Нет, не думаю, сюда трудно просто. Какой завтрак, где?.. Кто тебе такое бухнул?..

— Ну, вот ты, стол, говорил, поставили, соли много, вроде стоит, ты говорил?

— Я говорил: соли много? Какой соли? Ничего не знаю... А-а-а! Вона куда ты дал! — Хохотнув, он цепко, пристально взглянул на меня. — Ты, должно быть, артист?

— Ну, что ты, какой там артист, в школьном драмкружке участвовал, только и всего — это так. И то недолго, но потом... Я из второго взвода автоматчик, командир отделения.

— Понятно. Вот уж и не знаю, как тебе объяснить... В одной из древнейших книг рассказывается, как одна женщина оглянулась, на что оглядываться и поглядывать не следовало, и сразу превратилась в соляной столб.

— Фокусницей была, что ли?

— Да-а-а... Я все забываю, что ты автоматчик, из второго взвода и, боюсь, не очень поймешь. Ты вот что, мы сейчас...

— Вот те на-а, почему же вдруг так-то? Гранаты вместе с тобой бросал и все тогда понимал, а здесь сразу оглупел и ничего не соображаю...

— Твоя фамилия — я все забываю...

— Смоктунович.

— Так ты... не русский, что ли?

— Почему же так-то? Самый обыкновенный русский из второго взвода.

Не исключено, что я и дальше бы объяснял ему, откуда я такой автоматчик, но он, должно быть, устал говорить со мной и довольно сухо оборвал меня, сказав: «Наберешь патроны и займи место у дороги», — и ушел. Ну, вот и этот не состоялся — сбежал. Есть, есть во мне что-то такое, что пугает, отталкивает, заставляет бежать. Хорошо бы, действительно, если повезет и буду жив, узнать эту скверну в себе, побороть ее и занять друга, двух возле себя — куда как недурно. Я бы заботился о них, они — обо мне, и всегда было бы с кем поговорить. Никто бы не сбежал. Вспомнились бинты на моих раненых. Как они там, жив ли безгрудый? С этой мыслью я и поспешил в амбар в надежде узнать у санитаров о раненых, оставшихся в доме. Но ни санитаров, никого другого в темноте амбара не оказалось. Ни на какие мои возгласы и вопросы, брошенные в темноту, никто не ответил. Было неприятно глухо, и, когда глаза, привыкнув, стали различать окружающее, в разных местах на сене удалось разглядеть человека шесть скончавшихся наших бойцов, перевязанных, но, увы, не смогших совладать со своими ранениями.

Узнать удалось только двоих. Один был едва ли не мой ровесник, ну, года, пожалуй, на три, не больше, старше и ничем особо себя не проявивший, разве только тем, что был большим любителем поспать. Где только мог притулиться — там раздавался храп. Он умудрялся спать на ходу. Впрочем, никакая это не диковинка и не выдумка. Я не однажды ловил себя дремлющим на монотонном движении марша. Он же был большой специалист, профессионал, можно сказать. Помню, несколько растерянное лицо его, когда его понукали за то, что, задремав на ходу, он ударил козырьком каски идущего впереди в затылок. «Команды «стой» не было, — вяло оправдывался он. — Если бы он шел, как нужно... вперед», — неожиданно добавил он совсем не подходящее к нему, не его слово, чем и разрядил эту перепалку.

В общем-то он был славный мальчик, который относился ко всем ровно и добро. Не помню его фамилии, думаю, что ее и тогда-то мало кто знал, настолько он был неприметным, обычным и простым человеком. Мою фамилию тоже вряд ли кто знал тогда, я уж не говорю, чтоб помнить ее до сих пор. Ко мне и обращались: «сержант», «славянин» или «эй, слушай», самое, например, распространенное — «солдат», а в силу моей худобы и сутулости еще и «доходягой», «костылем» нередко звали и еще как-то, и все в этом же роде, так что я уж и не помню. Никому не приходила охота окликать меня по фамилии, тем более что она такая длинная, ничего собою предметного не выражающая и оттого непростая в запоминании.

Второй, кого удалось мне при скудном отсвете ночи, скупко пробивавшемся в распахнутую дверь, рассмотрев, узнать в глубине амбара, был личностью в высшей степени примечательной. Лет ему было тридцать три — тридцать пять, и, как вспоминается сейчас, человек он был молодой, полный сил и надежд, но тогда на фоне всех нас, юнцов-сержантов, только что окончивших в глубине страны училища, новичков, попавших в порядке боями истерзанную, поредевшую часть, он выглядел совершеннейшим стариком. Фамилия его — Егоров, однако запомнилась фамилия не потому, что она проста и без труда ложится на память, а скорее оттого, что, с легкой руки заводил-острословов сократив ее, переицедали в имя, прицепив к нему своеобразное в сочетании с именем определение — животновод, таившее, на мой взгляд, некую загадку и привлекатель-

ность: Егор-животновод. Ни на какого животновода в моем представлении он не походил и никогда им не был, а просто Егоров случаем подобрал где-то совсем крошечного, еще слепого котенка, бережно носил его за пазухой шинели и нежно кормил этот малый незрелый комочек из своей ложки. Славный симбиоз этот и послужил отправной точкой в его прозвище, он-то и понуждал, надо полагать, Егорова всегда держаться особняком. Однако не котенок, не прозвище и не возраст самого Егорова выделяли его среди всего состава взвода. Вот уж и не знаю, в чем здесь, как принято говорить сейчас, первопричина: характер ли такой либо действительно его лета, как он, должно быть, полагал, давали ему право, но на любой вопрос, просьбу, обращение или даже приказ у него всегда был готовый ответ: «Опять я?», либо «Я-то тут при чем?», либо «Я уже был» или «Почему обязательно я?». Он был неиссякаем и неутомим в готовности выдать целую обойму падежей, склонений, изменений и всевозможных измерений этого самого «Я», и только одно оставалось постоянным и неизменным — это то раздражение и неприязнь, с которыми он произносил это «Я», словно оно ему так осточертело, что слышать о нем у него уже больше не было никаких сил.

Теперь Егоров был непривычно спокоен, лежал под шинелью на животе с закрытыми глазами, будто все еще продолжал прислушиваться к боли внутри. И, может быть, темнота рождала ту умиротворенность, но весь вид Егорова напоминал легко занемогшего больного, которому ставят горчичники или банки. Он терпеливо давил и без того приплюснутую щеку. «Опять я? Тут-то уж при чем я?» — это его всегда недовольное немое воскресила память. Я никогда не видел того котенка, только слышал рассказ о нем, но здесь, сидя на сене рядом с Животноводом, понимая всю несуразность, нелепость этого наваждения, я тем не менее не мог не думать о котенке и хотел увидеть его. Убеждая себя, что меня интересует лишь, что погубило Егорова, приподнял на нем шинель... Из-под гимнастерки в темноте белели бинты, по-видимому, спина Животновода была прощита автоматной очередью или пропахана осколками... Глазами я шарил вокруг Егорова по углам амбара, по каким-то темным доскам над головой и хоть наверно знал, что без постороннего источника света не может быть никаких светящихся глаз, тем не менее ждал, что вот-вот где-нибудь вспыхнут два крошечных уголька и своим свечением уведут в то прекрасное время душевной свободы, когда была всего-навсего одна и единственная опасность — учитель в школе по поведению, по глазам ли (тоже ведь, должно быть, какое-то свечение было) или по другим каким признакам заметит во мне, что заданный урок не готов, не выучен, вызовет к доске и поставит двойку. Но всюду было темно, тихо и пусто, как в склепе, а когда устоявшуюся тишину амбара вдруг прорезало ласковое «кис-кис-кис-с-с» и нежный мираж этот — отголосок мира и нормального жития, просвистев, растаял в запахах медикаментов, крови и сена, я еще какое-то время продолжал молча стоять на четвереньках, честно пытаюсь понять: не сошел ли я с ума? Сознание, подстегнутое возвращением к реальности, настойчиво и жадно перебросило в пору детства, живо пропуская перед внутренним взором моим четкость образов и событий, словно раньше, когда все это происходило, оно было заснято на какую-то дорогую моей душе пленку и теперь в трудные минуты специально прокручивалось вновь с тем, чтобы показать: будучи ребенком, ты мог и переносил это, а сейчас тебе уже, ого-го-го, почти девятнадцать, так что же ты, голубчик? И почему-то эти «просмотры», как бы разны они ни были, начинались всегда с одного и того же: кругом — бело, хруст снега под ногами. Снег сухой. Мороз сковывает дыхание, и я мечусь в переулке, по этой дороге я только что проходил — отчаянию моему, казалось, не будет конца... Валенком я разгребал, даже пинал малейшую неровность в снегу в надежде найти все же где-то оброненную только что купленную, новенькую коробку прекрасных, разноцветных, еще не отточенных карандашей! Снег, звеня, рассыпался веером... меня душило отчаяние... горе было разящим. Я не знал, куда себя девать, настолько, что и по сию пору не могу пройти мимо магазина «Канцелярские товары», чтоб хоть мимолетно глазами не обласкасть это удивительное богатство нашей цивилизации — коробки цветных карандашей!

Был здесь и мой отец, и просвет в темном небе Сибири, и ослепительно яркая звезда, долго летевшая параллельно земле над нашим городом, появился почему-то и Егоров, что лежал теперь рядом, однако был осиротело примолк-

ший, держал одну руку за пазухой шинели и, казалось, всячески старался избежать встретиться взглядом со мной. Его вытеснили деревья за кладбищенской стеной того же Красноярска, которые на фоне увядающего дня всегда образывали точное очертание фантастически огромной головы кошки. Все-таки котенок, должно быть, нелепое желание увидеть этого маленького неудачного поводыря по жизни родили рой этих воспоминаний. Выплыл из темноты и образ тетки моей Нади, что растила меня, как родного сына, и мать, — кроткого, сильного, загнанного работой человека, — все прошло передо мной так четко, ясно, что, помнится, нужны были определенные усилия, чтоб не остаться в плену этого ложного успокаивающего возбуждения, иными словами — не впасть в забвение, не свихнуться. Звук одинокого выстрела вернул реальность. Черная тень, соскользнув с дальних соседних построек двора, быстро подбежала к распаханному амбару и на короткое время исчезла вовсе. Невероятная, сахарная белизна всего, что увиделось в проеме двери, неприятно колола глаза, словно все окутали свежайшими, крахмальными простынями. Разве шел снег? Ракета, косо упав где-то невдалеке, недовольно шипела, борясь со снегом. Феерия белизны так же неожиданно исчезла, как и появилась. Какое-то время, казалось, двор погрузился в непроглядный мрак. Не могу припомнить: когда же шел снег?.. Теперь надо к ним... набрать патронов... и ждать... Каникулы, видно, кончались.

Хотел было набросить на Егорова шинель, да вдруг все стало ни к чему, и эта его причуда с котенком, ранее таившая в себе много человеческого, доброго, рождавшая желание тоже прихватить какого-нибудь куренка, цыпленка, щенка, показалась вдруг глупой, слащавой, совсем-совсем ненужной, даже противной. Конечно, это маленькое зверье отвлекало, согревало и долго поддерживало, однако, увы, не смогло уберечь его здесь — значит, суть не в этом... А в чем? И вообще есть ли она? Злой, мятущийся, не в силах остановиться на какой-нибудь определенной, одной доброй либо просто спокойной мысли, я вновь окунулся в промозглую сырость двора.

Оказывается, в амбаре было тепло. Влажная мерзлость воздуха вызывала озноб. Надо успеть, пока темно и все в тумане. Это он покрыл все своею белой ленью. Странно — кругом тихо. И наших никого не видно, должно быть, им так же тяжело и сидят где-нибудь у стен. Меня-то должен был бы кто-нибудь окликнуть, а вот ведь молчок. Чтoб не случилось чего-нибудь непредсказуемого, я громко, в голос выдохнул: «Господи ты Боже мой». И долго стоял на месте, убеждая себя, что привыкаю к темноте, однако длиться этот самообман не мог — в амбаре было не светлее. Чувствовал, как вползала тошнота безысходности — нас мало, а их вчера черным-черно, да и за насыпью их, должно быть, не меньше. Ох, нехорошо на душе! Не хотелось никуда идти, вообще ничего не хотелось. Стоял, борясь с собою... Однако патроны нужны, и если уж пойдут напролом, то хотя бы на время защититься, кто их знает, что они там надумали, для чего ракеты бросали...

Привыкнув глазами к дышащей мгле, многого не узнавал, не видел. Вспомнилось, как вчера нас приводили сюда знакомиться с местностью. Теперь мы всё это знаем, но только все куда-то исчезло, ушло, растворилось, и только стены амбаров то появлялись, проступая призрачными, загадочными островами чужих замков, то вновь проваливались в серую муть. Там, где за крышами вчера виднелся шпиль костела, было пусто и темно... Ничего кругом, кроме гиганта дерева впереди справа и дымчато-белесого плена двора. Однако дерево было столь белым, что и оно, казалось, вот-вот сольется с этим зыбким миром холодного серебра, и если оно пока виделось, то только потому, что, разглядев тихо лежащих под ним на снегу людей, как бы задумалось и скорбно распрос-терло саван своих ветвей над ними.

Да, лежат вот, как неровно вспаханное поле. Ни нерва, ни страха — мертвый покой и холодная тишина, а ведь у всех были мысли, были чувства — не могли не быть, где же все это? И хотя они лежали всюду, почему-то пошел к тем, что были в центре двора. Теперь только они могли выручить нас, оставшихся... Тяжело, мутно...

Может быть, обстановка, атмосфера всего случившегося с медленной плывущей белизгой тумана заставляли воспринимать так, но они с непроницаемыми белыми лицами лежали поверженными богами, и было неудобно искать у них патроны, ползать темной улиткой между этими остывшими надгробиями.

Я встал. Голод на патроны заботил, как видно, не только меня — в разных концах двора, используя время передышки, копошились два темных силуэта, разбивая собой страшное согласие белого единства утра. Должно быть, наше дело и впрямь худо. У них у всех мутные, студенисто-серые глаза? При жизни светлые, карие и темные — всякие были... а вот сейчас только серые. Безразличная, неприятная, отталкивающая, холодная, серая студенистость. Что это? Отражение влажного тумана? Прикрыв сверху рукой лицо одного погибшего, понял, что утро с его белой сыростью тут ни при чем. Должно быть, последние проявления ушедшей жизни. Вот у него, как сейчас вижу, темно-карие глаза, а вот ведь — тускло-серые. Когда еще ночью в доме мне кто-то протянул кружку с водкой или спиртом для промывания раны тому «безгрудому», этот человек, вдруг оказавшись рядом, как само собою разумеющееся, быстро и четко проговорил: «Смочи тампон, остальное дашь мне». Я обрадовался, что есть наконец помощник, а может быть, даже знающий и умеющий, что и как делать, который сам вызвался помочь.

О-о-о, спасибо тебе, дорогой, а то я здесь совсем запыхался...

Оказывается, дело-то это совсем не простое... Но он вдруг резко оборвал меня: «Нет-нет, не могу, видишь, руки дрожат, да и сам справишься». Это был непростой, совсем непростой, скорее — странный человек. Казалось, он все время о чем-то упорно думал, и в эти его минуты раздумий он просто был нелюдим и резок до наглости, и тогда к нему лучше было не подходить. А хохот и дурашливая трепотня одного нашего, легкого, согласного нрава, молодого солдата никак не могли быть созвучны с минутами мрачного состояния этого теперь спокойно и тихо лежащего здесь человека.

Напрочь не помню фамилий и имен ни того, ни другого. Единственно, что запало, что имя и фамилия первого происходили из одного корня, как, например: Карим Каримов, Гамза Гамзатов — он из татар. А «лягушонка» с большим ртом... вроде... Семеном, Степаном звали... Но, нет-нет, это всего лишь «вроде», и быть уверенным хотя бы в одном имени, к сожалению, не могу — не помню. Так вот: ничего не подозревая, этот «головастик», исходя слюной и шепелявя, нес какую-то чушь, строил уморительные рожи, сам хохотал, однако нужно отдать ему должное, совершенно не заботился, чтоб кого-то рассмешить. Да, по-моему, он даже и не осознавал своего обаяния.

— Перестань! — резко, как хлестнул, крикнул мрачный. — Ломаешься, как говно через палку, надоел, замучил всех!

— Чего ты вдруг? Люди отдыхают, смеются.

— Тебя, дурака, обидеть не хотят. Свободная минута — письмо матери напиши. Мозолишь здесь людям души, глаза.

Пристыженный «затейник» вместе со всеми умолк. Я хоть и смеялся не меньше других, однако вскоре не без удивления ощутил действительно свободу и отдых. И, помню, уже по-другому смотрел на того мрачного, неприветливого, чем-то обозленного, тяжелого в жизни человека. И, наверное, так и держал бы его и дальше, не окажись мы, несколько человек, в одном полуразрушенном доме вместе со «святой троицей», как называли их троих. Они в общем-то так и держались всегда особняком. До того привала мы долго шли под дождем, время было осеннее, все кругом промозгло, и на нас не только сухой нитки не было, а просто ручьем текло, и нам выдали водки. Делали это редко: иногда перед боем и в большие праздники, — меня это не заботило — водка была мне противна, и если я все же выпил ее тогда, то только потому, что зуб на зуб не попадал. К сожалению, сейчас наши отношения с нею несколько изменились и порою... Ну, да что толковать об этом — пройдет, как те острова. Для двух приятелей того мрачного мужика водка, как видно, тоже не представляла особого интереса и была не обязательна, и, лишь отхлебнув ее, как чай, они все отдали ему. Слив все воедино, не моргнув, не охнув, легко и безбольно он заглотнул все это пошло враз без всяких «кряков» и ужимок. Это походило на фокус: вот она есть, а вот ее и нет. Правда, потом долго сидел, уставясь в точку, глубоко задумавшись. Что руководило новым действующим лицом — не знаю (должно быть, он просто был ошеломленным очевидцем только что происшедшего), но подошел солдат и предложил ему — «если, конечно, тебе не будет худо от всего этого» — свою порцию водки. Очнувшись, тот принял дар, лишь скользнув взглядом по солдату, ожидавшему свою кружку, и тут же проделал с этой новой порцией то, что и с предыдущими.

— С чего здесь худу-то быть? — сокрушенно выдохнул он. — От сырости разве... Всякое бывало... я и пивал ее так, что и теперь иногда вспоминаешь да думаешь: я ли это? — Он помолчал, недобро покосился на солдата, отдавшего ему водку, словно тот в чем-то виноват перед ним, и, ничего не объясняя, как если бы продолжал давний рассказ, заговорил: — Мы справили свадьбу сестры моей Нюрки, но с просыханием как-то не получалось — сначала пили на радостях, что Нюрка наконец-то ныть перестанет, семьей и детьми обрастет, а потом с горя вроде наладили, что неровня ей никакая, синюшный этот, и нос-то весь в угрях, хоть и районная шишка, какой-то там начальник, этот жених-то ее. А тут еще уборка, и надо вкалывать с утра до поздней ночи, но и вместе с тем все как-то уладилось и чередовалось от одной пятидневки к другой. И так оно, наверное, и продолжалось бы, не случись небывалой в наших краях жары и повторного приезда молодых, хотя все отпуска у них давным-давно покончались... И опять по новой наладили в радость, да так, что через несколько дней Нюрка закатила скандал мне и Райке, жене моей, что мы спаиваем интеллигентного человека, и еле увезла своего милого живым. Признаться, уволокла она его вовремя... жара не унималась, голова трещит, председатель орет, а родня ноет: «Какая Проньке, этому дохлому хмырю, добрая девка наша досталась, и всем-то она взяла, а он даже пить как следует не может...» И опять с вечера до свету — пить, и все это, прямо скажем, тяжело, лучше бы уж Нюрка наша похуже была.

И вот в один прекрасный день председатель, видя, что я совсем из колеи вышел, снял меня со скирдовки, кажется, и отослал засветло домой, чтоб дать оклематься мне, но зато поднять чуть свет назавтра. Прихожу... И в щель руку просовываю, чтоб щеколду на калитке поднять, хотя и без всякой калитки к дому пройти можно, но вот так уж получилось — одно к одному... и, чую, кто-то ласково так гладит мою руку шерсткой. Сибирская кошка была у нас, Дунька, смышленная такая, все дело из бочек у русских соседей таскала, хозяин тот пристрелить ее поклялся. Мы уж ее и мордой в сало-то тыкали — ничего не помогало, на редкость деловой и хозяйственной была. Она, думаю, больше некому... Открыл, захожу во двор... Нигде никого... Показаться не могло, ясно помню, как схватил ее, но лапка ловко вывернулась, и поймать второй раз, как ни шарил, не удалось. Оглядываюсь, никого...

Куда она могла запропасться так быстро? А у нас от калитки до сеней настил выложен из чистых, хороших досок, и светлым-то еще светло, лето только каких-нибудь полмесяца на убыль шло... Глядь, на самой чистой доске... черт этак сидит и лапку о лапку от боли трет. Мне бы нужно так и остаться стоять, и все было бы хорошо, но ведь нечасто скотина такая в гости к тебе на твоей тротуар захаживает. Не привыкший к ней еще и я, не раздумывая, изо всей силы как дал по нем ногой!.. Никого нет! Меня от такого пустого пинка даже в обратную сторону развернуло. Я и так и сяк кручусь, ишу, думаю: между ног где-нибудь проскочил, — а жена, заметив мои выкрутасы, в окно кричит: «Чего это ты там вытанцовываешь?» Оступился, говорю, сказать же, что черти за руку хватают, а теперь еще лапу о лапу трут, как-то страшно неудобно вдруг стало. А она хитрющая, ее на какую-то там шараду не шибко-то того, вмиг раскусит. «Со стороны показалось, как ловишь кого». «Кого же ловить? Ну, вот скажи на милость, кого здесь можно поймать, черта лысого, что ли?» — говорю, а сам аж взмок весь от того, что никак этих слов выговорить не хотел и не собирался, а слышу, что именно их-то я и говорю. «Тебе видней! — кричит. А сама руку о руку вытирает, ну, точь-в-точь, как тот. — Да что с тобой сегодня, никак припекло?»

Что мог ответить ей? Ничего. Махнул рукой, дескать: «Баба ты и есть баба, ни ума в тебе, ни разума». А сам незаметно зырк в одну сторону, в другую — нигде никого. На этом все вроде кончилось, и пошел мыться. Рукомойник у нас на летнее время в сенях, обычный такой рукомойник: рукой снизу толкаешь пестик вверх — вода льется, и мойся себе... Толкаю я этот пестик, а он не поднимается, упирается во что-то мягкое, и вода еле-еле капает... Открыл крышку, чтоб устранить помеху, а он оттуда, как пружина, и головкой крышку подпирает, и видно, что неудобно ему, больно. Я как заору и крышкой туда его обратно, он уперся, а я что есть силушки давило его крышкой и ору, как жена потом уж говорила: «Да отстанешь ты наконец?» И, когда я уже всей своей тяжестью лежал на рукомойнике, прибежала перепуганная жена. «Он здесь, зови

председателя, парторга, быстро, милицию, он здесь, только что хотел ули-нуть». Жена долго стояла молча и только смотрела. Потом тихо-тихо сказала: «Пусти, пожалуйста», — и, легко приподняв крышку, она опять спокойно и мягко уставилась в меня, даже не заглянув в рукомойник. Помню, что было стыдно почему-то, но в умывальник я все же заглянул — в нем ничего не было, был пуст... как карман перед получкой. Вот когда было худо так худо. Нюрка всю ночь не отходила. Меня же всего стыдом пропахало, как голяницу, вывернуло, и я был послушный, как теленок, никогда раньше мы с ней не говорили так соглас-но и спокойно, а утром она отвезла меня в районную больницу.

Многое слышалось и смешным, но оттого, что он рассказывал как-то мрачно, никто не смеялся, и, когда он умолк, вернувшись к тому замкнутому, неприветливому человеку, которого мы знали и порою просто сторонились, долго еще стояла тишина, все оставались на прежних местах, вроде передумыва-вая каждый свое. Однако по-настоящему удивлял, привлекал к себе этот человек другим. Несмотря на сложную жизнь нашу, они довольно часто пели. Пели всегда вдвоем. Начиная и вел, собственно, один — молодой, тяжельный в кости, неожиданно подвижный парень — вел тихо, неназойливо, не спеша, свою грустную, одинокую, несколько даже унылую ноту. К нему пристраивался не очень чистый, но не по возрасту высокий голос их старшего, которого они необыкновенно уважали и слушались, как родного отца. И затем уже вроде изда-ли, «из-за леса, из-за сопок», осторожно напоминал о себе низкий хрип. Он так хрипел сначала, что казалось, вот сейчас прокашляется, «раскоцегарит» и уже потом все вокруг заполнит гущей баса. А нехитрая гармония двух голосов его приятелей, как бы подгоняя друг друга, вырывалась в верха, паря над остав-шимся где-то там внизу, каким-то чудом ставшим густым и сочным тоном его голоса, на фоне которого, радуясь жизни, звучала легкость взлетов и замира-ний, уходящих вдаль и звучащих совсем рядом каких-то вздохов, радости, тоски и пронзительного зова надежды его запевал. Может быть, в той простой слаженности и было многоголосие — не знаю, но задушевное пение без основа-тельности низов этого человека было немыслимо. Как все истинно народное, пение их имело свою необъяснимую привлекательность. Никаких слов мы там не понимали, но было слышно их тоску-кручинушку по раздолью степей, дому, по оставленным родным и по каким-то еще, только народу этому понятному стремлению и мечтам. В строю они всегда были в одной шеренге, и однажды на марше...

В тот день по той дороге прошло много всяких подразделений, и никто не задел искусно закопанной в полотно дороги мины, а вот здесь это произошло — погиб сразу старший из них и еще двое наших ребят, а запевале оторвало по ко-лено ногу. И наш (Карим?) с полмесяца не проронил ни звука, хотя оставался исполнительным и точным. Мы все переживали нелепую, зряшную потерю друзей, но трудно сказать, как не хватало нам всем их заунывного, но оттого не менее утешающего, успокаивающего всех нас пения.

В один из тех великих дней, когда радость приближения конца войны кло-котала в каждом из нас и мы неудержимо шли на запад, он сперва как-то для се-бя подвывал, а затем громче и яснее загудел отчетливо и, казалось, даже радо-стно. Мы все, предупрежденные лейтенантом недель раньше — если он вдруг «запоет», не обращать на него никакого внимания, — молча шли, глотая комок, душивший нас, радуясь возрождению человека и от неизбежного горя, что те трое остались около той злосчастной дороги, а многие, многие другие не дошли и до того рубежа, и оттого еще, что жизнь в каждом из нас, оказывается, — та-кое хрупкое невероятное чудо...

Теперь он лежал, раскинув руки, рот открыт и искажен — и ни единого звука из того множества напевов, которыми они так искусно и просто созда-вали атмосферу душевности и доброй грусти, как я ни силился, вспомнить не мог. Ни подсумка, ни самих дисков с патронами у него не оказалось. Лицо бы-ло гладкое, и без того глубоко сидящие глаза ввалились и оттуда, как издале-ка, застывшим бельмом безразлично смотрели в туман. Какие там патроны, гранаты — было до того тошно, внутри вскипало, жгло, душило, становилось немотогу. Минуты эти страшны и тем, что в них совершенно был не властен ни в ощущениях, ни в продолжительности их, и, когда в короткие мгновения возвра-та к себе удавалось увидеть и осознать все происшедшее, они лежали строго, величественно, словно принимали присягу. Пронеслась мысль: «Это

не страшно, тяжело и неприятно сейчас, а потом вот — полный покой». И стоило эту псевдоспасительную, уродливую по природе самой жизни мысль связать конкретно с собой, как обжигала пустота, — безнадежность давила и угнетала настолько, что ничего не хотелось, все вокруг становилось ненужным, непонятым, ничего не значащим, пустым. Безразличность, противная, тупая, нехорошая, с глухо заворочавшимся чувством ненависти к самому себе, заполняла все существо, эти короткие наваждения бывали столь чудовищны, что, насаживая душу и сознание, оставляли надолго тягостную, с чем совершенно невозможно было бороться, тоску. Тоску снедающую, непереносимую. Невольно думалось: скорей бы уж они шли... Так тяжело было, пожалуй, только однажды, в давно угасших сполохах детства.

То немного, что еще сохраняет память из моего детства, почему-то неизменно связывается с тем временем, когда были живы мой отец и его родная сестра Надя, моя тетка, что взяла меня, пятилетнего, из деревни к себе на воспитание. Слово «воспитание», должно быть, сказать слишком высоко и выпрηνне, следовательно, неверно. Какое там воспитание, просто у тетки Нади с ее мужем, дядей Васей, детей не было, а у матери с отцом их было переизбыток, но, правда, на этом родительское изобилие и кончалось, всего же остального у них просто не было. Это были 1929—1930 годы. По всей Сибири смерчем пронесся голод, и в каких-то местах он несколько задерживался.

Страшной остановки этой не избежала наша Татьяна — деревня, где я родился. Для того чтобы хоть как-то противостоять этой беде, одни сами бежали в город на заводы и фабрики, другие, оставаясь в деревне, старались избавиться от лишних ртов. Не думаю, чтоб я уж очень объедал семью, но тем не менее меня спровадили в город, а старший братишка Митька, оставшийся с родителями в деревне, умер, после чего уже вся семья перебралась в Красноярск. Мальчишеское воображение и сердце в ту пору еще не умели, да и не было поводов (детей не посвящали ни в сложности, ни в трудности жизни), заходиться в тоске и безысходности. Тогда жизнь воспринималась мною, как, впрочем, всегда и всеми детьми, как сплошная поразительная сказка, в которой была тьма непонятого, порою пугающего, но вместе с тем все вокруг было светлым, беззаботным, до удивления возможным, своим, а главное, годным для жизни, и нередко детское сердце переполняло радостью предощущений подлинного понимания праздника жизни, которому не будет конца. Часто поздним летним вечером на пологой крыше погреба, запрокинувшись на спину, лежал, радостно замирая под властью темного звездного неба, необъяснимо маясь, волнуясь от чуда мироздания, и Млечный Путь, казалось, неотступно манил в свою хрустальную глубину, завораживал своею далью и обещал в конце усилий, познаний и труда приобщить к своему вечному мерцанию. Невзгоды страны вместе с «головокружениями от успехов», как нарекли их несколько позже, канули в повседневности, заботах, труде, растворясь в терпении, добре и мощи народа, — жизнь входила в свои прекрасные права.

В один из таких замечательных дней человеческих именин мы с отцом были где-то на Бадалыке (название места осталось, должно быть, еще со времен татаро-монгольского нашествия), что километрах в тридцати от города. Запасали сено на зиму. Отец косил, а потом вместе уже высушную траву небольшими охапками носили к повозке. На подобные заготовки отец брал меня не впервые. На сей раз он не нашел ничего остроумнее, как косить траву на военном полигоне-стрельбище, где совсем невдалеке белели плоские фанерные домики-мишени и такие же сплюснутые и оттого смехотворно-миролюбивые танки, и даже их темно-бурый цвет не делал их внушительнее и опаснее. Однако смешного было не так уж и много, скорее это было безумием, но отец, увидев здесь сочные, свежие травы, не мог удержаться, чтобы не накосить их для своего любимца — старого мерина.

Опасность была явной хотя бы уж и потому, что в этой ядерной траве то тут, то там валялись полувзорвавшиеся, начиненные небольшими металлическими шариками снаряды, а местами так и целые лежали, и хотя все устремления мальчишек моего возраста были мне не только понятны, а просто-напросто и не в меньшей степени были и моими, не помню, чтоб меня уж очень тянуло нагresti полные карманы этой дурацкой шрапнели. Настроение, несмотря на необычность обстановки, было не очень романтическое, скорее напротив —

тревожное, неудобное, и все время пересыхало горло. Я старался поймать взгляд отца, но ему, как видно, все было нипочем, и он с азартом и увлеченностью косил, полагая, должно быть, что его этаким полуметровым снарядом не очень-то и свалишь. И все это так, и все действительно хорошо, только как же я-то?.. Однако все вдруг изменилось, прервав мои размышления, и стало тревожным, даже непонятным, пугающим. Отец как ошпаренный бросился в траву, жестами и нетерпеливым шиканьем заставляя и меня сделать то же самое. Было ясно, что вот сейчас-то и тараранет и нипочем пропадет моя головушка! Вот уже приближение какого-то грохота ветром донесло... Сейчас — всё, конец!

Подъехала небольшая грузовая машина — полторка, так называли ее тогда, это значит, что полторы тонны груза она могла легко и свободно везти, и ничего бы с ней не случилось, и колеса остались бы на месте, и сама она ни сколько бы не развалилась. Но это были не единственные ее положительные параметры в характеристике. У нее, например, была деревянная кабина, и у непосвященных людей сейчас это, пожалуй, может вызвать улыбку, а совершенно напрасно: летом, в зной, сидишь в ней, как у себя в домике на садово-огородном участке, — ни жары, ни зноя, и разница в том только, что там сосны скрипят, а здесь — сама кабина. Ну, понятно, что я позволяю себе некоторое ехидство в адрес этого детища машиностроения в ту довоенную пору с позиций полувекowego научно-технического развития всей нашей цивилизации, а не только нашего отечественного автомобилестроения. Правда, на фронтовых дорогах даже в 44-м году можно было еще встретить это незлобивое сооружение, однако же и тогда оно, помнится, производило ошарашивающее впечатление, как если бы, рассматривая скелет какого-нибудь птеродактиля в зоологическом музее, вдруг заметили бы, что этот звероящер заклацал челюстями. Тогда же, в прекрасный мирный день покоса, на стрельбище рядом со сколоченными из фанеры танками эта машина смотрелась аппаратом веземной цивилизации, черт-те что излучающим и влияющим на всю окружающую нас и ее биосферу. Я никогда не замечал раньше, как отец — этот не просто сильный, не раз удивлявший своих товарищей-грузчиков, когда он позже работал в Красноярском речном порту, на спор носивший тяжести, которые никому не были под силу, — как этот великолепный человек вдруг неузнаваемо сник, делая мне из зарослей травы какие-то странные рожи, но самое поразительное — когда через какие-нибудь, ну, самое большее, полминуты, подъехала эта машина, отец глубоко и спокойно спал, закинув руки за голову. Нет-нет, что ни говори, а машина эта явно что-то излучала.

— Та-ак, в выходной денек, когда охрана стрельбища снята-а, мы здесь, на закрытых территориях, потихоньку тра-авку пока-аши-ваем, да-а?

Странное дело — отец обычно довольно чутко спал, а здесь ну просто как провалился, ничего не слышит и не чувствует. Начальник, тот, что спрашивал про травку, открыл дверцу кабины и встал во весь рост на подножку машины, оглядываясь по сторонам, отыскивая, должно быть, кого-то. Настроение его явно менялось к худшему.

— Эй, пионер, толкни-ка дядю этого, пусть он ваньку-то не валяет!

— Это не Ванька, а мой папа.

— О, папа!.. А сколько вас сюда понаехало с папой?

— Нас?

— Да, да, да, вас! Кто только что травку-то косил?

— Нас... эта... нас немного... Вот две лошади. Отец мой да я!

— У-у, как интересно!.. А как тебя звать? — Слышал я что-то страшно знакомое и родное...

— Кешкой...

— О! А я думал — Власом... «Ну, мертвая, — крикнул малюточка басом», — ворча себе под нос известные стихи Некрасова, направился он к отцу, — «рванул под уздцы и быстрей...» задремал, — начал он как-то нехорошо видоизменять нашу русскую классику.

Ничего не понимаю. Отец сегодня то сразу заснул, то быстро, свежо и ясно вдруг проснулся, как, впрочем, делал это порою и раньше, но не всегда, и, как старому своему доброму другу, ни с того ни с сего ляпнул этому начальнику: «Ну, что, брат, как ты живешь, ничего? Кешка, давай костришко быстрень-

ко сваргань, сынок! Картошки испечем, яйчишек сварим, чайком ребят угостим...»

Какое-то время начальник тот несколько оторопело и уж очень внимательно впился в отца глазами, вроде заметил на нем что-то такое, что страшно заинтересовало его, и он даже нагнулся. Отец и дядя, застывши, смотрели друг в друга. Потом эта немая самодеятельность последнему, как видно, надоела, и он сказал:

— Ладно, ты мужик, я вижу, сообразительный, так давай-ка запрягай своих коняшек и мотай отсюда, чтобы глаза мои тебя больше не видели вместе с твоими вареными яйчишками, понял? Ну, вот и давай, милый, намазывай!..

В кузове машины поднялись хохот и улюлюканье.

— Это, брат, совсем не так... Свежий чай да еще на таком раздолье — никогда и никому не лишнее... вареные у тебя яйца или нет, — просто и мягко говорил отец.

Он, как все сильные люди, не любил ссориться и, кажется, даже не умел, а зная, должно быть, что его великолепный рост и статность мужика всегда вызвали расположение окружающих, поднялся.

Тема вареных яиц была, как видно, близка, а потому пришлось по душе всей ораве, что приехала под началом этого неглупого и, в общем, неплохого парня, и они, вначале обсмеяв отца, чуть не вываливались из кузова, хохоча теперь уже над своей властью, однако самое замечательное, что и сам «стратег» тот вместе с отцом смеялся не меньше. Смеялись все, но сено забрали, сетуя и объясняя тем, что нас засек в бинокль какой-то очень большой начальник, дежурный по военному городку, и что без сена им возвращаться вроде бы даже и, ну врали, конечно, нельзя. Просто самим не хотелось косить — лень, а сено для военных лошадей нужно. Однако, указав нам направление, где без помех мы все же могли бы накосить травы, они уехали.

С этой минуты каждый шаг, поворот дороги, отдельно, осиротело стоящее дерево или испуганно прибежавшее друг к другу зеленое братство, тихо и немо смотревшее нам в спину, прохладная свежесть воздуха, живительный запах свежескошенной травы, что оставили нам наши друзья, огромная спина отца, молчаливо сидящего впереди, — все, все готовило и приближало меня к моему первому и страшному открытию. Не думаю, чтоб отец понимал или знал толк, чувствовал зов давно ушедшего времени, просто случайно, должно быть, остановился там, где остановилось, но место было на редкость удивительным и таким диким, что вот уж действительно ни в сказке сказать, ни пером описать. Эту последнюю фразу я написал, пожалуй, в оправдание своего неумения создать атмосферу того, что почувствовалось на том диком месте. Это была самая высшая точка длинного пологого косогора, по которому мы долго поднимались. Спад за этой вершиной был резким, местами крутым обрывом уходил вниз, сразу и определенно теряясь, казалось, в нескончаемой, завораживающей вечерней мгле балки. Оказавшись лицом к лицу со столь широко, полно открывшимся передо мной миром, я был поражен необычностью и дикой красотой его, раздольем того открытого места, выбранного для покоса, прислушивался к сиплым прерывистым стрекотаниям, свистам, пискам, шорохам, невнятным таинственным шепотам, ползущим отовсюду, говорящим о доброй мелкоте вокруг, вдыхал в этом насыщенном покое жизни прохладу засыпающей природы, а фырканье и храп поодаль пасущихся лошадей уносили открытое, готовое для фантазии и мечты мальчишеское воображение в недавно проходимые в школе, но давно отшумевшие во времени набегу Золотой Орды. Жизнь, это чудо, во всем выявлялась здесь явно, сочно, щедро. Должно быть, не хватило ни душевных сил, ни только-только проклевывающегося сознания, чтобы если не вместить, то хоть как-то противостоять этому преждевременному, безусловно, неравному столкновению. И много вопиюще несовместимого здесь вдруг совпало, объединилось, подчиняясь моменту, словно желая избежать малейшей возможности неточного или ложного толкования и, бесцеремонно обнажив явь, представило ее такой, как она есть.

Солнце уже зашло за край земли, но золото его лучей зло, ярко осветило оттуда в темных, по-вечернему печальных облаках кромки их и глубину образовавшегося просвета. Распахнутые ворота эти были ослепительно четко очерчены. В мрачных, сгущающихся сумерках они создавали впечатление зияющего, наглого входа в какой-то иной, вечно утопающий в праздничном и оттого

неприятном освещении мир, где лишь из-за отдаленности этой пугающей и зовущей цивилизации не слышны были звуковые проявления вечной жизни, которые там, сливаясь с голубой почему-то прозрачностью позолоты всевозможных храмов, замков и дворцов, возносились вместе с ними в неизъяснимую, недоступную высь.

Нет! Нет! Я был здоровым ребенком, и если болел золотухой и годами меня донимали лишай — неминуемая, должно быть, дань любви ко всяким бездомным и своим кошкам, собакам и телятам, — то эти недуги не могли служить основанием для душевных изъязов, рефлексии и слабого самочувствия, но я, очевидно, был так подавлен и атмосферой полигона, и страшно долгим путем к этому высокому месту, и загадкой польхающего света в глубинах тех ворот, и общим настроением позднего вечера уходящего лета, что находился в состоянии какого-то страшного возбуждения. Глядя в этот зияющий провал, я вдруг четко осознал крохотность человека, временность нашей жизни, отчетливо ощутил ее краткость, что все мы, как это прерывающееся стрекотание кузнечика в траве: сегодня живем — стрекочем, а завтра навсегда замолчим и никогда, никогда уже... никогда...

В страхе и испуге я метался, катаясь по траве у телеги, и стонал, кричал, несогласный с законами природы, с их вечными проявлениями. На мои вопли спешил отец, загородив своим силуэтом уже исчезающий, оказавшийся тоже временным и коротким вход в загадочную, зловеще-красивую вечную даль неизвестного. Задохшийся в бессильной истерике, на простую, вечно живую заботу отца — что со мной, что испугало меня, — к великому сожалению сейчас, не мог сказать правды тогда: открытие раздавило, но было страшным, явным и неотвратимым. Дальше предстояло жить с ним. Наив и детство кончились навсегда!

Прибитые тишиной, мы ждали рассвета, наивно надеясь, что его приход избавит нас от предстоящей заведомо обреченной схватки, однако и предположить не могли, что это уже давно началось. Ночь жестко обозначила крайности, но то, что выявилось, было предлогом, приучить к которому было едва ли возможно вообще. Озираясь вокруг, мы не могли взять в толк: что же это такое? И как ни напрягали слух, ни вглядывались в неясные пятна, выплывающие на нас из серой мути тумана, — ничего оттуда не приходило: зыбкие разводы превращались в темную слизь соседних строений, отнимая у нас последнюю надежду. Дело в том, что нас осталось четверо. Где хрипун, Телегин, где раненый, что так невероятно стойко держался со всеми нами, теряя вместе с кровью силы и сознание и, наконец, где те двое, не только здоровые, но просто здоровенные детины, два солдата, что виделись гордыми неутомимыми сказочными витязями на общей усталости остальных, когда, отбив последнюю атаку и приходя в себя, мы толкались друг о друга в нестройной общей группе? Где все они? Куда, вдруг и зачем подевались? И как, наконец, мы-то теперь? Сколько ни пронеслось бы подобных и других вопросов и как бы испуганно-неистово мы ни вопрошали себя и окружающее нас — ответа не было. И как-то само собою выходило, что именно тишина и туман своей западней были повинны в нашей отверженности, и теперь уж просто ясно — в нашей обреченности. Вспомнился замечательный сержант, и мысли о нем не были столь хороши сейчас, как те, что приходили раньше. А его невероятная энергия вообще показалась какой-то дьявольской, хотя именно она оставила нам жизнь тогда, но тем более непонятно, почему же теперь-то, когда эта ее направленность была так необходима, она вдруг стала другой?? Что разрушило ее непримиримую стать и увело его куда-то? Припомнилось вдруг то, что он вроде собирался сказать мне что-то... да, да... и, как виделось по лицу его тогда, что-то важное. Но я, должно быть, не показался ему, не вызвал доверия или просто-напросто пришелся не по душе ему, вот он и сбежал от меня, как от чумы, придумав какую-то нескладную историю о фокуснице с солью.

Туман, один туман. Без продыхов, приступом стала давить мысль о лейтенанте. И чем больше я старался не думать о нем — тем назойливее человек тот вставал передо мной, я видел его грустные глаза, слышал голос. Противясь завладевшей мною идее, шараясь в стороны в надежде уйти, освободиться от навороста уставившихся в меня глаз, боясь, признаюсь, как бы невольно указанное им место в цепи обороны не обернулось предсказанием, пророчеством для

меня: «Ты и должен быть здесь, иди туда между сараями», — я метался из одного угла двора в другой и, обессилев, оказался там, куда она так неотступно призывала — между сараями у моего соседа справа. Стоял и туло соображал: «Сюда-то зачем занесло меня? Как неловко лежит он на боку». Кольнула боль: «Это же я оставил его в таком положении». Бедняга был неузнаваем. Предрасветный иней не успел осесть на его лице, оно было открыто и искажено последней страшной мыслью. Нагнувшись поправить его, обнаружил под колесом перед ним два полных, тяжелых диска, я увидел их, как если бы сам положил их туда, и с облегчением понял, что именно мысль, что у него не могло не быть запасных дисков, все это время досадным сожалением томила меня, ускользя от конкретного осознания. «Она и привела меня сюда», — успокаивал я себя. Объяснение смягчило навязчивость исчезнувшего лейтенанта и радость, что для «предсказания» его нет пока никаких причин, ни оснований, что все это нервы, усталость, что всему виною этот вползающий брезжущий рассвет, заронила в душе что-то вроде надежды и тепла, но тот миг оттепели был недолгим, и уже в следующее мгновение все было вытеснено тоской, и она оставила молча стоять у развороченной жизни.

— Ты не очень бы торчал тут. Видишь, место здесь самое такое. — Из глубины двора шел солдат, кого я двумя часами раньше допек своими выпрашиваниями.

Он хоть никак и не выделил слово «торчал», тем не менее прозвучало оно не очень уважительно. Уж не узнал ли он меня, но, поразмыслив хорошенько, понял, что ошибся: во-первых, если бы он заподозрил, что это я, уж, наверное, как-то оценивающе взглянул бы на меня: «Кто же это не давал мне покоя ночью?» — и уж, конечно, не заботился бы обо мне теперь, а во-вторых, он тогда в темноте почти и не смотрел в мою сторону и узнать меня мог только по голосу. Опасаясь, как бы не напомнить ему о себе и своей приставучести и опять не возбудить в нем неприязнь, затаюсь и опустив голову, я собрался было отойти к углу маленького амбара. В этот момент он хотел было что-то сказать и совсем не вдогонку, а прямо мне в лицо — я видел это, но он, должно быть, передулам. И совсем не лучше меня, а таким же столбом остался торчать между амбарами. Поразительно в том мгновении было то, что я знал, почему он стоял там, и даже знал, что собирался сказать мне. Бывают минуты, когда, наверное, знаешь, какие мысли сейчас начнет высказывать тебе твой собеседник. Расхождение лишь в словах, но мысли — точно. Та минута была именно такой, и, не бойся я разоблачить себя перед ним, я и сам бы сказал ему примерно то же самое: «Ничего, пусть видят, что мы живы, что нас еще предостаточно, и оттого мы ходим в полный рост, а нет — просто стоим, молчим и в ус не дуем». Мысль эта осталась не высказанной ни им, ни мной, потому что в ней все было неправдой, кем бы она ни была сказана. Она не могла что-либо изменить ни в положении, в котором мы оказались, ни в нас самих. И мы молчали каждый на своем месте: я подпирал стенку, он — неудачным пугалом торчал у колеса моего соседа справа.

Да и что говорить: как ни страшна действительность вокруг, но дорога открыта, деревня наша, те, за насыпью, не прут, ночь на исходе, впереди день и жизнь, хоть и через пень-колоду, но катит своими непростыми путями, катит, и мы живы, черт побери, стоим, торчим, и подпираем, и, что самое поразительное, — все еще надеемся. Вот только недостает уверенности, что порядок этот будет долгим, и оттого немного точит сожаление, что тех наших пяти товарищей нет с нами, тогда уж совсем было бы хорошо, славно и прекрасно.

Но на фронте, видно, такое если и бывает, то страшно редко — вот и мы подпали под эту неумолимую нехорошую сторону статистики. Меня-то больше всего снесла вероломная скрытность их ухода. Уж такой тихой сапой все произошло, что долгое время не покидало ощущение, что все они должны быть где-то здесь, только затаились. Но время шло, а они все не выползали из своего подполья, и становилось больно и все более беспощадно ясно — они ушли. Ну, допустим, этот скоропалительный уход их был необходим — раненые и один едва ли не безнадежно, и Телегин слаб, необходима помощь — кто спорит, все понятно и правильно, но хорошо, а мы-то как же? Какие ни на есть, а тоже, поди, живые, из клеток, нервов, видим, слышим, чувствуем и, что смешнее всего, то же самое хотели бы проделывать и впредь. А вот, поди ж ты, не всегда

сбывается, что хочешь: «Отведите раненых и возвращайтесь, речь ведь все-таки идет о жизни вместе с вами отстоявших деревню четырех товарищей».

Первые приметы утра за неровной размытостью тумана порою приносили с собой надежду увидеть возвращающихся, но туман плыл, превращая идущие тени в темные стены амбаров, — и тоска новой холодной волной обдавала душу.

Время от времени из кювета дороги высовывалась макушка одного из наших дозорных (второй был где-то за деревом — вот, собственно, и все наше могучее войско), он вопрошающе-немо глядел в нашу сторону и, не узрев ничего нового, так же тихонько исчезал в своем укрытии. Да и кого спрашивать, о чем? Разве что самих себя, но тогда должно было бы и ответить. Этого сделать нам было не дано!

Из серой мути тумана, как из-за нарисованных облаков в кукольном театре, выдвинулось вдруг темное лицо. Я знал, что он где-то там, но это внезапное явление из-за слившегося с туманом дерева было как бы выдуманным, нарочным, причем придуманным плохо и оттого несколько нелепо смешным. Все вокруг было слишком иным, страшным, и появление этого «Петрушки» было некстати настолько, что, скажи он с какой-нибудь фистулой или писком в голосе, мы бы даже хохотнули, наверное, но солдат спросил до обидного просто, ясно, что напрочь не вязалось с его помятым, изнуренным лицом.

— Будем, нет, что сделать?

— Снимать штаны и бегать! — сердито проворчал мой знакомый, но так, что слышал об этом редко, развеселом аттракционе только я.

Этому, должно быть, трудно поверить, но я испытал тогда момент некой радости — оказывается, не я один способен вызвать его раздражение.

— Я куда тебя просил смотреть? — теперь уже намеренно громко, грубым надорванным голосом нетерпеливого массовика-затейника заорал он на дозорного. — Ну-ка, напомни мне — куда?

— Я смотрю, толку-то что? — И страж исчез за белесой размытостью дерева.

До меня вдруг дошло, что я, оказывается, стою рядом с вновь испеченным начальником и, чтобы не накликать на себя гнев, а больше, наверное, из желания показать, что я умею не только «торчать», но и быть исполнительным солдатом, почел за благо быстренько спросить:

— А мне куда смотреть?

— В жо-о-пу!

Как видите, ответ был коротким, но совсем уж не по делу. Хотя бы потому, что не считаю, что, упершись взглядом в такое, можно было как-то изменить наше положение к лучшему. Я стоял и ждал, что сейчас разразится скандал в связи с невыполнением приказа, а я, честно говоря, вообще не представлял, как такое могло происходить, может быть, он просто так — к слову решил сказать, хотя лицо было очень серьезным, но он тихо, как-то совсем по-человечески вдруг попросил:

— В самом деле, ты не стоял бы на одном месте, а там покажись, в другом где месте выползи, высунься. Если что заметишь — я здесь и тоже ползаю, покажусь, поору. Кстати, и поорать было бы не лишним...

Боже мой, Боже мой! Как же это я просмотрел, совсем, не заметил даже: так ко мне мог обратиться только друг, оказывается, они у меня есть и я им нужен, нужен. Вот сейчас не буду орать. Что б такое дельное придумать? Как он это здорово, не стал выговаривать мне больше, только как-то вскользь, но все равно не приказал, а попросил меня поорать. Нет, он замечательный такой. Друг! Поймал себя на том, что очень хочу быть похожим на него. И орать буду, как он. Ага, вот. «Эй, вы, что вы там притаились за полотном, дурачье вы этакое! Все небось смотрите сюда, а смотреть-то нужно совсем в другое место». Нет, так не годится, чем же все они там виноваты, что у меня здесь друг появился?!

Непонятный, странный грохот, внезапно появившись, застал нас врасплох. Звук шел откуда-то сверху, нет — от амбара, теперь за нашими спинами! Гул быстро нарастал, и вскоре на дороге, что вела из деревни в лощину, с каждым моментом все четче вырисовываясь, вылетела пара мчащихся галопом лошадей, запряженных в легкий прогулочный тарантас. Возницы видно не было, похоже, что повозка была пустой и обезумевшие лошади самостоятельно неслись

в серый рассвет. Казалось, в каждое следующее мгновение они врежутся в изгородь, строение или дерево, но грохот, так неожиданно прервавший хоровод прекрасных мыслей и возмущивший дремлющую тишину вокруг, быстро уходил, таял и совсем замолк в лошине, оставив по себе лишь отголоски невнятного шума. Предыдущей ночью повозка эта (я узнал ее сразу) много раз обгоняла нас на марше, когда в темноте мы стремились сюда неведомыми путями-дорогами. В ней ехал тогда наш командир батальона — капитан, и еще какой-то офицер дремал, должно быть, — развалившись, сидел рядом.

Теперь пустой экипаж загадкой прогрохотал мимо, и лишь мечущиеся в воздухе черными змеями оборванные концы поводьев говорили о том, что лошади, напуганные чем-то, сорвались. И, как ни странно, это было прекрасным знаком: значит, сам-то капитан остался, он здесь, и обязательно придет, и приведет с собою, он же старше того офицера, что сидел с ним рядом в ночном экипаже. Прикажет — и все, никуда не денешься, да и вообще наведет какую хочешь подмогу — и лейтенанта нашего отыщет, и сержанта того с точилом вместо горла вернет, да и мало ли кого еще. Многие вчера оставались там, в доме, да, наверное, и в других строениях, так что все в порядке, сейчас-то уж мы им не дадимся и без орудия, а повезет, так, глядишь, и деревню удержим, и жить останемся... и друг теперь у меня есть, и он, вот он — рядом торчит. Так что — будь здоров — кони-то одни мчались. Этот факт никуда не денешь, седоки живехоньки, и они остались здесь. Теперь только надо запастись терпением и подождать немного, всего-то дел — подумаешь! С этим рождественским настроением и как-то неестественно улыбаясь, я и подполз к своему не очень разговорчивому начальнику — другу. Тот, не отрываясь, смотрел вслед умчавшемуся живому испугу. Что приковало его так?

— Что там, друг? — мягко и как бы между прочим, как само собою разумеющееся, хотел выговорить я, но получилось как-то нарочно, и я поспешил сделать вид, что сам немало удивлен, что в самый неподходящий момент что-то там в горле засвербило и оскал этот дурацкий откуда-то взялся.

Сначала он только скользнул по мне взглядом — отстань, дескать, но <тут> же, вернувшись, рассмотрел меня намного дольше, чем того требовал бы человек, просто спросивший «Что там, друг?», — так что продолжать выяснять, что там или где-то в другом месте, было довольно глупо да и просто рискованно, я понял это по его взгляду: должно быть, воспоминания ночи были еще слишком свежи.

Между тем туман, поднявшись в долине, завис теперь над нею мягким, неровным потолком, и мы здесь, лежа на возвышении, просто упирались в него головами. Лошади, казалось, ликуют, видя наконец перед собой открывшийся их взору добрый, светлый, привычный их лошадиному ожиданию мир долин, лесов и так понятных им твердых дорог, и они в далеком ровном шуршании, в упоении скользили к насыпи.

Долина сияла, словно ее за ночь старательно отмыли, свежесть утра одарила ее хрупкой прозрачностью, которую мы все так ждем и любим ее ранней весной. Совершенно непонятно, как из такой красоты и нежности вчера могла идти смерть. Поражала чистота воздуха — лошади были далеко, но делись так, словно мчались вот здесь, где-то совсем рядом, но только очень маленькие, словно вырезанные из картона и покрашенные в темный цвет.

— Тихо, нишкни! — зашипел вдруг почему-то опять зло старшой, точно я помешал ему прислушиваться к чему-то страшно важному.

По тому даже малому опыту общения с ним было ясно, что доброе в нем до обидного близко уживалось со злым, неприятным, психованным, и психопатом в нем сидел нехороший, особенный, дерганый какой-то, и это было так обидно, так жалко. Во, посмотрите — словно через него электроток пропускают: глаза навывкате и зубами скрежещет, как если бы перед ним был не я, а какая-нибудь Красная Шапочка. Я решил переждать, когда в нем опять появится тот славный, заботящийся друг, но сполохи каких-то звуков, словно шорох огромного растревоженного муравейника, шумовой круговертью расплзаясь по двору, поглотили все наше внимание.

Что такое? Опять как в глубоком колодце, заглушенно вещали голоса, но что, на каком языке — не понять, и голоса ли. Нет... Какие-то смятые звуки? Двор явно тайл в себе акустические загадки. Но затем все ушло, стихло. И мы были представлены несколько неловкому недоумению: было это или нам уже

стало чудиться? То слышалось отовсюду, то, словно таял, уходило в какую-то одну сторону с тем, чтобы здесь же появиться с противоположной, и, как ни вертелись мы в разные стороны в надежде определить, что, куда и откуда, — понять не могли. Голоса, приглушенные голоса... А вот явный, поспешный топот, мелкие удары, скрипы...

Сухой стукоток пулеметной очереди из долины резко и нагло возвратил нас к делам земным и не менее страшным. Лошади во весь опор, но как-то косо, боком, неслись на фоне редких высоких деревьев, одна из них вдруг резко вскинулась на дыбы, неестественно высоко выгнув голову. С запозданием до нас долетел повторный стук пулемета, и пронзительное до боли ржание животного возвестило долину об уродливо начавшемся дне, и верный друг человека, находясь во власти инерции, со всего маху ломая оглобли и собственные ноги, теряя вместе с жизнью гармонию движений своего прекрасного тела, тяжело и некрасиво перевернувшись через голову, грузно рухнул на землю. Вторая лошадь в смятении ринулась вперед через грудь своей поверженной подруги. Удерживающая упряжь отшвырнула ее назад, и, упав, она лихорадочно пыталась освободиться от сковывающих ее пут, тяжести и страха, какое-то расстояние тащила все, что оставил ей в наследство «венец мироздания» — человек, и, выбившись из сил и теперь повинувшись лишь инстинкту самосохранения, стремилась (невероятно) сползти с дороги в кювет, бешено дыша и неистово колотя в воздухе ногами.

За полотном — проснулись, и настроение у них, судя по этому поступку, было не очень миролюбиво. Не только долина, но и многое другое прояснилось! Ничего не говоря, не сзывая друг друга, мы собрались вместе, словно нас толкнуло на это «вече», как ту несчастную лошадь, некое подсознание; мы впервые были все рядом, никто не обмолвился ни единым словом, мы все еще ждали — очень хотелось жить, и мы ждали. Кто-то временами уходил к углу маленького амбара взглянуть в лошину и, вернувшись, становился рядом, словно не уходил, не смотрел. Первый раз мы видели близко и открыто лица друг друга. И хотя все мы были из одного батальона — одно подразделение, но не помню, чтобы мы знали фамилии один другого или имя. Мы не знали, кто мы, откуда, но знали и видели одно — мы родные, свои, как и те, что лежали вокруг нас. Теперь неожиданно по-новому встречали друг друга глазами, не стесняясь, не гоня эти встречи и не объясняя их. Мы знакомились, задавали, должно быть, вопросы и, наверное, отвечали на них: немо, без слов, беззвучно. Всякий звук отвлек бы нас от этого необходимого, первого и последнего общения. Смотрели прямо, просто. Четверо голодных, страшных, истерзанных, загнанных (просится слово — «прекрасных» — да так оно, наверное, и было) человека стояли, смотрели и молчали. Было ли то общим пониманием, вздохом, признательностью, теплотой ли — не знаю и не узнаю никогда; отрешенность тех минут растворилась в беззвучном разговоре надорванных сердец. И уж не пригибаясь, не высовываясь, не прячась, ничего никому не доказывая и не крича, просто бродили по двору то все вместе группой, то кто-то отходил опять, чтобы через какое-то время сойтись вместе.

Прошло часа два, что происходило в эти долгие и страшные часы пустоты, припомнить не могу, должно быть, ничего такого, что принесло бы нам хоть какую-нибудь надежду, но мы все еще ждали, чтоб ни в коем случае не шли с одной стороны, а если шли, то только быстрее — сейчас, и обязательно, во что бы то ни стало пришли наконец с другой, и тоже было бы невероятно, но хорошо, чтоб побыстрее. Но, исчерпав терпение все, видя, что мы перестали, маясь, бродить по двору — стоим и смотрим в его сторону, наш старшой сказал (это были единственные слова, прозвучавшие здесь за эти часы):

— Ну, что же... видно, не придут.

Каждый к этому времени знал, что он связывал с ожиданием, и было просто отказаться от тех прекрасных надежд, однако сделать это было необходимо хотя бы для того, чтобы избавиться от тяжести ожидания, и стало, может быть, не легче, но, как казалось — проще, яснее. Теперь мы были готовы совсем и если прислушивались, то лишь к тому неизменному в нас самих, великому, что вело и то обезумевшее несчастное животное, когда оно ползло в кювет.

Какое неуравновешенное, во многом непонятное существо — человек: то единение ему необходимо, то, напротив, разбредясь по двору, каждый теперь хотел быть только один и знал, что все вместе соберемся, лишь когда пойдут

те, другие, а в общем-то, такие же несчастные — из-за полотна, ну, что ж, теперь уже недолго. Невыносимый страшный холод охватывал все существо, душа тоска. Быстро иду в глубь двора, почему — не знаю, может быть, с тем, чтоб минутою позже с пустым устремлением нестись обратно в неосознанной надежде, должно быть, найти свой «кювет».

Никакой определенной мысли, вернее, возмущенный рой их не позволял какой-либо одной осесть в сознании — все вытеснялось страшным сожалением непоправимости, тоски. Остановился, почему вдруг остановился и именно здесь? Смятение, вернувшись, опять заикливалось на фразе лейтенанта — стоя у этого угла, недоуменно глядя на меня, он произнес ее. В этой части двора я сегодня еще не был... Оглядываясь, понимаю, что возврат к фразе лейтенанта вызван тем, что стою, оказывается, неподалеку от места встречи с ним. Сейчас у угла пусто, как, впрочем, и вокруг. Лишь множество воронок от разрывов крупных мин, а на снегу лежат, как и по всему двору, но лежат как-то навалом, грудками. Здесь, видно, раненым никто не помогал, санитары не успевали, должно быть, не трогали их, и они остались в том положении, в каком их застала смерть. От неясного странного опасения опознать в одном из погибших здесь лейтенанта, то ли от другого чего, но не стал приглядываться к погонам, высматривать, есть ли патроны, и, не дотронувшись ни до одного из них, ушел прочь. Невыносимо...

В подобном состоянии находились все — от большого амбара ко мне спиной, пригнувшись, бежал солдат к двум живо вышагивающим в разные стороны, как у важного объекта почетный караул. Что вдруг вздумалось ему опасаться, прятаться, заметил что — крикнуть, спросить — не хотелось.

Бежать к ним? Если серьезно что — позовут. Но тоже, помню, пригнувшись, пробежал к своей булыге между амбарами. Странно... Ночью во время той страшной атаки немцев промелькнуло что-то вроде сожаления, зависти: вот у солдата железное колесо, броня — надежно, не то что у меня каменюга природная. Теперь колесо «освободилось», за ним погиб тот мой товарищ. И несмотря на то, что колесо то осталось тем же непробиваемым щитом, как и раньше, — чувство самосохранения направило меня к моей маленькой, никудышной, всего-навсего кусочку песчаника, к защитившему меня камню. Нигде никаких признаков появления «тех». Странно, а он бежал быстро, пригнув... О-о, что это? У торца малого амбара, задрал голову и прикрыв глаза, казалось, что-то вычисляя, тихо стоял солдат.

— Вот те на-а!

Его покой был долгим, основательным. Во всяком случае, он никак не мог только что возбужденно маршрутировать или бежать, а теперь вот так ни с того ни с сего спокойно прилечь к стенке и <...> философствовать. За амбаром послышались возбужденные восклицания. Либо показалось, что их там двое было шагающих, либо этот у стенки.

— Слышишь, что у вас там стряслось опять, что-нибудь не так, не туда смотрел, что ли? — Тот, не понимая, уставился на меня.

— Где стряслось, что стряслось — не пойму.

— Разве ты не вышагивал там только что?

— Я здесь давно стою, смотрю вот.

— Эй, где вы там, сюда быстро! — зазвучало приказом за спиной.

Мы ринулись туда и... застыли. Невероятно, перед нами стояло три человека — два наших, своих, и один совсем незнакомый! ПРИШЛИ! ПРИШЛИ! ГОСПОДИ, ПРИШЛИ! Отбойными молотками колотило, стучало внутри, в висках, глазах, горле, двор качало, подбрасывало, все ходило ходуном... Сейчас кричать бы, орать во всю мощь, броситься к этому незнакомцу и раздавить, расплющить за это явление его. Мы и впрямь не одни, еще поживем, с нами наши — свои, и их тоже, будь здоров как предостаточно, по крайней мере не меньше нашего, вот один уже здесь, пришел, и еще понайдут полным-полно, тьма-тьмушая, так же, как и у вас, так что — живем.

— Пришли, пришли, нас много.

— Давай быстренько мотаем отсюда, приказано отойти, и чем быстрее мы сделаем это, тем вернее, вот,— клокотало лихорадочно радостью в нашем старшом.

Он живо, что просто никак не вязалось с его всегдашней мрачностью, оглядывал нас, словно ожидал: что дурного можем сказать мы теперь о его кратком, но вот ведь прекрасно завершающемся командовании?

И он как-то хорошо, радостно взглянул на меня.

— Да, да, брат, — хлюпнуло у меня, но дальше почему-то воздуха не хватало.

— Тебя кто послал? — обожгло его вдруг, и радость в нем, да и в нас заметно поубавилась.

— Сам я не пришел бы сюда, как ты понимаешь, я еще жить хочу, так что не выкаблучивай и не беспокойся, а быстренько линияем отсюда, пока есть эта возможность, и вся недолга.

По сути новенький говорил просто замечательно, но никак не мог отойти от одышки, душившей его. Наверное, проделанный им путь был неблизок и непрост, он едва переводил дыхание, с него катил пот, выкатившимися глазами, но ничего не видя, он, как заведенный, то смотрел на ствол большого дерева, то вроде осматривал у себя под ногами какое-то невероятное большое чудовище и опять возвращался к дереву. Полы и грудь его шинели были все в мокрой глине, он, должно быть, долго полз. По мере того как дыхание его успокаивалось, сам он становился страшно озабоченным, не то настороженным, или это только казалось так на фоне наших счастливейших, уставившихся в него, как в божество, лиц. Вообще новенький был, как припоминается, очень своеобразным типом, его легко можно было бы сыграть. Уже успокоившись, он говорил так тихо, буднично, таким унылым голосом, вроде у нас был страшно большой выбор: захотим — будем линять, а можем и не захотеть и тогда будем предпринимать какие-нибудь другие всякие химические процессы и реакции. В любое другое время над ним можно было бы всласть посмеяться, душеньку потешить, отвести.

Теперь же тон голоса и его манера говорить звучали бы полным безразличием, если бы не душившая его одышка, которой с лихвой хватало, чтоб заключить, в каком непростом мы сейчас положении.

— Ну, так что... сколько вас еще... там вместе с капитаном кто-то из ваших... — Голос у него — вроде стружку с тебя снимает. Объяснил: — Совсем немного — человек шесть, семь... так я вот...

— О-о, хватил! Где же это он их насчитал? Это было бы здорово. Но нас всего четверо, здесь мы все, вот, а там... уже пришли, — сел на своего любимого конька мой, наш командир. — Так что же ты, как тебя, сержант, что ли?..

— Что я? Сказали: отведем раненых и вернемся — ждите, ну и что, где они? Хорошо еще, что совсем не забыли — прислали, а то ведь только на людей кричать да свою шкуру спасать...

Надо полагать, связной и раньше сознавал, что забежал сюда не мед пить, но только теперь, казалось, начал понимать, куда он заполз. И, хоть он старался говорить все тем же постным голосом, однако эти усилия его были отчетливо слышны, и он сам с сожалением понимал это, но поделаться с собой ничего не мог, наверное, потому смотрел на нас совсем по-другому.

— Ну а ты слова сказать не можешь, дошел, я вижу, до ручки, а дрожишь-то чего? — без зла переключился новенький на меня в надежде за шуткой скрыть ожог от всего узванного, однако голос упорно отказывался повиноваться, не слушался его, а по тому, как он ворочал глазами, теперь уже просто переводя их с одного из нас на другого, было очень ясно, что ему здесь не нравится. Как бы там ни было, а задание свое он проделал просто геройски, по-другому не могу определить его поступок, а то, что теперь он был в полном перепуге, — так четырем-пятым часами раньше мы были точно в таком же состоянии, а может быть, еще и почище. Он был связной и пришел к нам, но то, что перед нами был полный, добрый, славный лапот, — это тоже виделось и ощущалось сразу и, пожалуй, больше всего. И если он все же, назойливо прицепясь, пристал ко мне, то только оттого, должно быть, что почувствовал во мне некоторую схожесть с этой редкой разновидностью обуви. Два сапога принято называть парой.

Совершенно заблудившись в ощущениях, он пытался было даже подбодрить нас (но у него и это как-то не выходило, вернее, выходило, но так неуклюже, что было бы, пожалуй, лучше, если бы это не выходило совсем), его тем не менее вывернуло на правильную дорогу со мной, например, он был прав: меня

трясло, как в лихорадке, по-моему, я ничего не соображал, не понимал, все восприятия жизни были вытеснены одним понятием — «ЛИНЯЕМ». Оно захватило меня целиком своим «улетучиванием», «невидимостью», оно невероятно полно вобрало в себя все, что чувствовали и жаждали мы, доведенные до крайности. А вот выразить просто и так замечательно точно никогда бы не смогли. Такое под силу лишь свежему сознанию. Есть в этом определении нечто исчезающее, если даже будешь искать — не найдешь.

— Да вот трясет, не знаю... озноб... от радости, что ты пришел, и теперь лянть будем и жить...

— Тебе-то куда еще лянть? Ты и так бледный и прозрачный, как студень.

— Кто, я? Нет... Я так, я червь, я раб, я — это... Все хорошо, лянтьем.

— Прежде чем лянть, скидывай все, что намотал лишнего себе на шею, спину, червь, все мешать будет, горбатый же совсем.

— Кто — я? Нет, это сутулюсь я, когда холодно, и это... Мало во мне мяса... потому что я — царь, я — Бог и это...

Все как-то хорошо-хорошо и тихо смотрели на меня.

Неожиданно связной вдруг переменялся весь, досада промелькнула по его все еще возбужденному лицу и, казалось, некуда, но он еще больше покраснел и глянул мне в глаза, дескать: «Прости, нашел на ком выместить свою боязнь!»

На мгновение все ушло и, казалось, нет никакой опасности, обо всем вокруг забылось, как и о том, зачем он приполз сюда. И он, сился улынуться, вымучил неловко прокисшее выражение лица, но уже миролюбиво и покойно спросил: «Есть хочешь?» И со значением полез за пазуху. Новенький стал вдруг мягким, уютным и своим, как тот неизвестный мне котенок за пазухой у Фомы-Животновода, и то, что он полез за пазуху... за... за пазуху. Боже мой! Боже мой...

Тогда я сразу и радостно отвечал на его доброе предложение:

— Кто, я? Нет. Нам бы слинять сейчас побыстрее, а там и поедим, и попьем... И первый предмет необходимости — мыло. Хочешь понюхать меня? Вот от шеи здесь лучше пахнет.

— Нет, нет, зачем это? Не потопашь — не полопашь,— бурчал он, уставясь в меня.

Но сейчас, через сорок с лишним лет, продолжая выстукивать на машинке о том, что и как происходило тогда — просто легко, непроизвольно напечатал: **ФОМА-Животновод...** Фомин! Фомин! Конечно же, никакой не Егоров. Я ошибся, Фомин, фамилия Фомин, именно она, эта фамилия давала ту редкую возможность и желание сочетать, объединить эти два слова в единую кличку: **ФОМА-ЖИВОТНОВОД. ДА, ДА.** Вне сомнения, именно Фомин.

Довольно долго сидел, добрыми чувствами провожая ту прекрасную минуту, подсказавшую так милостиво и просто, что могла навсегда затеряться в тайниках сознания. Там, выше, в черновике — рукописи поправлять не стану,— пусть останется ошибкой, которая так и осталась бы ошибкой, смело и уверенно выдаваемая мною за правду, за суть.

Очевидно, огонь на могиле неизвестного солдата — это единственно возможная мудрая дань наших живых сердец памяти всех павших ради справедливости, ради продолжения жизни на Земле, ради нас, живущих ныне.

В общем, мы должны были спешить, но уходить сейчас просто так, оказывается, уже было поздно. Во всяком случае, так решило теперь наше двойное начальство: туман поднялся, и все как на ладони, дать две внушительные, насыщенные автоматные очереди с четким перерывом между ними — просто так, не по кому, с единственной лишь целью — заронить в сознание тех, за полотном, что мы будем и впредь резвиться. Давать знать о себе, и что у нас полно патронов, и всего чего хочешь, и поэтому мы, не задумываясь, тратим все налево и направо, лишь бы к нам не лезли, как когда-то по этому поводу сказывал наш светлейший князь Александр Невский. И после второй очереди, когда они уже привыкнут и будут ждать следующей демонстрации нашей мощи и бдительности, мы и намажем лыжи.

— Конечно, все это замечательно, однако мне-то сдается, мы только привлечем внимание к себе и, наоборот, поразбудим тех, кто все еще дремлет там пока,— не преминул высказаться я, на что мне ответили, что лошадь не Пуш-

кин пристрелил и что все они давно попросыпались и теперь только и ждут, чтоб побыстрее в дома, в тепло.

— Там совсем не так тепло, как ты думаешь, я-то вчера там был и знаю.

— Может быть, им как-то дать знать, чтоб они не очень-то и обольщались насчет тепла,— предложил я.

Но все были какие-то злые, нервные и замахали на меня руками, сказав, что именно это им и пытались внушать сегодня ночью, но вот что из всего этого получилось. И вообще я заметил, что даже и сейчас-то со мной редко кто соглашается. Ну, да что там! В общем, мы повели себя так, как решило большинство, и тем, за полотном, думаю, было над чем поломать свои арийские башкенции.

Во всяком случае, после первой очереди они совсем попритихли и тарачили, должно быть, глаза в нашу сторону, соображая: «Что это с ними там такое, откуда вдруг такая резвость?» Уж не помню, как мы реагировали на эту тишину, но то, что в нас самих стучало не тише и не меньше, чем в наших автоматах, когда мы начали вторую часть нашего профилактическо-воспитательного мероприятия — это я не забуду, кажется, никогда!

Все ходило ходуном, и, должно быть, лихорадка эта какими-то там биополями передалась автоматам, и все прозвучало мощно, внушительно и серьезно настолько, что даже подумалось: так, может быть, и уходить никуда не надо? Но этот миг бравады был лишь мигмом настроения людей, которые знали, что они сейчас будут уходить, уйдут. Приказ есть приказ! Не выполнить его мы не могли.

Ничего нигде не обнаружив после второй очереди, мы из пробоины в стене большого амбара ринулись вниз, на снег и битый кирпич. До железнодорожного полотна метров двести, поди. Автомат, гранаты, диски и длинная шинель не помогали быстрому передвижению на животе, и все равно мы запросто могли соревноваться с легко бегущим человеком. Вскоре мы были у насыпи. Никогда бы не поверил, чтоб в человеке было столько воды: мы словно выскочили из бани, пот душил нас, мешал смотреть, говорить, дышать, соображать. Все мотали головами, чтоб хоть как-то сбить с себя это половодье. Стало жарко, и мы, как аллигаторы, клацали зубами, заглатывая воздух и хватая снег. Без команды все остановились; лежим, ничего не слыша, вздуваемся испорченными кузнечными мехами. Глаза вот-вот выдавит наружу. Благо кто-то предложил: если нас до сих пор не расстреляли — значит, мы не замечены и можем минуточку, другую полежать, дух перевести, а то и на насыпь не вскарабкаемся — легкие разорвет на фиг. Уговаривать не пришлось, распластались. Лежим в полозах снега, рвем его ртами, дыша в его спасительную свежесть. В глазах то темно, то бешено мгающиеся сплохи серой массы насыпи. Вот она, голуба, в пяти метрах, низенькая какая-то, как скамейка.

Таковую, я думаю — и пережидать не стоит — враз перемахнем, а вот опять горой взметнулась ввысь! — и только прохлада снега возвращала нас к себе.

Ах, голубушка, но и глупа же ты, серая длинная. Вот еще совсем немного подползем, и рукой достать можно... Почти сутки ты была не верна, враждебна нам, помогала тем — скрывала их за собой... Теперь-то уж что? Мы здесь, теперь только случай мог помочь нам — это понимали все! Старались прислушаться: есть кто за полотном, нет? Шум в нас самих забивал все, слух отказывался принимать что-нибудь извне. Вчера оттуда в этом месте насыпи никто не шел, и связной уверяет, что, когда он полз к нам, там, «за ней», было пусто, иначе он не пробрался бы к нам. Правда, он все время оговаривал, что справа от него тогда, а от нас сейчас, значит, слева — двигалась какая-то колонна, но куда шла и где она сейчас — сказать невозможно, трудно.

— На полотно не тянуть, не рассыпаться — бросаемся все разом. Если наткнемся на небольшое скопление, будем проходить, в ход пускать все — гранаты, огонь, лопаты, зубы... И не останавливаться, а быстро, молнией, только внезапностью прорвемся. Гранаты, понятно, бросать в стороны, и, если будут наступать, — назад. Теперь так: если их, как вчера, что маловероятно, но вдруг — то скатываемся сюда, обратно, и, не останавливаясь ни на секунду, вдоль насыпи, как можно дальше, в тот край деревни... Может, там послабее, другого выхода нет... В общем, по обстановке... и следить за мной. На полотно, повторяю, одним духом и беззвучно — тихо, уж очень открытое место. И туман ушел, ну

а там будем смотреть, если будем смотреть... И не такое бывало.— Он замолчал и неприятно сник, зло уставясь в снег.

Он соврал: то, что свалилось на нас ночью, можно перенести только раз, даже связной, который не был тогда с нами, почувствовал эту ложь и, взглянув в нашу сторону, где мы лежали с молчуном, что сидел в кювете у дороги, сделал выразительную мину, дескать: он без злого умысла — подбодрить хочет. Притихли. Старшой вдруг жестом показывает: взвести автоматы, расстегнуть подсумки с гранатами. Вижу, ему что-то шепчет наш солдат, который был рядом с ним, на что тот резко схватился левой рукой за подсумок и зло, одними губами, проговорил:

— Там поздно будет смотреть да расстегивать.— И в голос тихо добавил: — Сумеешь сразу, быстро — дело твое.

— Ну-у-у...— Мы замерли и уставились на него.

Зачерпнув горсть снега, старшой, делово протерев лицо, зло прошипел, словно мы ни в какую не хотели идти:

— Пошли!

Мы бросились на насыпь. Короткий приглушенный стукоток по шпалам... С той стороны склон был круче и выше. Внизу два вконец перепуганных лица, развернувшись обалдело, застыли в растерянности и, казалось, летели на нас. Тот, что был ближе к нам на нашем пути, нелепо поднял руки над головой, тихонько прерывисто вопя: «А-а-а-аз-з». Совершенно багровый старшой, сопя, низвергался на него и должен был смести, раздавить его своей массой, но, извернувшись, с ходу схватил лежащий на снегу черный автомат, резко мотнул им у самого носа немолодого краснолицего немца. Тот, чуть не завалившись, отпрянул в сторону, еще выше воздев руки, округленными, как у совы, глазами, казалось, говорил: «Да, я и сам не знаю, откуда он здесь взялся!» Однако, молниеносно сообразив, что все может и окончиться этой вот угрозой, с доброжелательной готовностью задержал головой, дескать: «Понял, повторять не надо!» Другой еще сидел с опущенными штанами и, диковато искажаясь в подобии улыбки, под стать своему приятелю по утреннему туалету, как дятел, долбил башкой, разведенными в стороны руками показывая, что у него вообще ничего нет, кроме скомканного клочка бумаги. Смех и грех... К сожалению, эта смехотворная интермедия была недолгой и вскоре оборвалась.

Сегодня лес казался страшно далеким... Слева, за спиной, неприятно привлекло внимание скопище едва ли не черных шинелей. Чем была озабочена эта темная масса, что делала — осталось неясным. Впереди не видно было никого. Перед нами — открытое поле, полное свежего воздуха и простора. Пригнувшись, как огромный загнанный кабан, жадно поглощая расстояние, старшой быстро уходил вперед, моментами просто растворяясь в пожухлых кустах, росших вдоль межи. Как если бы почувствовав мой взгляд, он оглянулся и зло мотнул рукой в сторону: «За мной-то не увязывайся, идиот, бери шире», — во всяком случае, я понял так. Дальше все пошло не так складно, как началось. Не успел я еще «взять шире», как за спиной слева, вроде досадуя, что мы уходим, нагло, громко вдогонку заколотил пулемет. Нырнул в борозду перевести дыхание и попытался сообразить, что к чему, и... невероятно!!! — кого-то разрывало от смеха. Высунувшись из укрытия, увидел, как весь огромный провал черных шинелей, развернувшись по фронту, был необыкновенно возбужден: кто нарочито прощально махал рукой, как на вокзале отъезжающим, кто-то откровенно аплодировал, заходясь в колицах смеха, кто указывал тому, кто не смог пока углядеть нас, — в общем, суматохи мы наделали порядком, успех был полнейшим, вплоть до криков «Браво».

Меня вдруг поразила мысль: «Почему это мрачное скопище шинелей у насыпи выглядит в нормальную человеческую величину? Они же должны быть крошечными, причудливо лилипутскими, с трафаретно-четкими контурами, как те наивные коняги в хрустальной чистоте утреннего воздуха... Или иллюзия, напомнившая игры детства, могла появляться лишь в минуту созерцания чьей-то чужой, посторонней опасности? Значит, сейчас кто-то неправильно видит себя — они или я, они маленькими должны быть, необъемными и только казаться близко, а на самом-то деле должны быть далеко!»

Свист, лязг, вой рикошета пуль оборвал ход этих размышлений. То место в насыпи, где перебежали, кипело: пыль, щепы, пар, камни фонтаном летели, расплзаясь уродливым черным пятном. И опять все стихло, оборвалось... Со

стороны леса долетело поблекшее эхо пулеметной настойчивости, и в малых паузах его опять четко донеслись... смех, восторженные крики, улюлюканье. Обалдев от непонимания — что же тут смешного? — вскочил и ринулся дальше, но тот же самый пулемет, развернувшись, должно быть, дал ясно понять, что веселье будет продолжено, правда, с одной лишь стороны. Нервная рябь разрывов разбросанно вспорола белизну снега, подтвердив серьезность намерений и высокий класс умельцев, решивших, должно быть, что по быстро уходящей мишени куда сподручней будет калибр покрупнее.

Хохот и восторги трибун не унимались. Впереди темнел бурый бок борозды и, промахнув глубину ее с ходу, прорванным мешком валюсь на ее гребень. <Когда падал>, остро хлестнула досада: «Нехорошо лечу... вывернуться бы». Но ни ловкости, ни времени справиться с собой и инерцией не хватило... Ожог в плече... истощный вопль (так в голод ночью волки воют). Едва не синхронно с моим по трибуне полыхнул многоголосый восторженный стон отчаяния, преувеличенного сострадания, и хохот с подбадривающими выкриками завершил мое «сольное» выступление.

В перехваченном от боли дыхании коряво, медленно сползаю вниз. Видя, должно быть, что меня корежит неспроста, и приняв эти мои «конвульсии» за удачное попадание, пулеметный расчет перенес свое внимание на вперед ушедших. Странно, но возмущало не то, что стреляли,— это вроде так оно и должно быть,— а то, что смеялись и хотелось кричать, ответить на эти их неуместные насмешки, но положение все еще оставалось на грани, и боль вывихнутого плеча заслонила собой те недавние и в общем-то скудные школьные знания немецкого и, кроме как «Анна унд Марта фарен нах Анапа»¹, в воспаленную голову ничего не приходило. Кричать же «гутен морген» — фразу, которая все время почему-то услужливо напрашивалась, совсем уж было ни к чему. Мог, конечно, орать тогда уж очень распространенное «Гитлер капут», но, честно говоря, боялся: зная, что все они сами ждут этого «капута» не меньше моего, и с досады, что его все нет и нет, а я своим кличем только растравляю их желание — вот тогда-то они уж точно прикончат меня, чтоб был хотя бы этот «капут».

Долго полз к лесу какой-то канавой и снизу ненамного, но все же просматривал поле, изрытое бурой оспой кочек, однако где наши, что с ними, ни узнать, ни увидеть не смог. Я, должно быть, пропустил где-то большой отрезок времени и теперь не в силах был догнать их или они бежали быстрее меня... Да и тот азарт, та развеселая непринужденность, с которыми те шутники за пулеметом пытались настигнуть нас, с каждой минутой затухали. Да, смешного действительно было не так чтобы уж очень, и ребята довольно быстро это осознали. Не исключено также, что те двое, повстречавшиеся нам, поспешили убедить их, что ничего дурного в общем-то мы и не хотели. И из борозды в борозду, между кочек и опять в борозду, а теперь на дно этой глубокой канавы и опять на кочку... Почему?

Люди жестоки порой, почему нужно обязательно догнать, добить, уничтожить, что заставляет их быть такими?

Вскоре на опушке я нашел невредимыми своих четырех товарищей, ожидавших меня. И лес, доселе безразлично наблюдавший за нашим поединком, растворил наконец нас в своей серой, тихо шепчущей свою историю толще. За спиной над деревней все еще висел туман, но был так ослепительно ярко просвечиваем восходящим солнцем, что казалось, вот-вот вспыхнет.

Над полотном виднелись две-три крыши, и, черным обелиском устремившись в полыхающее над ним белое неистовство, четко вырисовывался шпиль костела, и ничто не говорило о страшной картине того двора. Они остались там.

*Подготовка текста и публикация
С. М. СМОКТУНОВСКОЙ и М. И. СМОКТУНОВСКОЙ*

¹ Анна и Марта едут в Анапу.

Междвух начал...

* * *

Когда по снегу снег пошел
и по дождям дожди,
на юге треснул шелк
восточного пути:
верблюды пали на колени,
застыли горные горбы,
огнем вперед цвели поленья,
назад — полынью проросли гробы,
рассыпан чай, табак засох,
собаки рвут на части небо,
затянут в узел гул дорог —
путь превратился в небыль.
Кто виноват? Погонщик? Всадник,
уснувший в ритме каравана?
Охранник ли при арестанте
иль арестант несет охрану?

И долго-долго на восток,
закона и вражды заложник,
летит по миру волосок,
что срезан пулей
 вместо ножниц.

Рим

Цезарь, ты спишь?
Где-то в холмах выгорающей Умбрии
руды созрели.
Цезарь, ты спишь?
Где-то готовы молот и наковальня,
чтобы короткий клинок отковать.
Цезарь, ты спишь?
Сшиты сандалии самые тихие
дратвой намыленной,
сказаны на ночь слова
снотворные самые...
Цезарь, ты спишь?
Тени с клинком уже сходятся в тайной руке,
той, что сегодня твой локоть сжимала,
словно светильник прохладный...
Цезарь, ты спишь?
Небо уже прокололи рассветные звезды.
«Нет, я не сплю, уже поздно...»

Атавизм

Печаль заныла в сочлененьях
деревьев, соки застоялись,
уныло пишет сочиненья
двора неспешный постоялец.

Он вечный двигатель промаслил,
но скрип уключин свысока
не оградил его напраслин —
звук сух и точен, как тоска.

Приходит в срок или спонтанно,
вползает в горькие предгорья.
Печаль, тоска — как испытанья,
немые пытки
боли над безбольем.

Берег

Когда распахнешь двубортную ночь
и море ударит по всей твоей плоти
всем, что за века смогло натолочь
на камнях своих крепостей, и, напротив,
ничем, пустыней в скелетах миражей,
ударит, как медленный колокол,
как тягучий стакан спиртного
и отравленных репортажей,—
нет, я не отпряну, я двинусь... И около
двери застыну, как лепка природы,
меня припечатавшей к стенам стихий,
где бились — воды об воды,
ветры об ветры,
и стали тихи
кофейные чашки, подносы, платаны
у окон и чайки на мусорных водах.
Так кто я?
Порыв не ответит, он дверь приоткроет,
дохнет еще больше настоем распада,
Что носит на гребне обломки героев
и семя всемирно известного сада.

Вавилонская клинопись

Не иди на запад
не иди на восток
не иди на север
не иди на юг
стой где стоишь
пей что пьешь
дыши чем дышишь
молчи о чем молчишь
ноги хотят идти
не верь им
видят глаза
сморгни
взгляд обогнул Землю
это толчок в спину
это приказ сверху
стой где стоишь
лежи с кем лежишь
не иди на запад
не иди на восток
не иди на юг

не иди на север
там тебя нет
будешь там
не будешь здесь
только раскрой руки
стой где стоишь
запад пошел на тебя
юг на тебя наступает
север подходит к тебе
и подползает восток
стой где стоял
пой о чем поешь
люби кого любишь
все растворится в тебе
нету тебя нигде
ты есть повсюду
не иди на запад
не иди на восток
не иди на юг
не иди на север

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

ВЕРСИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ, ФАКТАХ И ДОКУМЕНТАХ

XXXI

Сдается мне, что человечество, открыв для себя меры длины, веса, объема, допустило величайшую ошибку, не определившись столь же четко в едином подходе к оценкам исторического процесса, то есть в той единице измерения, способной отделить правду от лжи, прилагая которую к деяниям властителей и народов мы могли бы, во-первых, в равной степени увидеть истину как минувших, так и текущих времен, и, во-вторых, сопоставив эти полученные величины (даже, может быть, простым графическим наложением), внести в общественную жизнь те нужные поправки, которые позволили бы решительно, то есть раз и навсегда, отказаться от ставшего уже почти традиционным порочного, приносящего лишь страдания и беды экономического и духовного экспериментаторства над людьми. В конце концов если в материальном мире вещей есть единый закон движения, единая, говоря доступнее, правда жизни, какой руководствуется природа, сообразуясь с возможностями и целью (целью гармонии) в своих повторяемых и неповторимых проявлениях, то и в общественном устройстве людей, базирующемся на духовных началах, то есть на осознании мира и себя в нем как личности, части национального сообщества и сообщества в целом, — в общественном устройстве есть и всегда были единый закон, единая правда бытия, основанная на народном восприятии и толковании семейных и общественных отношений; но все дело в том, что ничто так не подвергалось и не подвергается гонениям, как именно это народное восприятие и толкование устройства и цели бытия, и все эпохальные катаклизмы, унесшие миллионы жизней, все страдания, испытанные и испытываемые простолюдинами, и неведь откуда будто бы сваливающиеся на нас беды происходят лишь от того, что, подменив однажды (в фараоновские или, может быть, дофараоновские еще времена) правду народной жизни правдой царских (всемилостивейших) «благодейний», то есть позволив затоптать в грязь то, что могло бы стать стержнем порядка, согласия и благоденствия в мире человеческого общения, — да, позволив однажды затоптать эту правду, этот закон развития в грязь, мы ни разу не удосужились затем посмотреть, что у нас под ногами и что мы с удесyтеренной энергией не перестаем дробить и изничтожать. Думаю, вряд ли нужно особо пояснять, о каком миропорядке мечтали и продолжают мечтать массы простолюдинов и какой, создав его для себя, правители оберегают и укрепляют, воссев на тронах, и хотя несовместимость этих двух начал очевидна (видимое единство их сродни лишь единству волчьей стаи с овцами), но когда историки, философы, теологи принимаются за изучение жизни людских сооб-

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 9 с. г.

ществ, на глаза их словно накладываются шоры и человечество воспринимается ими как некий целостный объект исследования, некая даже исполненная будто бы внутренней гармонией масса, в которой, однако, сообразуется все не согласно с проявлениями человеческого разума, как происходит в действительности, и не согласно с естественной заданностью природы, как могло бы быть, если бы человек не был наделен способностью не только приспособливаться к среде обитания, но и изменять ее, а согласно лишь с предначертаниями и волей Творца, положившего будто бы быть миру таким, каков он есть, разделенным на власть предрержащих и власти лишенных, то есть на господ и рабов, как пошло-де от века, и что каждый — царь ли, простолюдин ли — должен со смирением принимать и нести выпавшую на его долю земную ношу. Так было, так происходит и сегодня, ибо правители за века нарабатывали столько способов внушать эту мысль людям — через религиозные постулаты, труды философов, историков, через литературу, искусство, живопись, всевозможные лженаучные открытия, через колдовство, знамения, предсказания, обманные посулы и устрашения то Судным Днем, Адом, то приговором меча, как было, к примеру, когда предков наших загнали в Днепр для «принятия святости», — да, за века было наработано столько способов внушать эту мысль людям, что потребуются, наверное, не меньше столетий, чтобы человеческий дух, очистившись от паутинных наслоений, сковавших его, мог обрести свое истинное значение. Фараоны и рабы, цари (киры, ханы, короли, императоры) и их подданные, вожди от народа и винтики-исполнители, обновившие через братоубийственную бойню лишь право на бесправие, и, наконец, тоталитаризм банковских и промышленных воротил, с апломбом поименованный демократией, когда, провозгласив права человека приоритетным и высшим правом для всех, приравняли, в сущности, в возможностях и потребностях овец и волков, как-то странно запамятавав при этом, что у овец нет клыков и что они не едят мясо в отличие от своих (в хищничестве) «собратьев», — вот она, характеристика минувших и текущих эпох, если историю человечества рассматривать в ее стержневой основе, так что, возможно, я и не прав, говоря, что, изобретя меры длины, веса, объема, мировое сообщество (в лице ее правителей и тронноугодных светил, следовало бы добавить) не выработало единого оценочного подхода в освещении прошлого и настоящего. Но, признав первое, то есть что человечество определилось в мере познания и оценок своего бытия и что, орудуя этой мерой, то есть прикладывая ее к событиям как древнейших, так и новейших времен, научилось соответственно определять и возвеличивать истину, положенную, вернее, благоположенную еще фараонами, уточним для ясности, в основу развития общественных отношений (оттого, может быть, и господствует в официальных историографиях царско-дворянское видение и понимание этих отношений, и мы, простой люд планеты, столь же вроде бы наделенные правом созидать жизнь, как и правители, возомнившие себя проводниками божественных истин, веря в одностороннюю, а по сути, подложную истину, из века в век только и делаем, что преклоняемся и благоговеем перед возводимыми на пьедесталы и в святость притеснителями и заедателями нашей жизни), — признав первое, должны будем признать и второе, что есть две ветви человеческого бытия, тронная и народная, и что жития царей, святителей, полководцев, в каких бы красочных изложениях ни подавались на стол народного просветительства и как бы ни восхвалялись их ратные «подвиги», когда поднятые ими народы ордами отправлялись грабить и убивать, их духовные и экономические экспансии, в результате которых истощались и сходили на нет целые человеческие сообщества, их двурушничество и продажность, возводимые в ореол мудрости и святости, но сочиненная таким образом, то есть с помощью подобной оценочной мерки, история служит лишь наглядным подтверждением того, что сама эта оценочная мерка, этот эталон правды, соотносится с ней в той же степени, в какой тронная жизнь соотносится с народной и подавляет ее. Мы должны будем признать, что мир человеческих отношений устроен по принципу: трон и все остальное вокруг него на уровне корней и стеблей травы, которую можно косить, топтать, пересаживать, смешивать одни особи с другими, чтобы, самоизничтожаясь в схватках за «благоданное» им право на подкаблучное существование (право на клочок

земли и глоток воздуха), оглядывались, как на Богов, на восседающих перед нами на тронах владык; да, мы должны будем признать, что если в навязанном людскому сообществу хищническом мироустройстве и есть что-то, что достойно понятий «прогресс» и «цивилизация», так это тронное и околотронное бытие (по крайней мере если не в духовном, то в материальном плане), тогда как девять десятых человечества, по сути, оказываются отлученными от живого процесса развития и созидания. Отрицать сказанное — все равно что отрицать абсолютную истину, отрицать то, что мир движется по фараоновской стезе господства и рабства, стезе необратимого хищничества, и отправная точка этой стези, если реалистически обозреть прожитое человечеством, — точка эта, которую ищут, ищут и не могут (почему-то не могут) найти исследователи, отнюдь не затерялась в веках, под пеплом разрушенных городов или в потоках простолюдinской крови, но как кристалл единогосподства (как черный надгробный монолит для народов) покоится под тяжестью каменных пирамид, куда и сегодня обращены исследовательские взоры властителей. Я не прорицатель и не берусь утверждать истину, ибо никакое познание не ограничивается пределом познанного, а хочу только поделиться сомнениями, какие порождаются, с одной стороны, бесправием в веках и трудностями жизни, а с другой — лживым, очевидно лживым толкованием происходивших и происходящих в ней процессов. События, совершавшиеся на пространстве веков, всегда совершались тронными особами и в угоду тронов (в том числе и так называемые великие революции, завершавшиеся не иначе как тоталитарными, диктаторскими правлениями), тогда как на жертвенный стол истории во всех завоевательских походах, войнах, переворотах, бунтах укладывались народы с их самобытными, по-своему уникальными устройствами бытия; ведь ничто из пережитого в веках не отделено от нас, оно с нами, в нас, подавляет достоинство и диктует поведение, обусловленное страхом тысячелетних насилий над нашей плотью и духом, наконец, оно — как смирительная рубашка, в которую все теснее и теснее упаковывают человечество, и вместе с тем словно в насмешку над здравым смыслом драматизм бытия, ведущий отсчет от фараоновской ненасытной державности, в трудах прошлых и нынешних светил планеты преподносится не как нескончаемый венценосный беспредел, творимый над массами запуганных и закабаленных простолудинов, не как торжество хищничества, по канонам которого становится уже не вмоготу жить, но как движение и борьба, борьба и движение народов к достижению добра, справедливости, прогресса и процветания. Ложная мера длины или объема дает ложное представление о расстоянии и размерах обозреваемого предмета; односторонняя, а точнее, ложная мера в подходе и оценках исторического и текущего бытия, принятая мировой и отечественной историографией (на основе тронноисходных и тронноугоднических взглядов), не просто отдаляет нас от истины, нет, а порождает тот ложный исследовательский плод, защищенный вроде бы броней научных доказательств, то вводящее лишь в заблуждение представление о совершенных и совершаемых деяниях (все так же, разумеется, под предводительством тронов и тронных особ, то есть «богоизбранных» личностей и «богоизбранных» народов), противостоять которому уже в силу того, что все мы отгорожены от познания истины, не могут сегодня ни отдельные народы, страны, ни даже целые континенты, задавленные экономической и духовной кабалой. Иногда мне кажется, что не столько властители и их подручные, сотворившие мироустройство под свой произвол, сколько тронугодники, самообъявившие себя (с согласия, разумеется, или даже с подачи тронов) светилами знаний, да, именно тронугодники, сочинявшие историю, возведя ее, наконец, в канонический текст, насмеялись над человечеством и продолжают насмехаться над ним, обратив под скрипучими своими перьями злодеяния венценосцев в великие «подвиги» ради общих благ и процветания; но пока что ни благ, ни процветания нет и в помине и человечество как брело по колену в крови и по макушку в страданиях, наказанное за некие свои будто бы прегрешения, так и продолжает брести на виду у дворцов и храмов, ломящихся от богатств и источающих смирительные истины для простолудинов. Мы презренны в глазах элиты, в глазах коронованных и некоронованных властных особ, презренны и как хутородные личности (по нашей мо-

нархической терминологии рожденный от народа есть подлорожденный), и как хутородные народы в глазах «богоизбранных» вершителей человеческого судьбы, и нечего тут ходить вокруг да около с ужимками определенного рода девиц, изображая невинность, ибо так было и так происходит и сегодня, поскольку вдальбливавшееся в сознание тысячелетиями невозможно перечеркнуть даже самыми благими сиюминутными пожеланиями. Возведя на пьедесталы тиранов, злодеев, убийц и коленопреклонив перед орудием казни — крестом — человечество как перед некоей богоданной святостью (отсюда и суть спасения через страдания — «истина», погубившая Россию и нас, славян), мировое сообщество не только не освободилось от войн, грабежей, разорений, насилий, убийств, но, напротив, теперь уже по самую шею погрязло в этой смрадной тряпине раздоров, противостояний, закабалений. Но ведь дело даже не в том, как и что с нами происходило в прошлом и подлежит осуждению и исправлению, а в том, что мы и сегодня не осознаем, насколько стержень господства и рабства, стержень хищничества продолжает хозяйничать среди нас, выстилая свою развратную стезю оценок и поклонений; в конце концов не случайно же по итогам второго (от Р. Х.) тысячелетия самым выдающимся полководцем эпохи назван Чингисхан, а самой непредсказуемой (в смысле варварства) объявлена Россия, и тут невольно возникает вопрос: что это, оскорбление или насмешка, и что, во-первых, за жюри, которое взяло на себя право вещать от имени мирового сообщества, и, во-вторых, какова истинная цель подобного вещания? Не тем ли велик для так называемого мирового сообщества Чингисхан, что в свое время потопил Россию в крови и на столетия остановил ее в своем развитии, и не поощрительный ли это сигнал, хотя бы и косвенный, для новых азиатских, да и не только азиатских, походов на восточных славян? По крайней мере мировое сообщество хранит гробовое молчание по этому поводу, и очередной плод лжи и раздора, подброшенный народам, безмолвно проглатывается ими, как проглатывались подобные плоды, возвращенные на дрожжах фараоновской державности и веками отравлявшие и продолжающие отравлять и развращать искушением власти и хищничества добронравные по изначальной заданности жизни людские сообщества.

XXXII

Предтечей (ближней предтечей) карфагенской трагедии, если соотнести ее с равномасштабными по целям и заданности подобного рода историческими деяниями, был завоевательский поход в Азию Александра Македонского, чье полководческое мастерство, то есть мастерство покорять народы и земли, словно светильник троновеличия, повешенный в коридорах эпох, продолжает, как и тысячелетия назад, разжигать у властителей страсть к захватническим войнам и к овладению тронм мирового господства (тут, наверное, следует заметить, что, не будь у правителей нужды в подобном светильнике, в подобном примере троносозидательства, народы давно бы прокляли имя этого разорителя, а если бы и упоминали, то лишь в ряду прочих достойных такого же проклятия тиранствовавших личностей); следствием же все той же карфагенской трагедии, от которой я предлагаю здесь — условно, разумеется — вести как нижний, так и верхний отсчет равносхожим историческим событиям, явилось такое обилие больших и малых человеческих драм, что никаких томов не хватит на одно только их перечисление (возможно, столько же, сколько было широкоохватных и локальных исходов стержня господства и рабства, стержня хищничества на обетованные земли), так что если, даже минуя самые масштабные из них, скажем, азиатские нашествия гуннов, аваров, татаро-монголов и сравнимые с ними завоевательские походы Цезаря, Карла Великого, Карла XII, Наполеона, обратимся лишь к притязаниям Гитлера на мировое господство, к его захвату Европы и походу на Восток, на СССР, а в сущности, на Россию, всегда будто бы мешавшую жить европейским народам, а потому подлежащую, подобно Карфагену, полному и необратимому уничтожению, — если ограничиться только разбором этих двух кровавейших драм, мостиком соединивших череду кровавых веков, то, думаю, и этого будет достаточно, чтобы, во-первых, убе-

даться, насколько пагубна для человечества стезя хищничества, по которой всех нас заставляют — посулами, увещеваниями, зло- и ложновнушениями — бодро шагать в будущее в латаных и перелатанных, извините за выражение, штанах, и чтобы, во-вторых, уяснить наконец, сколь важно определиться с истинной мерой бытия, дабы по ней, а не по тронноисходным трактатам и заверениям оценивать и направлять в народноприемлемое русло ход исторического развития человечества. Эпоха Александра Македонского, если прибегнуть к более или менее точному историческому сравнению, — это (по агонии своей) эпоха строительства последних египетских пирамид, когда фараонами, пресыщенными богатством, славой и властью, предпринималась отчаянная попытка удержаться в своей пресыщенности на обглоданной и истощенной уже ими нильской земле и когда неизбежность исхода стержня господства и рабства на новые обетованные пространства уже стояла на пороге и звала в путь. Отец Александра царь Филипп (действовал ли он по наитию, если так можно выразиться, то есть стихийно, или по некому негласному фараоновскому инструктажу, по какому уже сама причастность к трону и власти заставляет определенным образом действовать венценосцев), если принять простейшую трактовку его деяний, со дня воцарения на престол и до роковой своей кончины бился за то, чтобы из греческих городов-полисов, городов-государств (Афины, Фивы и т. д.), присоединив их, конечно же, к Македонии, то есть взяв под свое властное начало, создать единую и могучую Греческую империю, которая могла бы не только противостоять персам, но и отомстить им за их нанесенные в прошлом Греции и грекам разорения; именно из этих соображений, если следовать все той же простейшей трактовке, то есть из благих, как предлагается воспринимать это, намерений, Филипп не столько правил, сколько пребывал в походах, нападая на соседей и закабалая их (в соответствии, разумеется, с высшими соображениями единства); царство его, по сути, было превращено в военизированный лагерь, поставленный на содержание рабов, а войско, доведенное до совершенства в приемах ведения боя (так называемые наступательные и оборонительные фаланги, то есть боевые построения — шестнадцать шеренг по тысяче с небольшим воинов в каждой, — еще более усовершенствованные затем Александром), — войско считалось первоклассным и непобедимым во всем восточном Присредиземноморье. Как видим, если цель благородна — создание единой и могучей Греции, — то и средство, и методы, то есть войско и войны, коими может достигаться цель, должны представляться оправданными и благородными; с уклоном именно на такое восприятие как раз и изложены в трудах летописцев и историков события времен царствования Филиппа, если, конечно, не считать некоторых хотя и побочных, но вполне правдоподобных замечаний о том, что рабский труд, применявшийся почти во всех областях жизни, был неэффективным, приводил к истощению ресурсов и соответственно служил тем объективным фактором, который и подвигал властителей ко все новым и новым завоевательским походам, не столько обогащавшим, сколько еще более истощавшим подопечные земли и народы. У меня вроде бы нет повода подвергать сомнению эту трактовку, основанную на конкретных фактах действительности, тем более что подобными поверхностными, назовем их так, трактовками, ставшими своего рода историческим трафаретом или шаблоном, сопровождаемы все или почти все (загляните в любое историческое пособие) кровавейшие события как древнейших, так и новейших времен; особенность этих трафаретов заключена в том, что они, неся в себе лишь правду десятилетий или в лучшем случае столетий, соединены с главной (хищнической, следовало бы напомнить, выработанной и навязанной миру еще фараонами Египта) сутью человеческого бытия, как бусинки с нитью, на которой они нанизаны; однако ведь не для того в конце концов существует историческая наука, чтобы только определять правых и виноватых в бесконечно терзающих мир войнах и противостояниях (вольно ли, невольно ли подтверждая подобным поиском правомерность кровопролитий вообще как составных частей бытия), но для того, чтобы постигать как естественные, так и внесенные человеком закономерности и на основе добытых познаний выравнивать и обустривать жизнь. Думаю, что сколько бы ни изощрались тронуоудники, но правдой десятилетия или столетия нель-

зя подменить правду эпох; история, изложенная с симпатией к одним народам и антипатией к другим, как видно это на примере описания греко-персидского противостояния (да и только ли его?!),— такая история, во-первых, не только не дает истинного представления о происходивших и происходящих событиях, но и вообще делает невозможным их познание и, во-вторых, усугубляет вражду между народами, возводя ее в ранг вечных величин. Может быть, кому-то придется не по душе, что я столь настойчиво возвращаюсь к вопросу освещения истории, к тем научно будто бы обоснованным критериям отбора, изложения и оценок исторических событий, вернее, к односторонности и предвзятости, как подается человечеству прожитая им жизнь, из которой, впрочем, оно должно черпать для себя настоящее и будущее, но ведь известно, что из источника лжи, источника предвзятости, подтасовок, извращений можно почерпнуть лишь этот суррогат невежества и заблуждений, что в общем-то и происходит как с отдельными народами, странами, так и с людским сообществом в целом, и сколько бы мы ни прилагали усилий в поисках выхода из тупика, поисках упорядочения жизни, чтобы из цепи бед, как рок, преследующих нас, она превратилась в цепь общего, желанного благоденствия (да хотя бы просто нормализовалась в приемлемое и спокойное бытие), как бы ни примеривались к тому выбору политических и социальных режимов, какой столь щедро, с иронией должен заметить, представляет нам хищническое мироустройство со своим неизменным стержнем господства и рабства, мы не продвинемся ни на шаг к цели, пока не доберемся до истинных причин, породивших и продолжающих порождать это ведущее лишь к гибели явление хищничества, что, впрочем, возможно только в том случае, если найдем в себе силы наотрез отказаться от тронноисходной предвзятости в отборе и оценках деяний минувших веков и выработаем наконец тот критерий, тот эталон жизни, вытекающий из реалистических основ народного бытия, с помощью которого все тенденциозно выстроенное под бессмертные троны и представляющее собой лишь житие царств и царствующих особ, должно будет, оголившись, отпасть, как короста, с плоти пробудившихся к жизни людских сообществ.

XXXIII

Состояние жизни как отдельных наций, народов, государств, так и человечества в целом нельзя рассматривать как плод некоего самообразовавшегося мироустройства или миропорядка, ибо человеку не для того был дан разум (или был приобретен им за время эволюционного развития), чтобы лишь послушно следовать стихии, не внося в свое бытоустройство нужных поправок; но поскольку, как показывает действительность прошлого и действительность настоящего, все более или менее масштабные деяния, кардинально изменявшие на пространстве веков социальную и духовную жизнь людей, исходили не от народа (народов, простолудинов), а от властителей, подавлявших волю народов и насаждавших свое видение бытия, то и причину постигающих нас бедствий следует прежде всего искать в поступках и деяниях этих надстроечных тронных структур, а если посмотреть еще углубленнее на исследуемую проблему, то есть если признать, что обитатели дворцов и храмов (власть как ветвь развития) столь же, если не больше, наделены инстинктом, назовем так это явление, преемственности жизни, как и народ, то можно безошибочно прийти к выводу, что состояние жизни людских сообществ, к какой бы эпохе мы ни обратились,— общее состояние жизни людей не столько зависит от амбициозных притязаний правителей, сколько от тех изначальных истоков, из которых вырастала власть и ставилось ею мироустройство, и как бы мы ни ходили вокруг да около в ответе на этот главнейший вопрос истории и жизни, след, если мы все-таки решимся обнародовать истину, непременно приведет нас к стойбищу египетских пирамид, под каменными глыбами которых хранится или, вернее, сокрыта стержневая основа всех когда-либо обрушивавшихся на человечество, включая и новейшие времена, страданий и бед. Народы Греции и Македонии, если бы им была предоставлена возможность жить так, как они хотели и могли бы устроить свою жизнь, то есть если бы им была предоставлена свобода в

выборе мироустройства, которое соответствовало бы их самобытности развития, их материальным и духовным потребностям,— народы Греции и Македонии времен царствования Филиппа (что, впрочем, правомерно для всех народов всех эпох, включая и нынешнюю), если бы им была предоставлена такая возможность, вполне могли бы жить в достатке и процветании на родной земле; они бы не только не испытывали кризиса жизни, о котором все столь любят сегодня упоминать политики, философы, историки, будто явление это, как смерч, вдруг стихийно обрушивается на те или иные народы и страны, но не имели бы даже представления о таком понятии, и уж тем более не возникала бы потребность поправлять свои дела за счет закабаления и ограбления соседей, в то время как властители, «демократически» будто бы, а по сути, олигархически правившие раздробленной на города-царства или, если образнее, на мини-Египты Грецией и не желавшие изменять выгодного им (благодаря чему только и могли удерживаться на тронах) хищнического миропорядка,— правители, доведшие страну до кризисного состояния, то есть до состояния истощения и обглоданности Египта, когда требовалось уже всей властью (стержнем господства и рабства) исходить на новые обетованные земли,— правители вместо того, чтобы освободить народ от кабалы и предоставить ему свободу действий, дабы он мог не через войны, то есть не через насилие, грабежи и убийства, а через труд, через мирные устремления и усилия добиться процветания, не нашли ничего лучшего, как ступить на стезю фараонов и начать, с одной стороны, централизацию и ужесточение власти на подопечных территориях, а с другой — приступить к поиску обетованной земли, куда можно было бы переместиться со всем этим своим вселенским центром нахлебничества и жестокости. Я не уверен, что царь Македонии Филипп столь же обнаженно и прямолинейно, как изложено здесь, воспринимал обстоятельства жизни и свою венценосную миссию по сохранению и укреплению мироустройства (хищнического мироустройства), в свое время тронноизошедшего на земли восточного Присредиземноморья и в Грецию, и что во всех своих поступках руководствовался только этой заданностью миссии,— нет, такое толкование было бы неверным, ибо в мире не существует писаных фараоновских подсказок, которые, подобно макиавеллиевским наставлениям, регламентировали бы в рамках веков деяния царских особ; перед ним были только тот фараоновский пример и та фараоновская ситуация, которые как раз и подвигали его на определенные свершения; он не был исполнителем чьей-то определенной и тем более злой воли или каких-то определенных злых сил, но находился во власти тех хищнических начал, коими и ныне определяются поступки и поведение монархов, премьеров, президентов и всякого рода пролетарских и непролетарских вождей, самопоименовавшихся помазанниками от народа, и не мог предпринять ничего иного, чем то, что в подобных случаях только и должен предпринимать венценосец, и как последний египетский фараон перед крахом своей фараоновской державы, спешил сколотить тот вершинный помост греческого могущества, с которого сын его, Александр, двинувшись на завоевание Азии — завоевание мирового господства,— приведет Грецию с ее культурой и так называемой «демократией» к такому сокрушительному обвалу с исходом стержня господства и рабства на италийские берега и возведением Рима, такому, сказать точнее, историческому упадку, повторив зеркально или почти зеркально судьбу Древнего Египта, что никакими усилиями поколений, как подтвердит история, уже не удастся восстановить ее былого значения. Но Филипп не думал об этом; он даже отдаленно не мог предположить, каким бесславным концом завершатся его венценосные устремления, и — только торопился, торопился за отведенный ему для царствования срок воплотить в жизнь свой великий перед лицом персидской угрозы замысел. Он видел спасение Греции, спасение ее господствующего (в пользу тронов) положения на Средиземноморье в ее собранности и в установлении над всеми городами-царствами единой державной власти, ибо хваленый и перехваленый позднейшими историками и философами институт «демократии» (я бы назвал эту демократию патрицианской, а точнее, олигархической, какой она, опираясь на свой греческий оригинал, и предстает сегодня по крайней мере у нас в России) был способен только дробить и расточать любое державное мо-

гущество; именно в разобщенности греков крылось их бессилие перед многолюдной, вот-вот готовой напасть на Грецию Персией (Азией, что более соответствовало бы действительности), искавшей, впрочем, как и эллинские правители, обетованную землю, куда можно было бы изойти всем своим азиатско-абсолютистским стержнем господства и рабства для нового и еще более беспредельного (за счет ограбления и закабаления других народов) процветания, но пока персы, уже не раз в прошлом выставлявшиеся в качестве агрессора, как мы бы сказали сегодня, в качестве врага, против которого надо вооружаться, то есть предпринимать упредительные меры, лишь отдаленно вынашивали свои захватнические планы, пребывая в неге и роскоши (возможно, несколько веков отделяло их еще от фараоновского кризиса власти), — ударные фаланги македонского царя Филиппа тяжелой кровавой поступью утюжили греческую землю, победно вступая в Салоники, Афины, Фивы и столь же тяжелой царской кровавой дланью присоединяя к себе фракийские (славянские) и придунайские (тоже главным образом славянские) народы и племена. Не берусь судить, были ли в догосударственный период развития человечества благополучные, процветающие народы или их не было, во что, правда, трудно поверить, если даже обратиться к насильственно огосударствленным уже после Рождества Христова народам (здесь опять можно было бы привести цитату из тацитова описания добронравного быта славян, населявших большую часть Европы — от Днепра до Рейна — и не знавших государственности), тогда как с появлением этого способного будто бы упорядочить общественные отношения аппарата насилия, главное, с повсеместным навязыванием этого трононасилия как единственно возможной системы человеческого бытия, история не дает ни одного примера, когда бы народ или народы, скованные волей держателей власти — царей, премьеров, президентов или так называемых вождей от народа — и законами обожещенной ими государственности пребывали в полном или хотя бы частичном и долговременном благополучии. Эта же история показывает, что есть только кажущиеся или, вернее, троннопоименованные периоды процветания, периоды ложного, обманного благополучия, и они обычно связываются с завоевательскими походами, победами над «врагом» и славословиями в честь этих побед, возносящих будто бы на пьедесталы величия и славы народы, государства и государей как величайших деятелей эпох, отцов народов или отцов человечества, коим до скончания веков мы все обязаны кланяться, и при этом как-то странно забывается другая истина, что под всяким подобным возвеличивающим личности и народы пьедесталом лежат точно такие же, но убиенные народы, страны, цивилизации; величие на страданиях — вот цена такого благополучия, которое, впрочем, обычно распространяется на сонмы дворцовых и военных элит; щедро раздаются монаршие милости: титулы, звания, чины, ордена, земли, замки, города, деревни со всем проживающим в них трудовым (крепостным) людом, устраиваются празднества, пиры, смотры победоносных войск, куется оружие для новых походов, ибо краденое столь же легко проживается, как и приобретается, и за этой витийствующей суетой, как за фасадом, скрывающим черный двор, нищенствуют, пребывая в ужасающем бесправии, массы простолюдинов. Среди дворцовой и военной вельможных элит царил дух некоего постоянно возраставшего, как на дрожжах, патриотизма, который победно приносился с полей сражений, где македоняне силой своих фаланг обращали в бегство любое противостоявшее им воинство; казалось, что обстоятельства сами собой благоприятствовали Филиппу, он пребывал на гребне монаршей и ратной славы, и с высоты этих деяний — да было ли у него время подумать о народе, ради которого держал войско, ходил в походы, рискуя потерять не только царство, но и жизнь, тем более подумать о тех, кого покорял, принося им страдания и смерть своей безудержной жаждой властвовать над всем и вся? Ведь забывчивость характерна не только для простолюдинов, но и для царей и, может быть, прежде всего для царей, когда приходит время отдавать долги (в данном случае долги народу), так что Македония времен царствования Филиппа, могучая и процветающая, как принято характеризовать ее в официальных и неофициальных историографиях (она и теперь не без умысла изображается иногда на картах в своих былых имперских границах, как, впро-

чем, делают это и многие другие державы для возбуждения некоего утраченного патриотизма), по сути, не была ни могущественной, ни процветающей, а пребывала лишь в агонии тех известных заблуждений, лежащих за гранью национального да и любого достоинства и именуемых иногда в народе шапкозакидательством, за которые приходится затем через десятилетия, столетия и даже тысячелетия жестоко расплачиваться грядущим (и ни в чем не повинным) поколениям. Пример подобного (государственного) благополучия не единичен в истории, ибо еще наглядней, чем прожитые века, подтверждает это текущая действительность; державы вооружаются, истощают свои природные и людские ресурсы и, натворив бед, то есть прокатившись кровавым катком по соседним народам, уходят в небытие, как в свое время ушли фараоновский Египет, цезарский Рим, империи Карла Великого, Наполеона, Гитлера, и было бы величайшей ошибкой полагать, что в этом бесконечно постигающем страны и народы явлении нет жесточайшей закономерности, а что все-де заключено в просчетах либо самих кумиров, либо их преемников, наделенных лишь амбициями, но не мужеством и умом, либо, наконец, в несостоятельных народах, не сумевших, во-первых, распознать благие замыслы обоженных владык и, во-вторых, недостаточно жертвовавших собой в сечах за «процветание» своих отечеств.

XXXIV

В агонии именно этих заблуждений, царивших при Дворе Филиппа, как росток из злосной почвы, рос и набирался воинского духа будущий завоеватель Азии (и разрушитель отцовского царства со всеми присоединенными к нему греческими и негреческими территориями) Александр. Для его воспитания были приглашены лучшие учителя, в том числе и великий мыслитель того времени Аристотель. Я не хочу особо углубляться здесь в вопросы воспитания и тем более оспаривать библейский постулат, что вначале было слово, потом дело, то есть, иначе говоря, что дух (мысль, разум) есть неизбежная предтеча свершений; такое толкование, плотно обложенное логическими, повторяю, логическими, а не жизнеисходными доводами, столь глубоко за века усвоено человечеством, что едва ли сегодня можно поколебать его даже самыми неопровержимыми доказательствами; а между тем если посмотреть на ход развития человечества с точки зрения взаимоотношений названного изначальным духа и поименованных вторичными свершений, то вопрос о предтече, что и чем предварялось и предваряется,— вопрос этот, так как все в мире находится во взаимосвязи и взаимозависимости, то есть одно вытекает из другого и нет первичности, на которую бы не оказывала влияние вторичность и не формировала бы определенным образом духовные и социальные воззрения,— вопрос этот если не отпадет вовсе, то по крайней мере предстанет перед нами совсем в иной ипостаси как явление жизненной закономерности, подлежащее куда более основательному исследованию, чем только скольжение по логическим доводам и признание правдоподобия правдой. Если окажется, что закономерность эта от заданности природы, что в общем-то маловероятно, вернее, исключено, ибо устремленность к гармонии не может основываться на принципах самоубийства,— да, если окажется, что от природы, то мы получим один исходный вариант, а если от разума человека, от произвола его деяний — это вариант другой, другая истина, познание которой как раз и есть путь к исправлению всех когда-либо допущенных поколениями в ходе своего развития просчетов, ошибок, злонамеренных действий. Мы сможем убедиться, что если вначале было слово, то оно было не тем, какое следовало бы произнести, благословляя или наставляя человечество на жизнь, или, сказать иначе, произнесено далеко и далеко не добрым человеком (высшим существом, Богом, Творцом); поставив человечество на стезю хищничества и отобрав у него самую возможность развития на началах миролюбия и добронравия, это брошенное как благодать слово лишь вергло нас в ту липкую (бесконечную) цепь речей и свершений, свершений и речей и снова речей и свершений (что как раз и не позволяло человечеству оглядеться и сойти со стези хищничества), которая, приняв черты некой будто бы есте-

ственной, природной заданности, стала неотъемлемой и господствующей частью самоубийственной программы развития людских сообществ. Воспитывавшийся в поколениях на достижениях и свершениях (от хищнических начал) человек настолько уже проникся определенным восприятием и толкованием мира, что стремление вырваться из пут этой духовной заданности и вернуться к первоистоку истинных, разумных основ человеческого бытия,— стремление это в большинстве случаев остается либо недостижимым, либо если и достигается, то в том возрасте, когда ни на что уже недостает сил. Истина, как налим, не просто ускользает из рук, но ускользает по определенной тронноугодной заданности, одетая в скользкий наряд светских и церковных риторик, и человечество, по сути, оказывается как бы вмонтированным в некую единую, самовоспроизводящую звенья раздоров, войн, то есть больших и малых (от фараонского звена хищничества) схваток за власть, кровавейшую цепь столетий и тысячелетий, прервать которую (что означало бы приостановить падение в бездну) можно только познанием истины совершавшегося и совершающегося. Все, что формирует наше сознание сегодня и формировало всегда, все, все, включая и историю как науку или учебник о житиях царей и об их царствах, и религии как незыблемые постулаты все о тех же пастырях и пастве, то есть о высшей предначертанности одним править и барствовать, а другим тянуть жизнь в нищете и страданиях, и философские воззрения, только запутывающие истинное представление о целях и смысле бытия или в лучшем случае книжно истолковывающие лишь то, что просто, ясно и давно и многократно подтверждено жизнью, и такие ипостаси, как литература, искусство, живопись, принявшие ныне с каким-то даже будто дьявольским удовлетворением развращать мир, навязывая людским сообществам не раз уже навязывавшуюся им крайнюю бездуховность (видимо, сии ретивые развратители от тронов или каких-либо еще властных «богоизбранных» личностей или «богоизбранных» народов не знают, что играющий с огнем сам же первым и сгорит на этом огне),— все, все это, называемое свободным духом, то есть божественно приравненное к библейскому постулату об изначальности слова и вторичности свершения, а по сути, являющееся той самой скользкой одеждой на истине, которая делает истину в угоду тронам налимско-неуловимой, все, все, на чем тронноисходно и троннозаданно воспитывается человечество (и прежде всего венценосные отроки), как раз и позволяет людским сообществам с каждым новым столетием и тысячелетием приращивать к исторической цепи событий, то есть к цепи порочно-самоубийственных деяний, все новые и новые кровавые звенья. Конечно, нелегко признать, что народы как пребывали тысячелетиями, так и продолжают пребывать в тяжелейшем оглулении и что, с какой бы стороны мы ни посмотрели на нашу от древнейших до нынешних времен жизнь, перед нами неизменно предстает одна и та же картина заколдованного круга, на который помещено человечество и сойти с которого оно не может, не познав тронноотгороженной от него стенами светских и духовных риторик истины, и картина эта — картина заколдованного круга — становится уже чуть ли не главным образным выразителем всего нашего исторического бытия. Чтобы изречь слово (мысль), нужно по меньшей мере иметь элементарное представление о мире, о началах добра и зла в нем и основах справедливости, на которых только и может создаться гармония жизни; но чтобы получить правдиво-исчерпывающее представление о справедливости как о народной основе бытия (разумеется, если мы действительно вознамеримся жить в общем благе и согласии), нужно, во-первых, решительно отказаться от ныне действующего толкования этого явления как от порочного и губительного, основанного не на общечеловеческих представлениях о ценностях бытия, а лишь на искажающих действительность доводах тронных и околотронных особ, продолжающих и ныне заверять нас (нравственно утонченным уже способом), что справедливо-де только то, что от Бога, то есть то, к чему пришел мир, узаконив господство и рабство, а не то, о чем мечтает и к чему стремится простой люд, пытаясь изменить богоданный будто бы миропорядок, и, во-вторых, чтобы жизнь преподнесла хотя бы один пример не богопредначертанной или богоисходной, коей все мы уже по горло сыты, а простой, ясной, вытекающей из народного восприятия и близкой и понятной

народу человеческой справедливости; но, к сожалению, мир не имеет ни первого, ни второго, и все наши познания базируются, с одной стороны, на хищнических схватках за богатство, славу и власть, а с другой — на толковании этих кровавых деяний как деяний во имя справедливости и общего блага, так что — лишь однажды было изначальным слово, если оно было вообще, и слово это было неверным, а все последующее есть только своего рода преемственность зла, построенная по принципу сохранения и приумножения традиций, разумеется, тронноисходных или, вернее, тронноположенных, от которых под страхом светской и духовной кары никто не смеет отойти ни на шаг, как раб, рожденный от раба и повязанный рабством. Ведь суть мрака не в том, что в черных красках подают его; суть воспитания личности, народа, человечества в целом, как оно осуществляется на пространстве веков и осуществляется сегодня, не есть что-то разово непригодное, трагическое, что можно пережить и идти дальше, но всеохватный (троннозаданный от древненильских владык) трагизм жизни, ступенчато нарастающий со сменой эпох, эр, как может только нарастать зло, плодящее зло.

XXXV

Все мы вырастаем из своих эпох, из идей и идеалов, господствующих в них; идеалом эпохи Филипповых завоеваний был царь-воин, царь-победитель, царь-созидатель (в смысле созидания империи), а главной идеей — объединение Греции в великую державу под эгидой македонского правителя, и эта атмосфера торжества силы, которой, казалось, были пропитаны все поры государственной жизни (жизни светской и военной элит, с которых, как прежде, так и теперь, обычно начинается и на которых заканчивается любая государственность, в то время как народ был и остается только держащей основой, на которой как возводились, так и продолжают возводиться угнетающие его тоталитарные или так называемые республиканские, демократические — что в лоб, что по лбу — режимы), — атмосфера торжества силы, наполнявшая дворцы и храмы, не могла не влиять на царского отпрыска Александра и не возбуждать в нем интерес к победоносным походам отца, к ратным подвигам, приумножавшим величие и славу царя и царства, но если в суждениях о подраставшем завоевателе Азии мы будем исходить лишь из этой ограниченной датами конкретики, то добьемся не правды, которую ищем и которая помогла бы открыть закономерность одного из планомерно повторяющихся явлений хищнического мироустройства, а только части ее, изъятой из контекста веков, и часть эта, как всякий обрубок, явит нам лишь самое отдаленное, смутное представление о целостности исследуемого предмета. Человек не может воспитываться только на совершающихся вокруг него деяниях, ибо подобное воспитание, которое можно было бы назвать усеченным или ограниченным, во-первых, сделало бы человечество беспозвоночным, то есть лишило бы его той стержневой основы (в данном случае хищнической, но все же стержневой), вокруг которой и взаимосвязанно с которой все совершающиеся нами дела и поступки обретают смысл и значение (какой смысл и какое значение — это другой вопрос), и, во-вторых, лишило бы любое мироустройство (а оно могло бы развиваться и на началах миролюбия и добронравия, если бы не было поглощено хищничеством) возможности совершенствоваться и укрепляться в правах всегосподства; не могу сказать, боится ли человечество беспозвоночности и насколько и с каким усердием устремлено к сохранению единой стержневой заданности и устремлено ли вообще, но что касается хищнического мироустройства (в лице тронных и околотронных особ), в свое время изошедшего стержнем господства и рабства из Египта на обетованные земли и на тысячелетия, если не до скончания веков (вывод, к которому можно прийти, изучая историю и современность), закрепившегося на них, то тут с определенностью можно сказать, что, научившись перевоплощаться со сменой эпох, оно сумело естественную потребность людей к познанию мира, своих корней, своего прошлого, дабы не чувствовать себя гостем или, вернее, незаконнопроживающим, лишним на этой земле, обратит в потребность тронов, заставив науки, искусство, религии, культуру служить сво-

им интересам. И это не голословное заявление, нет, как может показаться некоторым ревнителям старины, скажем так, чтобы не принижать достоинство, хотя убежденность сих ревнителей зиждется всего лишь на известном церковном каноне, по которому то, что не может быть объяснено религиозным учением (в нашем случае христианским), должно быть заменено религиозным догматом, — нет, нет, не голословное, повторяюсь, заявление, то есть не для того написано, чтобы написать что-то, но вполне и даже более чем подтверждено как фактами древнейшей, так и новейшей истории. Ведь все или почти все, что открывалось наукой, открывалось с поощрения тронов и для нужд тронного бытия — для войн, насилий, экономического, политического и духовного верховенства над массами простолюдинов, а также для поддержания венценосного барства и венценосной пресыщенности; в целях укрепления власти и оправдания произвола и жестокости ее носителей писались и пишущся истории, до неузнаваемости искажающие суть происходивших событий, сочинялись и сочиняются мифы и легенды о благе кровопролитий, создавались и продолжают создаваться религии и религиозные течения (новейшие из них: коммунистическое и демократическое, представляющие собой некую усеченность и смесь христианства с мусульманством, буддизмом, иудаизмом), готовые вновь и вновь объявлять страдания (и орудия казни, орудия притеснений) как некий богоположенный для простолюдинов атрибут очищения и спасения и возносить нищету, убожество и уродство до высот апостольского ясновидения, тогда как сами эти «богоизбранные» венценосные вешатели продолжают якобы «отсиживаться», то есть нести бремя земных тягот в золотооблитых от пола до куполов дворцах и храмах; тронам служили и продолжают служить искусство, литература, живопись, музыка, скульптура, зодчество, а если и были и есть исключения, то они, с одной стороны, лишь подтверждают правило (да и не ошибаемся ли мы, воспринимая протест против какого-либо одного режима как протест вообще против власти, против насилий и притеснений хищнического мироустройства, тогда как на поверку выходит, что низвергающие режим, низвергают его лишь в пользу другого такого же, жаждущего расширить господство и готового щедро оплатить услуги?), а с другой — подавлялись, начиная с досократовских времен (судьба Сократа в этом плане особенно характерна), как продолжают подавляться и ныне, в век «достижений и прогресса». Так обстоит дело с содержательной стороной познания, регулируемой сонмом венценосцев и околвенченосных особ, ибо отнюдь не в интересах тронов, чтобы всенародно обнажалась истинная суть их властных устремлений и деяний, их богоблагословенных будто бы прав на паразитизм, сопровождаемый жесточайшим в веках произволом; но есть еще и другая сторона, связанная с распространением даже этих тронно усеченных познаний, с возможностью простолюдинов приобщиться к ним, то есть то, что мы великогрудно именуем просветительством или целью просветительства масс, и в этой сфере, сфере просветительства, с древнейших времен еще все поставлено в зависимость от воли, то есть желания и потребности властителей; чтобы удерживать народы в состоянии покорства и рабства, надо прежде всего держать их в темноте и невежестве, и этот неписанный постулат власти, постулат хищнического мироустройства, по которому граница знания и незнания есть граница господства и рабства, — этот постулат хищничества, составлявший и составляющий едва ли не стержневую основу любой государственности, исправно, то есть даже более исправно, как увидим ниже, действует и донныне, принося золотолитые плоды венценосцам и кланам трущущихся около них элит и плоды нищеты, боли, горечи и страданий простолюдином. Думаю, нет нужды углубляться в подробности, почему для одних людей (царских, княжеских, графских, баронских, дворянских отпрысков, которые столь же люди, как и представители всех других сословий) — царскосельские лица, а для других, крестьянских отроков, отроков простолюдинов — церковно-приходские (из трех, четырех классов) школы; история или предыстория этой градации, исходящая из глубины фараоновских и дофараоновских времен, более чем ясна, хотя и тут могут найтись досужие оппоненты, всегда имеющие в запасе сотни подновленных и готовых к подновлению трафаретных доводов, сводящихся лишь к одному, к оправданию установившегося порядка вещей, дескать,

так сообразовалось, так пошло (стихийно, конечно же) от предков, а по сути, к оправданию троннозаданных деяний, но ведь разговор не о том, правы или неправы венценосцы, удерживавшие в невежестве массы (они действовали в своих интересах), а о том, насколько приемлема или неприемлема эта рукоположенная (тронноположенная) закономерность для человечества, или, сказать иначе, ее исходная легитимность, вынуждающая девять десятых мирового сообщества слепо блуждать в лабиринтах общественного (государственного) и частного (семейного) бытия. Как ни печально писать об этом, но в вопросах просвещения, то есть в самой потребности человека в знаниях, столь же естественной для обустройства жизни, как естественными и неотъемлемыми условиями бытия являются земля, вода, воздух и солнце, — в вопросах просвещения люди (простолюдины) смогли за века добиться лишь права говорить о необходимости всеобщего образования, а по существу, остаются столь же лишенными права получать его, как и во все предшествовавшие времена, но с той лишь, может быть, разницей, что граница недоступности проходит уже не между грамотностью и безграмотностью (хотя более трети человечества и ныне пребывает в полном невежестве), а между пределом грамотности, то есть познанием ее азбучных основ и средоточием тех высших государственных (венценосных) тайн, определяющих или, вернее, составляющих механизм власти, механизм управления экономическим и духовным состоянием масс, с помощью которого как раз и продолжают удерживаться народы (в новейших уже условиях) в нищете, невежестве и закабалении. Знания вопреки утверждениям всех нынешних светских и церковных светил превращены в предмет купли и продажи, что делает их доступными лишь слою богатых и очень богатых людей, то есть, иначе говоря, власть предержавшие, власть имущие обречены от рождения на право получать и господствовать, а простолюдины — на право не иметь и быть в рабстве, ибо любая материальная ли, духовная ли зависимость делает человека рабом жизни, рабом существующего порядка вещей, так что если государство, каким бы демократическим и народным ни провозглашало себя, не открывает при этом своим гражданам свободный и равный доступ к знаниям, то все заверения его о всеобщем благе и процветании являются не больше не меньше как очередным обманом, последствия которого нетрудно предугадать.

XXXVI

Таким образом выходит, что правители, должные (по естественной заданности человеческого бытия) заботиться об образовании народа, во все времена и при всех устанавливаемых ими режимах заботились лишь об уровне образованности своих отроков, что, в свою очередь, означает (если высказывание это перевести на язык народного восприятия), что первейшей заботой их была да, впрочем, и остается забота о своем царском благополучии и благополучии тронов, то есть власти, в каких бы одеждах — монархических, республиканских, коммунистических, демократических и супердемократических — она ни представляла; для воспитания и образования царских отпрысков приглашались высшие светила знаний своего времени, и если кто-то скажет, что сегодня мы живем в иных обстоятельствах, что монархии как социальные системы жизни ушли в небытие и что теперь в обстановке высшей демократии все граждане без исключения конституционно уравнианы в правах, то позволительно будет спросить подобного оппонента, из каких же тогда соображений существуют такие (закрытого типа) учебные заведения, в которые принимаются, вернее, направляются отпрыски только знатнейших, элитнонадэлитных семей планеты и из которых, как из инкубатора Божьих помазанников, вылупляются затем один за другим лидеры — народные «избранники» — демократических держав и демократических и республиканских партий? Ведь это легко устанавливается, достаточно только заглянуть в жития премьеров и президентов, скажем, государств ведущей семерки. Доступ к знаниям детей околотронных элитных семей, а если чуть шире — дворянских отроков, был, как, впрочем, и остается, иным, чем детей из крестьянских семей, из семей простолюдинов, и в доказательство этого общеуказанного права и бесправия, этого произвола, когда у

одних перманентно отбираются, а другим перманентно отдаются, по существу, равнопредназначенные (по первозданности бытия) блага жизни, — в доказательство этого творившегося и творящегося правителями беспредела необязательно обращаться к прошлому, ибо текущая каждодневность дает нам точно такие же по выразительности (по бесстыдству и наглости) примеры духовного пиратства и обездоливания; не нужно оглядываться и на ведущие западные державы, где давно и основательно узаконено платное образование (я имею в виду не начальное и среднее, а высшее и элитно-высшее, куда если и допускается кто-либо из простолюдинов, то с прошествием десятилетий или даже столетий непременно выясняется, что простолюдин этот вовсе не простолюдин, а некий, наподобие нашего Ломоносова, царский или княжеский побочный, внебрачный отпрыск), но стоит лишь присмотреться к комедийственности, в какой мы прожили более семи десятков лет, и сравнить эту действительность с провозглашенными правами граждан на свободу, равенство, братство, как перед нами предстанет все та же картина высшей несправедливости, когда одним все, другим ничего, тот абсолютизм власти, который, осудив и отвергнув теоретически, мы не смогли, однако, изжить из нашего обновленного будто бы текущего бытия. Я не хочу возвращаться к вопросу о крепостничестве дореволюционном и крепостничестве послереволюционном, колхозном, когда не то чтобы поступить в какое-либо высшее учебное заведение, но даже просто выехать из деревни крестьянский отрок (отрок колхозника) не мог без паспорта, который барин-председателем ему не выдавался на том лишь основании, что-де кто же тогда будет работать в колхозе (то есть по праву или закону государственного рабства); не буду перечислять и те высшие учебные заведения, которые, имея вроде бы статус открытости, в то же время (не без воли, разумеется, пролетарских вождей) были снабжены столь густосетчатыми пропускными режимами, что простому смертному, будь он хоть семи пядей во лбу, ни с какой стороны невозможно было даже просто приблизиться к этим элитно-предначертанным святилищам знаний. Следует, наверное, согласиться, что были и исключения, но я говорю о закономерностях, о системе, которая, как механизм, отлаженный в веках, действовала и продолжает безотказно действовать по троннозаданной (от времен фараоновских пирамид) программе господства и рабства, распахивая богатым и чиновным дверь к знаниям, а нищим и обездоленным — в темноту и невежество; и дело тут не в том, какой статус имеет то или иное учебное заведение и в какой степени оно засекречено, ибо не только провозгласить, но и конституционно закрепить можно любые свободы, основанные на высших принципах человеческого бытия, принципах справедливости, равенства и братства (в религии, как известно, мы тоже все провозглашены братьями во Христе, да вот только живем не по-братски: одни — во дворцах и храмах, другие — в избах, приютах и богадельнях), а в том, как эти провозглашенные блага воплощаются в жизнь, если воплощаются вообще, или мир пришел уже к такому состоянию, когда слово, вынесенное канонами церкви (и не случайно, конечно же) в заглавную ипостась бытия, то есть поставленное впереди дела («вначале было слово...»), — слово живет отдельно, само собой, как пустой звук, бросаемый в народ для обмана, словно наживка, на которую слепо кидаются оглуленные, уставшие от нищеты и страданий массы простолюдинов, а дело творится само собой, в зависимости лишь от неоглашенных тайных замыслов тронных и околотронных особ, действующих или, вернее, поступающих по единому (древнеегипетскому, фараоновскому) сценарию хищнического (навязанного народами) мироустройства. Возможно, что такое суждение не бесспорно; но как тогда быть с действительностью, которая творится у нас на глазах и которую едва ли можно объяснить только алчными побуждениями отдельных личностей? Провозгласив марксизм как единственно верную и приемлемую для народа (для мирового пролетариата) философскую основу бытия и погубив, чтобы претворить ее в жизнь, миллионы и миллионы людей, уставших от прежних насилий и притеснений, и перечеркнув все домарксистские философские учения о мире материи и человеке как о существе духовном, о государстве и «общем благе», к которому-де государства должны стремиться (к этой Аристотелевой, а затем Петровой формуле еще не раз и не два придется вер-

нутья ниже), мы, в сущности (вернее было бы сказать не «мы», но вожди «победившего пролетариата», а проще — все те же правители от стержня господства и рабства), не только не внесли ничего нового и достойного в эстафетно доставшийся нам хищнический миропорядок, но, напротив, солидаризировавшись с самой реакционной Платоновой формулировкой о построении идеального государства, лишь приблизились к тем первоисточкам, тем азам фараоновского господства и рабства, на которые с древнейших времен, со времен Сократа, Платона и Аристотеля, философы и монархи, монархи и философы неизменно (тронноугоднически) оглядываются, создавая свои учения и пророчества. Идеальное государство, по Платону, должно состоять из трех разрядов: правители (философы), воины (стражи), ремесленники, земледельцы, и нужно ли доказывать, что построенная нами вроде бы на марксистской теоретической основе государственность явилась, по сути, воплощением Платонова идеала, как, впрочем, подобным же воплощением этого идеала предстают и все другие социальные устройства современного мира, включая и демократические (и что вполне можно было бы поставить в заслугу Платону как великому провидцу и основателю, если бы за спиной этого древнегреческого философа не высилась та самая хищническая система мироустройства, которая, как зараза, выплеснувшись с берегов Нила на мир и превратив его в некую единую свою вотчину, как господствовала, так и продолжает наращивать свое безраздельное господство в нем). Однако, если учесть, что и в этом своем «идеале» Платон удосужился слухавить, ибо в государственных устройствах прошлого (античного) мира, как, впрочем, и в позднейших, существовал еще и четвертый, не названный им разряд — рабы (разряд этот не принимался в расчет, видимо, потому, что рабов приравнивали к домашнему скоту, находившемуся в полной зависимости от воли хозяина), — да, если учесть не названную Платоном эту четвертую составную «идеальной» государственности, то она, эта составная общественного устройства бытия (в данном разбираемом случае коммунистического, хотя вполне соотносима с любым нынешним хвалено-демократическим режимом), оставаясь неназванной, продолжает нести на себе главное бремя государственных тягот. Для большей убедительности можно сравнить еще одну установку Платоновых рекомендаций с текущей — как коммунистической, так и демократической — действительностью. По предначертаниям Платона каждый из трех разрядов (из четырех, позволю себе сделать это добавление) «должен быть строго ограничен в выполнении своих обязанностей и не вмешиваться в функции других разрядов». Но это же кастовость, и в реальности она выглядит так, что правители вольны в своем произволе над народом, и никто ни в чем не вправе указывать им или поправлять их, что военные (стражи; стражи ратные, стражи чиновные) тоже вольны, правда, лишь в санкционированном правителями беспределе над народом и что последний, крайний разряд, включающий и рабов, волен лишь принимать «удары судьбы» и с безотказным покорством нести свой крест жизни. Ведь с древнейших времен и по сей день и час наша государственность, если в разрезе веков и кровавых переустройств обозреть ее, есть не больше не меньше как слепок с кастового Платонова идеала (если, конечно, не соотносить этот идеал с первоисточником от фараоновских пирамид), тогда как по светским (тронноисходным) внушениям мы ступенька за ступенькой восходим как в социальном, так и в духовном планах к желанному благоденствию, или, если в новой формулировке, светлому будущему, а по церковным (и тоже тронноисходным) — находимся на пути к Царствию Божьему, который по безмерности своей вполне может оказаться вечным. Кому неизвестно, что социальное (сословное) неравенство, процветавшее при коммунизме и, к сожалению, продолжающее процветать и при нынешнем демократическом режиме, подавалось и подается как некое профессионально-кастовое или кастово-профессиональное достижение; из семей прирожденных, дескать, политиков, то есть высокопоставленных партийных и чиновных деятелей, являются новые и еще более новые незаменимые политики, из семей прирожденных военных, то есть семей генералов и маршалов, — новые маршалы и генералы, продолжатели, так сказать, дела отцов, из семей юристов — юристы, из артистических — новые и новые непревзойденные (династические) «звезды» кино- и

телеэкранов и театральных подмостков, из ученых, академиков — ученые, академики, из литераторов, музыкантов, журналистов, художников — соответственно «звезды» этих профессий, а из рабочих и крестьян, естественно, — рабочие и крестьяне по преимуществу, и, может быть, все это действительно было бы хорошо и заслуживало поощрения, если бы, во-первых, за так называемым профессионализмом не крылась бы социальная подоплека и, во-вторых, если бы эти сугубо профессиональные вроде бы, а по сути кланово-династические объединения людей, связанных определенными целями и определенным, дающим им властные и житейские преимущества укладом, были бы открыты для взаимопроникновений и взаимополняемости; но, как показывает действительность, мир политиков, дипломатов, артистов, литераторов, ученых и т. д. на девяносто девять процентов, если не на все сто, пополняется за счет самих этих кланов, тогда как выставленный за ограду интеллектуальной жизни народ, главным образом коренная его основа, как бился, так и бьется в своей непризванности и заброшенности на родной земле. В связи с этим позволительно спросить: так что же мы строили и строим, какую государственность, и по каким философским канонам в очередной раз принуждают нас жить? Возможно, что и в самом деле, сколько бы мы ни совершали кровавейших социальных переворотов и как бы ни объявляли каждый новый режим власти долгожданным и желанным (выстраданным) совершенством, все никак не можем отступить от предначертанного Платоном идеала государственности.

XXXVII

Мысль, которую я намерен высказать здесь, на первый взгляд может показаться абсурдной. В самом деле, позволительно ли сводить усилия веков (усилия монархов, философов, политиков, стремившихся, с одной стороны, вроде бы постичь, а с другой — воплотить в жизнь идею «общего блага») к образному выражению «бег на месте», и насколько правомерно, если предположение подтвердится, бросать упрек лишь правителям и светилам духа и знаний или все-таки надо адресовать его всему человечеству? Ведь мир человеческого бытия, как было замечено мной выше, меняясь во внешних проявлениях, внешнем облике, то есть в очертаниях и расцветках, оставался и остается, по существу, неизменным по содержанию; факты истории показывают, что какие бы социальные системы или формации, если по нынешней терминологии, ни приходили на смену друг другу, абсолютной неизменности, или, точнее, абсолютной статичности, всегда был и остается фараоновский стержень господства и рабства, стержень хищнического мироустройства, однажды исшедший из Египта на обетованные просторы земли и силой и обманом взявший верх над другими, зарождавшимися на началах миролюбия и добронравия мироустройствами (возможно, что и над зарождавшимися цивилизациями, задушенными на пороге своего становления). Статика жизни, то есть неизменность изначального стержня господства и рабства, остающегося и сегодня хребтовой основой общественных отношений, в каком бы подновленном словосочетании ни подавалась на просветительский стол знаний, останется только статикой; она, во-первых, подтверждена многовековыми и не завершившимися еще исходами стержня на обетованные земли и, во-вторых, подтверждена плодами, если так можно выразиться, то есть результатами этих исходов. А плоды — суть войны, карательные походы, экономические и духовные удушения, заигрывания, обманы, подкупы, то есть весь тот неизменный набор насилий и закабалений (с поправкой разве что на личность тронопомазанника), те методы всеподавления масс, которые как неотъемлемые атрибуты любой державности вместе с «исходом» стержня неминуемо переносятся из страны в страну (новейший пример — освоение Америки), из века в век, из эпохи в эпоху погружая народы в непролазную трясиину страданий и бед. Так в чем же здесь динамика и в чем статика, и не заключено ли все лишь в механическом перемещении однажды удачно (в пользу тронов) найденной и отлаженной (опять же в пользу тронов) системы бытия по векам, народам и землям, и правомерно ли принимать это «перемещение зла» за развитие и тем более движение ко всеобщему процветанию и благу? Навер-

ное, говоря о динамике жизни, мы не должны забывать, что аксиома эта относится лишь к внешним проявлениям, но что стержневая основа мироустройства, способная завести людское сообщество лишь в еще больший тупик, только совершенствуется и укрепляется в русле статичности. Да, мир статичен в своей зловещей основе, и в этом весь парадокс и ужас; отрицая же статичность (она признается только Церковью, но с других позиций), мы произвольно ли, троннозаданно ли возводим перед собой барьер и, полагая, что торим дорогу к познаниям, лишь толчемся перед этим барьером и совершаем тот бессмысленный «бег на месте», который как раз и дает возможность троннопомазанникам возводить престолы и угнетать, угнетать, угнетать до нескончаемости массы простолудинов, дабы, оставаясь в невежестве, массы эти не ведали бы ни об истоках статичности стержня господства и рабства, ни об истоках своей нищеты и бесправия. Конечно, я понимаю, как трудно (после многоэпохальных усилий тронногодников, искажавших суть общественного бытия и обращавших нас в духовное рабство), — как трудно согласиться с предлагаемой здесь оценкой происходившего и происходящего, но ведь истина открывается только ищущему истину, а во всех других случаях открывается лишь искомая и необходимая ложь, как это, к сожалению, произошло и происходит со всеми или почти со всеми теоретическими разработками о целях и смысле человеческого бытия, о божественности и небожественности духовных и материальных начал жизни, авторы которых, оттолкнувшись от трудов древнегреческих философов — столпов знаний и мудрости (главным образом от толкований Сократа, Платона, Аристотеля), настолько далеко отошли от учений своих античных наставников и так основательно расплылись на трактовку мелочей и всевозможных побочных линий, считая, что идут по найденному только ими главному фарватеру жизни, что в плане подмены понятий, подмены самого предмета исследования, когда сладость и горечь плода ставятся в зависимость не от ствола, корней и соков, питающих древо, а от самого плода, висящего на ветке, — да, настолько далеко ушли от учений своих древнегреческих наставников, что, пожалуй, на тысячулетия, если не больше, опередили своих тронновосседающих хозяев в умении исказить действительность (искажать исторические и текущие события) и погружать в беспросыпное заблуждение каждые новые поколения входящих в жизнь людей. Мне кажется, что точно так же, как ошибочно и неправомерно принимать побочные, то есть внешние, проявления жизни за общую динамику человеческого бытия, когда главный ее стержень, стержень господства и рабства, остается неизменным, неправомерно и ошибочно принимать оторванные от сути бытия и, более того, искажающие его суть философские и религиозные учения за истинную, а не тронноисходную (тронногодническую, троннозаданную) науку в толкованиях общественных отношений и общественного мироустройства. Ведь хищнический миропорядок уже по своей заданности должен скрывать истоки и суть своих античеловеческих начал, тогда как наука (в данном случае наука об общественных отношениях), свободная вроде бы от притязаний на богатство, славу и власть, наука (вынужден повторить: об общественных отношениях), к сожалению, идет не в фарватере своей заданности, но все в том же фарватере власти, готовая вылезти из кожи, чтобы только приемлемо (и не только для простолудинов) обосновать необходимость и неизбежность властвовавших и готовых властвовать вечно правителей. Если суммировать сказанное, то можно прийти к выводу, что человечество со времен пирамид, со времен первого «исхода» стержня господства и рабства с обглоданных берегов Нила пребывает в ложе двух зол, двух самоубийственных обманов, связанных между собой единым жгутом венценосной заданности, суть которой заключена в том, чтобы реальность бытия, то есть навязанное всем нам хищническое мироустройство, поставившее девять десятых человечества в положение болванчиков, не умеющих отличить правду от правдоподобия, истину о бытии от навязанного (ложного, приукрашенного и подкрепленного в этом своем украшательстве религиозными и научными концепциями) представления о нем, чтобы эта реальность бытия с ее венченосно-тиранскими деяниями и свершениями была бы не просто отмыта от крови, слез и бесконечно испытываемых страданий, но представала бы в иконостасном блеске и неизменной апостоль-

ской значимости, дабы никто (главным образом из простолюдинов) не имел бы даже отдаленного понятия, какой могла бы и должна быть атмосфера семейной и общественной жизни, атмосфера общественных отношений, и дабы мать, постоянно поднимаясь определенными (власть предержавших) силами со дна жизни и дающая этим определенным (власть предержавшим) силам, как татам в ночи, безнаказанно творить беспредел над народом, народами,— дабы мать эта воспринималась как нечто естественное, неизбежное, предначертанное будто бы Творцом земное для людей испытание, как преддверие к «спасению» и «вечному благоденствию».

XXXVIII

Философы и политики, берущиеся толковать и направлять мир (с оглядкой на властителей или, вернее, под неусыпным бдительным оком их), не только никогда не работали в русле своей провозглашенной заданности, как это должно было бы быть, то есть не только не подвигали мир к истине, в познании которой нуждалось и нуждается человечество, и что можно было бы оценить величайшей заслугой и возвести в святость, но, напротив, работали лишь на укрепление тронов, а точнее, на бессмертие фараоновского стержня господства и рабства, каждый раз при социальных возмущениях и штормах бросая ему тот спасательный пояс из своих «научно обоснованных» теорий и разработок (теорий и разработок по переустройству и обновлению жизни), ухватившись за который, стержень господства и рабства не просто оставался на плаву, но, обрядив в новые понятия и термины все прежние доминанты власти, доминанты насилия и поражения, лишь только еще больше укреплялся в своей значимости. И это не очередной вывод из логических рассуждений, о котором можно спорить и говорить, не очередная для сенсации версия, какие ныне, как и всегда, выдвигались и выдвигаются лишь для того, чтобы отвести внимание человечества от поиска и разрешения насущных проблем бытия, а действительность, подтвержденная ходом исторической и текущей жизни; да, к сожалению, как и церковные догматы всех известных (крупнейших) религий, так и философские учения об общественном бытии не только никогда не служили и не служат достижению равного для всех «общего блага», как это продекларировано в них, но всегда пребывали и пребывают (в открытом ли, тайном ли сопричастии) в роли пристяжных к кореннику, держащему колею и регулирующему скорость движения (разумеется, с помощью вожжей восседающего на престоле правителя), и роль эта, то есть зависимость от господствующей системы власти или системы государственности (системы насилий и подавлений, нуждающейся в обосновании и поддержке), кто бы и как бы ни обелял ее суть и сколько бы ни выставлял как эталон независимости и свободы,— роль всегда есть роль, и свобода ее определена лишь «свободой» хомута и постромка, на которые либо следует налегать всей грудью, либо одного взгляда хозяина будет достаточно, чтобы оказаться на живодерне. Таковы законы хищнического бытия, они существовали и существуют независимо от того, захотим ли мы признать их (признать, может быть, самую горькую и постыдную правду действительности) или не захотим; философские учения, как и религиозные, на какую бы ступень достижений мы ни возносили их, в сути своей лишь усложняют познание мира, но отнюдь не открывают нам дверь к стержню бытия, и как бы мы ни называли одних философов-мудрецов идеалистами, а других — материалистами (простейший и распространеннейший принцип деления, хотя если начать перечислять все -исты и -измы, то, пожалуй, можно и не выбраться на свет из завалов этих понятий), то есть какие бы осудительные или поощрительные ярлыки ни наклеивали на живых и ушедших в небытие «светил знаний»,— пристяжная суть всегда будет оставаться пристяжной сутью, как она проявлялась на протяжении веков и проявляется сегодня. На мой взгляд, все философские учения — и древности и современности — следует делить не по принципу выраженного в них идеалистического или материалистического подхода в толкованиях действительности, что, дескать, все, что было в прошлом, есть хотя и великое, но все же ученичество, а все, что в настоящем, есть высшая или по крайней мере да-

леко ушедшая вперед степень знаний, но по той правдивости или открытости, если хотите, с какой авторы этих учений, видевшие и понимавшие несовершенство мироустройства (несовершенство прежде всего общественного бытия и общественных отношений), либо, не отвергая эту реальность, но опираясь на нее, искали и находили (правда, лишь тронноприемлемое) обоснование ей, что, в общем, характерно для философов древности и античных времен, либо, как свойственно философам новейших времен, пребывая в окружении все той же реальности, прилагали (как прилагают и ныне) усилия к обелению этой реальности, переводя действительность из прямого восприятия в мир многообещающих и загадочных символов, за которыми, если сорвать это разукрашенное покрывало, обнажится все та же поддержка или услужливость тронам. Детство человечества, как именуют иногда древнейшие времена, да и античность, являющаяся прямой праматерью сложившихся ныне общественных отношений, праматерью достигшего чуть ли не полного совершенства (в человеконенавистничестве) социального и нравственного (хищнического) мироустройства, — детство человечества, как и всякое, наверное, детство, являло собой куда большую прямоту, непосредственность и откровение (я не в смысле похвалы говорю об этом), чем наш современный мир «взрослых дядей», поднаторевших не только в свершениях невиданно-масштабных злодеяний, но главным образом в искусстве перелицовывать эти свои злодеяния и подавать их для потребления (для восприятия) людскому сообществу как еще и еще шаг к достижению того самого «общего блага», которое, если обратиться к его неизменной в веках сущности, всегда было и остается лишь благом для властей предрержащих, для обитателей дворцов и храмов, наловчившихся собираться в государственность для достижения своих целей, как охарактеризовал это явление (в положительном или, вернее, одобрительном плане) Аристотель, и что, если присмотреться к исторической и текущей действительности, характерным было как в доаристотелевские, аристотелевские, так и в нынешние времена, времена новой и новейшей истории. Да, философы античного мира, и прежде всего Сократ, Платон, Аристотель, положившие, по существу, начало научному толкованию общественных отношений и общественного бытия, не были — каждый для своего времени — ни идеалистами, ни материалистами, а стремились лишь к одному — реалистической оценке реальностей бытия, о чем прежде всего говорят их труды, пережившие тысячелетия и, на удивление, если, конечно, мы не разучились еще удивляться и изумляться, представляющие и сегодня столь же свежими и столь же реально отражающими суть нынешней жизни, как они отражали суть современного им рабовладельческого строя с его монархическими, аристократическими (олигархическими), демократическими (то есть опять же олигархическими) системами власти; можно, конечно, предположить, что эти выдающиеся мудрецы античного мира были всего лишь угодниками господствовавшего тогда уже повсюду (во всяком случае, на обширнейших просторах Присредиземноморья) хищнического мироустройства, но, возможно, они уже знали или смогли вычислить, насколько властным и бессмертным в веках окажется стержень господства и рабства, однажды исшедший из пределов Египта на человечество, и, почувствовав бессилие человечества перед этим монстром, монстром хищничества (в чем они, как будет показано выше, оказались более чем провидцами), всего лишь в доступной их пониманию форме стремились приоткрыть завесу над правдой времен.

XXXIX

Видит Бог, я не задавался целью исследовать развитие философской мысли, как оно проходило в веках, ибо тема эта столь обширна, что заслуживает куда более объемного и углубленного рассмотрения, чем позволяют границы этого труда; но вместе с тем, чтобы читатель мог яснее понять суть разбираемых здесь вопросов, думаю, было бы неправомерно ограничиться лишь упоминанием имен и трудов тех древнегреческих философов — Сократа, Платона, Аристотеля, — которые, как уже говорилось в предыдущей главе, не сориентировались в -истах и -измах, коими будут оцениваться их учения, но вполне со-

риентировавшись в неизменности окружавшего их бытия (неизменности стержня господства и рабства, стержня хищничества), стали не просто основоположниками философии как науки об общественном бытии и общественных отношениях, но и своего рода теоретиками-провидцами и строителями современного нам мира все с теми же войнами, насилием, закабалением, экономическими и духовными экспансиями и той же со стержнем господства и рабства государственностью, прикрытой лишь попоной из новейших от капитализма, социализма, коммунизма демократий. Платон считал себя учеником Сократа, но при этом не только не стал его последователем, а, напротив (и случай этот, пожалуй, редчайший, если не исключительный, когда учение не вытекает из предыдущего учения, а противоречит или даже откровенно противостоит ему), решительно отверг главную суть учения — диалектический метод познания истины, отнеся его к разряду умозрительных, не способных приводить к искомому результату (чуть ниже мы еще вернемся к разговору об этом методе); Аристотель же, получивший знания в Платоновой академии и назвавший себя учеником Платона, словно бы в поддержку некоей установившейся будто бы уже традиции, тоже начал с возражений учителю, но возражения его носили уже совсем иной характер и были не по существу, как у Платона Сократу, а лишь в русле больших ли, меньших ли уточнений и разъяснений, не разбивавших, не опровергавших, а только подкреплявших (иногда самым неожиданным и не сразу уловимым образом) главную мысль учителя о государстве и государственности. Великие учения, если присмотреться к истории, никогда не возникали и не возникают на голом месте, но всегда вытекают из предшествовавших им столь же великих учений, и Аристотель, продемонстрировавший этот вариант миру, не случайно и неспроста продемонстрировал его, ибо тогда уже понимал, что живучесть любого учения всегда прямо пропорциональна заложенному в нем тронугодничеству; так ли, не так ли это, но опять же давайте вернемся к фактам и зададимся вопросом: почему учение Сократа не получило развития, хотя диалектический метод познания мог бы тогда уже привести к открытию все еще и донныне находящейся в поисках истины, и почему Платонову академию в течение девяти с лишним столетий никто из правителей даже не порывался закрыть или запретить (она была закрыта лишь императором Юстинианом в 529 году н. э., и не как противоречившая социальным устоям жизни, но как рассадник язычества в эпоху укрепившегося уже христианства), как, впрочем, и Аристотелева школа — Ликей (лицей), — которая действовала и процветала, определяя на протяжении столетий направление и характер наших познаний? Метод Сократа, если, отойдя от научной терминологии, обратиться к простым и доступным, народным понятиям, являл собой, как, впрочем, являет и ныне, простейшую житейскую мудрость, когда путем наводящих вопросов мужик добирался до сути интересующего его дела или события; да, сократовская диалектика на поверку есть всего лишь вытяжка из самых разнообразных атрибутов и потребностей обиходного нашего бытия, то есть из той житейщины, которая, несмотря на всю свою унизительную второразрядность по сравнению с наукой, поставленной в положение эталона и диктатора над ней, несет в себе и сегодня весь заряд открытых и неоткрытых (непризнаваемых, с одной стороны, лишь по скромности, а с другой — по традиционной задавленности) возможностей и методов познания бытия. Но пока житейщина (что равно относится как ко временам Сократа, так и к нынешним) остается житейщиной, то есть пока опыт крестьянской, мужицкой жизни, опыт жизни простолюдинов с их простейшими вроде бы, но способными к глубокому проникновению методами восприятия и познания бытия не выходит за рамки частных, семейных или общинных потребностей, — троны ведут себя спокойно, сдержанно; все, что происходит на уровне «корней травы» и именуется народной жизнью (стало именоваться, вернее сказать, хотя многими все еще произносится с пренебрежением, сквозь зубы), пусть происходит, ибо так было всегда, такова формула выживаемости масс, оставляющая их вечными простолюдинами; но как только граница познания начинает выходить за порог крестьянской избы, за плетень, огораживающий двор, за околицу деревни или любого иного поселения и вторгаться в сферу влияния дворцов и храмов, именуемых и донныне в народе не иначе как исчадиями насилия и порабощения, как только тронам, обложенным легендами не-

прикосновенности, создается угроза разоблачения (с помощью наводящих, а по существу, запретных вопросов), коронованные особы не скупятся на самые кровавые меры пресечения. Нам с нашей, может быть, самой драматической национальной историей, когда главный престол власти на протяжении более десяти веков занимали сначала так называемые «призванные» и затем «избранные» чужеродцы, — нам с нашей историей не надо далеко ходить за подтверждающими примерами, ибо запрет на наводящие вопросы у нас существовал всегда; он порождался, во-первых, уже самим беспробудным бесправием (крепостничеством), в каком находился да во многом находится и сегодня коренной славянский и не только славянский люд, во-вторых, кастовостью, или сословностью (благороднорожденные, то есть дворянство, получавшее все и ныне опять готовое к возрождению, и подлорожденные, то есть простой люд, которому и при нынешних переменах опять указано место), и, в-третьих, запретами официальными и церковными, нарушение которых каралось казнями и ГУЛАГами, и запретом просветительским, если так позволительно будет сказать, коим иногда прямо, как сделал это Лев Толстой, поучавший не задаваться вопросами «что такое жизнь?» и «что есть человек в ней?», поскольку-де разум человеческий не способен ответить на них, иногда через реалистические картины или символические образы, исподволь вроде бы, но настойчиво внушавшие простолудину, что мир божествен и незыблем и совершенствование его — не дело рук человека, то есть простонародия, как должно бы прочитываться это словосочетание, если обнажить заложенный в нем подтекст. Сократ же как раз и оказался тем мыслителем, который решился переступить этот тронный или троннонеписанный, что было бы точнее, запрет; с самым что ни на есть житейским опытом познания — познания с помощью наводящих вопросов — он не просто вышел за пределы хижин, но вторгся в тот запретный мир дворцов и храмов, мир коронованных особ и их высокородной и чиновной челяди, в котором, как яд у определенного рода хищников, вырабатывались, как вырабатываются и ныне для народов, каноны светского и духовного порабощения; он не писал трудов, но огромные толпы афинян, особенно молодых, стекались на площадь, чтобы услышать этого человека, этого самородного мудреца, который постановкой простых и понятных житейских вопросов, то есть взятым из народа методом познания (поименованным затем наукой диалектическим и до такой степени размытым в этом научном термине, что теперь уже и концов не найти в нем от первоначальной, исходной заданности), — да, этим простейшим житейским методом столь виртуозно, иначе не скажешь, а главное, принародно рачищал подступы и завалы к тайнам тайн общественного (тронноисходного, троннозаданного) бытия, что, возможно, оставалось только открыть последнюю дверь, чтобы постичь рукотворную суть (фараоновско-рукотворную) господствовавшего или, вернее, набравшего всеземное господство хищнического мироустройства. С какой долей достоверности были позднее изложены эти знаменитые публичные речи Сократа его учениками, трудно судить; трудно уже потому, что ученики вкупе с Платоном не развивали, а опровергали своего беспримерного учителя (да ведь и Иисус Христос только изрекал истины, но не написал ни одной строчки, и учение его, евангельски изложенное апостолами по памяти, более выглядит апостольским, то есть отраженным от оригинала, чем оригиналом); но если оценивать по количеству слушателей, собиравшихся в центре Афин, воздействию произносившихся Сократом истин и реакции правителей на эти речи, приговоривших тридцатилетнего философа к смертной казни (его заставили выпить яд), то вся расплывчатая картина обретает четкие и ясные очертания, возвеличивающие Сократа и как мыслителя, ступившего на путь познания истины, и как первого (в длинном ряду всех казненных затем и сожженных на кострах так называемых еретиков) страдальца, предпочевшего умереть за истину, чем жить с отказом от ее поисков.

XL

Пусть простят меня толкователи и биографы знаменитейшего древнегреческого философа, если я скажу, что Платон не столько был учеником Сократа, сколько учеником его печальной судьбы. Казнь Сократа был, несомнен-

но, преподан тогдашнему обществу (да и на тысячелетия вперед) поучительный пример дозволенности и недозволенности; не то чтобы перед стопами рабов, но перед стопами свободных по тогдашним «демократическим» понятиям граждан была проведена черта, жестко (и, как оказалось, почти навсегда) ограничившая область народного, скажем так, познания, и Платон, четко уловивший значение этой черты и не пожелавший испытывать судьбу сократовскими наводящими вопросами, принялся не исследовать, а толковать (с оглядкой, разумеется, на властителей, всюду восседавших на тронах и ни при каких обстоятельствах не собиравшихся покидать их) мир и миропорядок в нем, поддерживавшийся войнами, насилием и закабалением народов и личностей. Черта познания, еще с фараоновских времен, если быть точными, ограничивавшая доступ людских масс к знаниям, за которую попытался было шагнуть Сократ, стала для Платона той непреодолимой крепостной стеной, на которой, он понимал, можно было только погибнуть, не успев даже проявить героизма, и вместо бессмысленного штурма (наверное, я несколько своевольничая в образном представлении происходившего, но только в образном, а не по сути) он, может быть, даже к своему удивлению, прильнув спиной к стене и максимально отпустив воображение, принялся истолковывать то, что было перед ним, вернее, что от горизонта, то есть от древнейших времен, подступало к его ногам и, в свою очередь, от ног, от состояния текущего бытия простиралось к далям распаханного (до допустимой черты) прошлого. Там, в ушедших веках, таилась истина; таились объяснение настоящего и предначертанность будущего, и Платон ничуть не хуже, чем мы сегодня, умеющие, кстати, только приносить сию аксиому жизни, но не опираться на нее в решении насущных проблем государства, семьи, личности, знал об этом; он стоял перед выбором, по какому пути пойти ему, по пути служения человечеству, когда истина добывается умом, волей и мужеством, иногда даже ценой жизни, а не кабинетно, выражаясь языком современности, «высиживается» пусть даже самым изощренным интеллектом, то есть черпается из потока воображения, или по пути служения тронам, служения хищническому мироустройству (нельзя же в конце концов полагать, что Платон не понимал реальных основ окружавшего его бытия), когда за истиной можно и не погружаться в глубь веков и не исследовать страну пирамид как режим или систему государственности, породившую зло (да, может, не так уж и важно было для него, откуда изошло зло, когда оно, набрав силу, повсеместно господствовало и подавляло), а следует только, приняв существующий порядок вещей за предначертанную неизбежность (тоже ведь своего рода реализм), приступить к толкованию ее как вечной и неизменной истины, вечной и неизменной системы господства и рабства. Платон избрал именно этот, второй путь, и, думаю не только потому, что пользоваться славой прижизненной и посмертной всегда лучше, чем только посмертной, но и потому, что из кладезя воображения можно без особых на то усилий извлекать любую и на любой вкус и потребу истину, источник этот неисчерпаем (при этом выдумку, то есть откровенную ложь, всегда можно подогнать под правдоподобие, а то и под неопровержимую правду), тогда как в глубине веков скрыта только одна истина, да и та чревата такой взрывной силой, что никакие венценосные мироустроители как прошлых, так и нынешних времен просто не позволят даже прикоснуться к ней. Основоположник «объективного идеализма» (вот уж термин так термин, столь наученный, словно налива пытаешься ухватить в мутной воде), Платон, если разобратся, был и, возможно, остается самым реалистичем из всех когда-либо именовавших и именующих себя реалистами и материалистами философов; он, да, именно он открыл для использования тот ложный путь к познанию, которым, отрицая его, пользовались и продолжают пользоваться все или почти все толкователи норм и принципов общественного бытия и общественных отношений, выстраивая свои учения по методу разоблачения и ниспровержения одних ложных доктрин (некогда высказанных, разумеется, в пользу хищнического мироустройства, в пользу бессмертного стержня господства и рабства), извлеченных из бездонного кладезя игры ума и воображения, другими такими же ложными извлечениями и в пользу все тех же тронов, а мир как пребывал в трагическом тупике и хищническом остервенении, так и продолжает пребывать в

нем. Это реалист Платон, присмотревшись (от крепостной стены запрета) и оценив степень неизбежности существующего порядка вещей, объяснил миру людей, что общественное устройство, какое они создали для себя и в каком живут (просчет лишь в том, что он не уточнил сословную — венценосную — принадлежность устройств), то есть государственность как система, определяющая суть общественного бытия и общественных отношений, построена (я понимаю, что повторюсь здесь, но не вижу возможности, как избежать этого повтора) по самому элементарному и доступному для восприятия каждому принципу разрядности: правители (философы), воины (стражи, чиновники) и ремесленники и земледельцы, и что наивысшей гармонией при таком раскладе является полная автономность жизни разрядов, когда все должны работать вроде бы на государство, но каждый довольствоваться своей участью, то есть выполнять свои обязанности и не вмешиваться в функции других, стоящих ступенями выше. Думаю, излишне объяснять здесь, ибо объяснено уже выше, насколько эта Платонова разрядность отражала тогдашнюю действительность и отражает нынешнюю; и дело, конечно же, не в том, что основоположник «объективного идеализма» предначертал, может быть, сам того не подозревая, путь развития человечества (ведь мы жили и живем в согласии с этой предначертанностью), — нет, дело не в том, что он зафиксировал, да, именно зафиксировал то, что характерным было для той и остается характерным для нашей действительности, зафиксировал (не возмутился, не возразил, не призвал к бунту, а зафиксировал), как истинный реалист, состояние окружающей его жизни, тогда как мы, считающие себя подлинными реалистами, отрицающая разрядность (сословность) как неприемлемую, ущемляющую права человека систему общественного бытия и общественных отношений (и теоретически, и вроде бы по жизни), не замечаем или не хотим замечать, что то, что властно вступает на смену низлагаемых нами формаций, несет в себе еще более жесткую и непримиримую разрядность (сословность), а все дело в том, что нам с нашим тупиковым реализмом надо еще догонять и догонять «объективного идеалиста» Платона. Он писал о том, что видел, что реально существовало и существовало уже в веках, и обращался к кладезю воображения только затем, чтобы обобщить и преобразовать увиденное и познанное в стройную и понятную всем систему образов, тогда как все или почти все последующие философы, начиная с Аристотеля (чуть ниже мы еще вернемся к нему) и завершая нынешними, обращались и обращаются к кладезю воображения уже не для того, чтобы обобщить и образно преподнести миру суть современного бытия (в таком случае все мы давно бы уже поняли, что живем по Платону, а не по Марксу или каким-либо еще современным доктринам), но для того, чтобы, осмыслив и опровергнув (как можно ловчее) Платонов реализм (Платонов «объективный идеализм»), предложить свою так называемую «реалистическую», но не соответствующую реальностям бытия концепцию мироустройства и повластвовать и покрасоваться в лучах утопических (разорительных) идеалов и предначертаний. Не кто иной, как Платон, пытавшийся фигурально изобразить общественное устройство бытия, обратился к пирамиде как к наиболее реальному и точному (объемному) выражению окружающего его мира насилия и войн; и обращение это не случайно, ибо пирамида, как она задумывалась фараонами, являла собой не только символ власти (значение усыпальницы — это не главное, это лишь фасад для обозрения и устрашения входящих в жизнь и уходящих из жизни поколений рабов), но и закодированный, как это блестяще показал основатель «объективного идеализма», макет системы господства и рабства, макет той самой государственности, основанной на абсолютизме власти и абсолютизме подавления, на законах хищничества, которая, задушив и поглотив все иные, возводившиеся на началах добронравия и миролюбия самобытные системы устройства жизни, дошла почти в неизменности (неизменности в своей стержневой основе) до нас и продолжает владычествовать, по второму, а местами уже по третьему и четвертому кругу обескровливая и без того уже обескровленные и материально, и духовно народы континентов и стран. Жизнь людского сообщества в изображении Платона, как и пирамида, основанием своим лежит на земле; и именно здесь, у основания, то есть на земле (и, конечно же, рабами или простолюдина-

ми, как надо полагать), творится благо, которое восходит к острию пирамиды, устремленному в небо, и на этом-то острие, как утверждает философ, располагается высшая «идея» («идея-благо», или «общее благо», как эту «идею» начал называть уже Аристотель); и хотя эта высшая «идея» вроде бы напрямую не символизирует власть или трон, но если вникнуть поглубже в пояснения Платона, из которых следует, что едва ли кто поможет «дотянуться умом» до этой высшей «идеи», ибо только она дает понятие вещам и управляет созданием благ, а по сути, властвует над миром, то тронная ее принадлежность становится более чем ясна. Расшифровав пирамиду-усыпальницу как пирамиду жизни, пирамиду государственного устройства, то есть представив ее как форму человеческого бытия (как систему взаимоотношений личностей и народов, поскольку на вершине пирамиды при достижении мирового господства может воссесть народ, хищнически поименовавший себя «богоизбранным»), Платон лишь затвердил или обосновал теоретически то, что существовало уже на протяжении веков, было неколебимым при нем и не поколебалось, а, напротив, только еще более усовершенствовалось в войнах, коварствах, насилиях, закабалениях к концу нашего двадцатого от Рождества Христова «просвещенного» столетия, и точно так же, как при Платоне, до и после него, — точно так же и рабами же, если внимательной присмотреться к сути текущего бытия, к системе процветающих ныне общественных отношений (рабами, уточню, финансовых и промышленных олигархических кланов, узурпировавших право владеть и распоряжаться богатством земли и судьбами народов), благо создается у подножия пирамиды жизни и подается к вершине, к самому ее тронному острию, и в соответствии с этим процессом — чем выше поднимается благо от создающих его, тем уже пространство и плотнее насыщенность и тем больше достается его чиновному и вельможному потребителю, родовито или по степени тронугодничества рассевавшемуся на иерархической лестнице власти. Кто может сказать, что современное общество с его превалирующими демократическими устройствами государств, как, впрочем, и с любыми иными устройствами и режимами, — кто может сказать, что современный мир живет не по расшифрованной Платоном фараоновской (пирамидной) заданности господства и рабства? Рабы, творящие благо, как были, так и остаются без благ, придавленные тяжестью каменных пирамид, а трудом их по мере восхождения к острию, к трону (и чем выше, тем обильнее достаток и власть), пользуются все те же извечные — высокородные и «богоизбранные» — угодники тронов и коронованные или «избранные» вроде бы от простолудинов, а по сути, от «золотого тельца» вожди, премьеры, президенты, «отцы народов»; мир в стержневой своей основе, к сожалению, ни на шаг не отделился от заложенной в бытие фараонами Египта абсолютистской державности, и среди главных причин такой ужасающей статики является, с одной стороны, продолжающийся и ныне венценосный запрет на сократов, способных добраться до той единственной, исходной истины, которая сокрыта в веках под стойбищами пирамид, и венценосное поощрительство платонов (платонов-оборотней, если по нынешним временам), которые готовы из кладезя воображения достать любую, угодную тронам, то есть нужную для обмана и оглушения масс, «правду». Ведь, отвергая Платона, мы бьем не по живому его учению, а по груше, повешенной для битья (для наращивания тронных мускулов), тогда как настоящий Платон, Платон-реалист, этот засекреченный теоретик торжествующей ныне повсюду системы господства и рабства, — Платон-теоретик был и остается самым великим и чтимым (скрытно великим и скрытно чтимым во дворцах и храмах) оракулом и гарантом для венценосцев в могуществе и незыблемости их тронов.

XLI

Правомерно ли, неправоммерно ли, но я прихожу к выводу, что, да, тот Платон, что на поверхности и которого бьем, — это не тот настоящий Платон, который теоретически обосновал фараоновскую формулу власти, формулу государственности, а если обобщенней — формулу хищнического мироустройства, хищнического (вампирского) обескровливания и подавления масс; вслед за фа-

раонами Египта, преподавшими мировому сообществу (главное, ученикам-венценосцам, бравшимся и берущимся руководить миром) наглядный урок абсолютистской державности, когда одни, «богоизбранные», безоговорочно властвуют, а другие, подлорожденные, столь же безоговорочно несут бремя рабства,— вслед за фараонами Египта, коих человечество с полным основанием могло бы назвать первопроходцами зла, Платон с тем же основанием может считаться первым теоретиком этого всемирно господствующего ныне над личностями и народами тиранства; он, как айсберг, плавающий в океане веков и людских судеб, чья убойная сила, всегда остающаяся скрытой от глаз, была и есть (и именно тем, что скрыта, что объявлена идеализмом, хотя и одобренным посылкой об объективности) самая разрушительная для свободно, самобытно развивающихся, вернее, желавших самобытно развиваться личностей, народов и рас. Самый естественным было бы возмутиться народам, массам и, воздав должное теоретику фараоновского стержня господства и рабства и наказав правителей, как они наказали Сократа, приняться за переустройство навязанного миропорядка; но, как видим, этого не произошло ни тогда, как не происходит и теперь, и не случайно, ибо странное и не поддающееся вроде бы логическому объяснению явление это имеет, однако, вполне реальное обоснование. Ведь уже древние греки, вошедшие в историю как «великие демократы»,— уже они отвергали любую попытку сравнить их «демократическое» устройство со стержнем фараоновского господства и рабства, тем более перекидывать мостик между своей и древнеегипетской государственностью; отрицание греками фараоновского начала дало толчок вообще к отрицаниям подобного рода исторической преемственности, словно на нильской земле никогда не существовало ни самодержцев, ни пирамид и каждый являвшийся миру новый правитель — основатель империи или республики, подвигаемый будто бы «благими» намерениями относительно поработаемого им люда, сам и по своему усмотрению возводил власть; идея новизны тут же внушалась, а чаще навязывалась под страхом расправы и казни должному покориться населению, и статичность, то есть преемственность и незыблемость фараоновских устоев, обряженных в новые позолоты, продолжала оставаться все той же угнетающей и поработачивающей массы простолодинов статичностью. Конечно, я понимаю, что в предлагаемых здесь рассуждениях не все гладко, не во всем сходятся концы с концами; с одной стороны, Платон необходим венценосцам как теоретик державности, а с другой — опасен в своих откровениях как источник прозрения и возмущения масс, и, видимо, чтобы примирить непримиримое, как раз и явился для характеристики его учения образ айсберга, когда, как по ватерлинии над водой, для обозрения — невинность, а в глубине — троннозащитная или тронновозводящая мощь; ведь все в народе вроде бы знают и признают, что Платон велик как философ, но мало, очень мало кто может сказать, в чем именно заключается величие его учения, поименованное наукой «объективным идеализмом», если идеализм как метод познания и толкования мира считается глубоко антинаучным и даже чуть ли не порочным. Вызывает недоумение или по крайней мере должно вызывать недоумение и то обстоятельство, что Платонова академия, созданная самим философом для обнародования своих открытий,— академия эта, несмотря на двойственное воздействие распространяемых ею знаний (как порох для защиты, оставленный у очага), смогла без каких-либо видимых притеснений просуществовать без малого целое тысячелетие. Странно? Однако парадокс этот, если вдуматься, только кажется парадоксом; на самом же деле никакого парадокса нет, а есть лишь глубоко продуманная система обмана (того самого обмана, на каком позднее возникли такие могущественные религии, как христианство и мусульманство), когда истина, остающаяся истиной для посвященных, для властей предержавших (в конце концов не Платон же, а Сократ был казнен), преподносится массам как некая невинная, вроде бы что-то содержащая, но вроде бы и не содержащая ничего исследовательская выкладка (что как раз и прочитывается за термином «объективный идеализм»), и посвященные, то есть власть предержавшие, продолжают возводить и возводить на фараоновских началах свои государства и учреждать в них неизменный фараоновский миропорядок (благо Платонова разработки всегда под рукой), а непосвя-

ценные, то есть простой люд, приученный лишь поклоняться иконостасным и царствующим кумирам как божествам, словно бы и в самом деле сошедшим с небес, чтобы по справедливости, а не из соображений хищничества руководить миром,— непосвященные, то есть простой люд, в духовности своей, то есть в смирении и послушании, сведенный до уровня глупых овечек, веками топчется на истине и, беспробудный в своем тысячелетнем обмане, не видит и не понимает ее. Думаю, нельзя исключить и такого оборота событий, что Платонова академия хотя и носила в веках имя своего учредителя, но учение, преподававшееся в ней, было уже не учением Платона в том первоначальном реалистическом значении, в каком вышло из-под пера философа, а, втиснутое в русло «объективного идеализма», пребывало для прикасавшихся к нему в роли евнуха, бесплодного к плодonoшению. То, что плодonoсило, то есть служило возвеличанию и укреплению тронов, было изъято из академических программ и перенесено в стены дворцов и храмов для познания и пользования их обитателей, а то, что традиционно продолжало еще считаться учением, но по сути представляло собой обескровленную и обезжизненную плоть, подавалось да и ныне продолжает подаваться на просветительский стол жизни. Подобная расщепленность, полагаю, вряд ли доставила бы удовлетворение Платону, увидевшему и изобразившему мир таким, каким он предстал перед ним в своем запрограммированно-пирамидном устройстве с высшей «идеей» («идеей-благо») на острие и ничтогой и рабским трудом и смирением у основания, или подножия; значение платоновского учения, если оценивать его не по шкале царедворной пригодности и царедворного отвержения, а по шкале непредвзятости и объективности, не может оцениваться лишь как теоретическое обоснование фараоновских начал бытия, или, как мы говорим сегодня, рабовладельческого строя, ибо уже тем, что приподнимало завесу над сутью власти и механизмом порабощения (пусть хотя бы и не в обличительном, а в утвердительном плане), должно занимать место в ряду самых великих по реалистическому подходу и изображению достижений древнего и текущего бытия. Как распорядилось человечество его учением, это уже не вина философа; миллионы людей и сегодня идут и едут на нильскую землю, чтобы поглазеть на пирамиды-усыпальницы, на эти каменные и давно уже будто омертвевшие символы власти, трепеща и преклоняясь перед былым могуществом фараонов, не подозревая даже, что возвышающиеся перед ними каменные громады не только не мертвы, но, храня в себе шифр (тайнство) власти, шифр (тайнство) незыблемости хищнического мироустройства, раскодированный в свое время Платоном и оскопленный затем венценосцами и философами последующих веков,— каменные громады эти не только не мертвы, но являются стержнем и сутью всего нашего текущего бытия. Следует также сказать, что заслуга Платона не исчерпывается только этим вышеозначенным реалистическим открытием; он, по сути, первым обратился к методу познания истины не путем поиска ее истоков (истоков усиления позиций зла и обретения им могущества в значении фараоновского стержня господства и рабства и истоков уступок и поражений добра перед наседавшим монстром насилия и порабощения), а лишь путем логических построений и выводов, и метод этот, метод предположений, облакаемых в абсолютную истину, примененный будто всего лишь против Сократа-мыслителя, а не против Сократа-троноразрушителя, был затем уже Аристотелем обращен против самого Платона, а с наслоением веков стал, к сожалению, тем единственно узаконенным «научным» методом (по крайней мере в области исследования общественных отношений и общественного бытия), к какому прибегали или, вернее, в колее которого работали и продолжают работать, опровергая опровергателей, мэтры от политических и философских высот.

XII

Аристотель начал познавать мир через учение Платона. Но, чтобы не стать в затылок учителю, а утвердиться в собственной значимости, ему следовало либо подвергнуть жесточайшему сомнению главные утверждения и выкладки Платона, либо найти такое опровержение, когда бы при видимости

решительных расхождений с учителем по основополагающим вопросам бытия, их реалистической сути, устраивавшей как правящую олигархию, так и олигархические, то есть родовитые и состоятельные, кланы, именовавшие себя свободными гражданами Афин, Фив, Пелопоннеса и т. д., — когда бы при очевидных расхождениях в асылках и доводах не перечеркивалась, а лишь подкреплялась новыми, более утонченными (по густоте «научного» славословия, «научных» терминов) и все так же приемлемыми для элитных и неэлитных верхов власти рассуждениями теория платоновской государственности. Надо сказать, что Аристотель, следовавший за Платоном, был в более выгодном (волею судьбы или волею истории) положении, чем его великий предшественник, и точно так же ему не нужно было заново открывать тот мир общественных отношений, мир общественного устройства, к объяснению которого подступал уже Сократ со своими наводящими вопросами и который почти тут же был объяснен Платоном, соединившим незыблемость мироустройства со значением пирамид, — не нужно было особенно напрягаться, чтобы найти способ, когда бы, отвергая (со всей видимой, повторю, решимостью) учение предшественника, отвергать, по сути, лишь неудачные формулировки, доводы и уточнять и заменять их. Аристотель (здесь следует, наверное, еще раз оговориться, что я беру лишь один аспект — духовный — из того многогранного круга вопросов, которые затрагивали и на которые пытались ответить в своих трудах великие античные философы), отвергнув пирамиду как форму бытия с ее всенаправляющей высшей «идеей» на острие («идеей» тронного блага) и рабским трудом у подножия, заменил ее не столько более упрощенной, сколько более абстрактной, а потому и менее понятной и доступной для восприятия, то есть менее открывающей суть или святость власти, системой рассуждений о государстве как о естественном и неизменном состоянии жизни людских сообществ. Платоновское деление людей на разряды — правители, воины, земледельцы и ремесленники — показалось ему, видимо, громоздким и неточным, и он предложил свою формулу, согласно которой любое общественное образование подразделялось не на правителей, воинов, земледельцев и ремесленников, а лишь на господ и рабов; «У господина — душа, у раба — тело», — утверждал Аристотель, приводя в доказательство, в сущности, единственный довод, что «душа должна господствовать над телом», поскольку-де «душа по своей природе — начало властное, тело — начало подчиненное»; с точки зрения современного взгляда на человека, на общественные отношения и общественное бытие рассуждения эти представляются нелепыми, дикими, если даже сравнить их с Платоновым «объективным идеализмом»; Аристотель не просто отошел назад от платоновского, пусть даже и примитивного, реализма, но первым, что следует особо подчеркнуть здесь, ступил на ту ставшую затем единственно «научной» стезю познания, двинувшись по которой (толпами, да, да, в веках и толпами) наука об общественных отношениях и общественном бытии превратилась из инструмента познания истины в инструмент наворачивания или, точнее, наслоения лжи, сквозь которую не только простому человеку, но и кумирам просветительства, воспитанным на узаконенных лжезнаниях, скорее бывает добраться до могилы, чем до истоков скрываемой истины. Я не думаю, чтобы современникам Аристотеля не был понятен или остался не замеченным ими этот маневр будущего великого мыслителя, ибо Аристотелева теория о людях, поделенных на носителей духа, то есть господ, и на обладателей плоти, тела, то есть рабов, была несостоятельна уже тем, что рабы не рождались только от рабов, но в них обращались и плененных господ, и плененных правителей, которые, как надо было понимать, сейчас же, едва надевали на них цепи, теряли начало духовное и обретали лишь тело, плоть (что вполне могло бы случиться и с самим Аристотелем); объяснить такое превращение нельзя, разумеется, ничем, кроме как насильем, а это уже шло не от естественного состояния или естественной предначертанности бытия, но от произвола человеческого разума, чему надо было искать новые пояснения, то есть наворачивать новые и новые напластования лжи. Если жизнь стагнировалась на хищническом мироустройстве, то наука о жизни, о сути общественных отношений и общественного бытия, на которую уповало и продолжает уповать человечество в поисках истины, — наука о жизни с легкой

руки античных мыслителей заикнулась, если так можно сказать, да, заикнулась лишь на объяснениях этой гнетущей человечество стагнации, изощряясь лишь в поисках правдоподобной аргументации, чтобы мир выглядел не таким, каков он есть, а таким, каким хотелось бы видеть его венценосцам и тронугодникам; стремление познать истину (возможно, что, кроме Сократа, ни у кого и не было такого стремления) вольно ли, невольно ли заменилось стремлением как можно ловчее приукрасить господствующий и доньне хищнический миропорядок, не затронув при этом (не разоблачив, главное) его основополагающих фараонодержавных начал, и этот очевидный сизифов труд, в какой позволила втянуть себя наука об общественных отношениях и общественном бытии, придавал и придает ей то обманное впечатление движения, будто, как и жизнь, она устремлена вперед в своем развитии, а не ввергает всех нас из столетия в столетие в элементарный обман, веря в который с каждой приходящей эпохой мы лишь подписываем себе новую кабалу. Да, к сожалению, к великому сожалению, мы только топчемся на месте, принимая видимость движения за само движение; еще не было в веках дня, чтобы девять десятых человечества не пребывало в нищете, страданиях, рабстве, тогда как все наши правители, философы, духовные наставники, берущиеся управлять миром, только наращивают завалы исторических и философских умствований, тут же, кстати, и оскопляемых идущими следом, то есть стоящими в затылок за властью правителями, философами, наставниками, а первоисток повсеместно господствующего зла — фараоновская державность — как был, так и остается нераспознаваемым и недостижимым для престололюдинов. Возможно, что критики Аристотеля — а у него, как и у Платона, были таковые, как они есть у каждого, кто берется возвысить свои воззрения над достижениями предшественников, хотя бы эти достижения и являлись достижениями веков, — критики эти, с сократовским еще упорством стремившиеся к постижению не временной, а абсолютной истины и полагавшие, что, выступая против того или иного претендующего на господство учения, выступают лишь против учителя, а не против правителей, стоящих за его спиной, одолеть которых обычно бывает все равно, что лечь в собственноручно вырытую могилу и закопаться в ней, — критики Аристотеля, имена которых усилиями тронных и околотронных особ давно и надежно вычеркнуты из истории и вытравлены из памяти поколений (как, впрочем, широко практикуется это и сегодня, особенно по отношению к деятелям от народа, от простолюдинов, труды которых подвергаются либо осмеянию, либо глухому замалчиванию, что равносильно отторжению этих людей как от процесса текущего, так и от процесса исторического развития), — да, возможно, что критики эти хотя и не с такой ясностью или не в таком откровении, как излагается здесь, но понимали, что в действительности представляло собой аристотелиевское учение как учение о сожигательстве господ и рабов, то есть носителей духа и обладателей плоти, застывшее в своей неизменности, и какой заряд стагнации преподносился этим учением грядущим поколениям людей; а если учесть, что при хищническом мироустройстве (что одинаково относится ко всем эпохам и всем правителям) побеждает не тот, кто прав, а тот, у кого власть и сила или, если приложить это положение к философам, историкам, политикам, тот, за кем стоят эти власть и сила (в конце концов мера оплаты за угодничество или, вернее, за предательство интересов масс всегда равна этой услуге или этому предательству), то как долгожительство Платоновой академии, так и долгожительство Аристотелевой вряд ли можно объяснить какой-либо еще значимостью, чем только неоплатным в веках, да, именно неоплатным тронугодничеством. Ведь Аристотель, как и Платон, искал не причину, перманентно порождающую и утверждающую системы господства и рабства, не исток этого зла, чтобы перекрыть его и оздоровить человечество, но хотел всего лишь узаконить на века, на эпохи и эры существующий порядок вещей, когда бы одни бесценно, по родовой, династической значимости, владели и правили миром, а другие — столь же бесценно и по родовой же, династической значимости владели жалкое (плотское или скотское, если точнее) существование; реализм этих философов был, по сути, не реализмом движения (развития), а реализмом стагнации, и все величие их нетленной мудрости состоит в том, что мудрость

эта и сегодня, разжиженная и обескровленная, то есть оскопленная до предела для восприятия простолюдинов, является в то же время хребтом, скелетом, основой всей ныне справляющей свое очередное торжество системы общественного мироустройства и общественных (хищнических) отношений, сопровождающих эту систему.

XLIII

Рассуждения Платона о высшей «идее» («идее-благо»), замыкающей вершину государственного устройства, точнее, устройства жизни, если принять их в том истинном значении, какое вкладывал в них философ, — рассуждения эти, как уже говорилось, хотя вроде бы и заключали в себе некую видимую абстрактность, но исходили из реального, подчеркиваю, реального восприятия мира и были и остаются вполне приложимыми к общественному бытию, тогда как Аристотель, отвергнувший трехрядную (трехслойную, или, если хотите, трехсословную) систему государственного устройства и заменивший ее своей, двухрядной, или двухслойной (двухсословной) — господа и рабы, — первым, и словно бы не замечая Платонова реализма, а видя в возвышении идеи как высшей «идеи-блага» лишь нечто неопределенное, абстрактное, во всех отношениях отстоящее от жизни (из чего, собственно, и выкристаллизовался позднее термин «объективный идеализм»), заявил, что вообще «идея» или «идеи» не существуют в природе сами по себе и уж тем более не восседают на вершинах пирамид, а имеют свою «плоть и кровь» и могут проявляться лишь в деяниях конкретных личностей или кланов личностей. Расширив понятие о государственности, он определил, что государства могут быть трех типов — с монархическим, аристократическим, то бишь олигархическим, и демократическим, а по сути, все тем же олигархическим правлением, или устройством (не хватает разве что республиканского, и тогда все казалось бы один к одному списанным с современности), и сопрягал эти типы или, точнее, выбор типов с состоянием (или перевесом) бедных и богатых, не задаваясь, разумеется, вопросом, откуда берутся бедные, почему их всегда несметное большинство и откуда богатые, восседающие на тронах и трущиеся возле них, и наконец, отчего бедные постоянно только беднеют, а богатые богатеют, ожесточаясь в проявлениях насилия и власти; вопросы эти, видимо, не представлялись Аристотелю важными, поскольку, на его взгляд, более естественного состояния жизни людских сообществ, чем только сожительство господ и рабов, не было и не могло быть, а отсюда, то есть из этого посыла, выводилась им и общая суть государственности как политической общности людей, «соединившихся для достижения общего блага». Вместо высшей «идеи-блага» является понятие «общего блага», а вместо пирамиды, увенчанной высшей «идеей» (троном), куда от подножия, от рабского труда, должно стекаться благо, является некая «общность людей» (господ, разумеется), «соединившихся для достижения общего блага»; отвергается вроде бы Платон, а если разобраться, всего лишь аранжировка запечатленной им реальной действительности, и предлагается взамен другая, более современная, гибкая и отвечающая интересам любых тронов, любой власти, причем настолько, что третье тысячелетие подряд, словно программа, заложенная в компьютер державности, не теряет ни актуальности формы, ни актуальности содержания. Люди, сговаривающиеся между собой для достижения «общего блага» (следует заметить, что понятие «общее», приставленное к понятию «благо», представляет собой всего лишь тот металлический предмет или шарик в руках фокусника, на каком сосредоточивается внимание зрителей, пока у них на глазах совершается простейшее волшебство; претенденты на трон и в высокородную околотронную челядь, захватывая власть, захватывают ее, как правило, для достижения собственного блага, а чтобы бархатно прикрыть это узурпаторское притязание, как раз и поднимают над толпой свой заданно-магический или, вернее, обладающий безосечным магнетизмом влияния инструмент обмана), — да, люди, а, по Аристотелю, это должны быть только свободные, состоятельные, родовитые, то есть заряженные как носители духа на господство личности и кланы личностей, сговариваясь для достижения, «общего блага»,

сговариваются, по сути, для захвата власти, дабы владеть богатствами, наработанными простолюдинами и рабами, и распоряжаться человеческими судьбами, судьбами народов, государств, и чем, спрашиваю я себя, такая схема мироустройства (кроме разве что гибкости и трафаретности, приемлемых для всех эпох, правителей и социальных систем), позволяющая закабалить и ограблять народы, отличается от расшифрованной Платоном пирамиды жизни? Ничем; именно ничем, ибо точно так же, как и по Платону, благо создается в низах, народом, рабами, и точно так же (по каналам узаконенного ограбления) стекается к одной точке, к трону, а в итоге создающие благо остаются без благ, хотя и трудятся вроде бы на достижение общей цели, а восседающие на тронах (династиями, как в прошлом, или по кланово-узаконенной преемственности, как теперь) с бесстыдством, индугированным Спасителем, или Творцом, роскошествуют в этом «общем благе», как если бы благо это, отдающее потом и кровью простолюдинов, было и в самом деле либо ниспосланной свыше «манной небесной», либо той Божьей милостью, какую с неиссякаемой щедростью Господь обязался одаривать их. Итак, государство, по Аристотелю, — это всего лишь некие свободные личности, объединившиеся или сговорившиеся между собой для достижения блага; не народ, не население, обитающее на том или ином пространстве Земли, которое, как записано в нашей да и не только в нашей историографии, собирается в некую общность и избирает царя, правителя, чтобы совместными усилиями и под началом своего избранника защититься от разорительных набегов, разбоев, грабежей, насилий и выработать законы, поддерживающие порядок и справедливость, то есть способствующие общему процветанию и благоденствию, — нет, нет и нет, ибо этот поверхностно-оправдательный посыл, по сути, ничего общего не имел и не имеет ни с исторической, ни с текущей действительностью (ведь если бы не было претендентов на власть и тем более на мировое господство, мир не знал бы ни грабительских нашествий, ни поработительских войн и людям незачем было бы собираться ни в воинственные толпы для нашествий, ни в столь же воинственные толпы для защиты семейных и национальных очагов, так что отнюдь не на поверхности лежат корни этого явления, именуемого государственностью, и его невозможно ни объяснить, ни оценить каким-либо односторонним или одноким утверждением); история показывает, что во все времена народ, простолюдины только притеснялись и обирались в пользу высокородных властвовавших господ, прежде сговаривавшихся для подобных насилий и ограблений и захватывавших или учреждавших троны, и какая разница, князь ли с дружиной, как было с появлением Рюриковичей у нас, царь ли с дворянством, вождь ли победившего пролетариата с партопричиной, «демократические» ли промышленно-банковские помазанники с роем сенаторов, думцев и ордами налогооблагателей, то есть чиновных воротил, воссевших под государственными флагами и не мыслящих себя иначе, как только плотью и духом сцементированной ими державности, — какая разница, когда, в какую эпоху, в античную ли, в средние ли века, в новейшие ли времена, действовал этот механизм насилия и ограбления и как он именовался, если суть такого мироустройства, расшифрованная Платоном и подправленная и отафареченная Аристотелем, как была, так и остается по заданности и свершениям неизменной. Претенденты на власть, то есть кровососущие захребетники или загривники на плоти и духе человечества, плоти и духе простолюдинов, как сговаривались раньше, так сговариваются и сегодня для достижения — по Аристотелю — «общего блага», и доказательством этого могут служить, с одной стороны, теневые, мафиозные, масонские объединения, структуры, ложи, называемые ныне криминальными, хотя в методах насилия и ограбления, как и в обоснованиях действий, у них нет или почти нет расхождений с легитимной властью (к теневому разряду насильников, кстати сказать, примыкали и всякого рода религиозные или, точнее, возникавшие на религиозных учениях так называемые рыцарские ордена — «меченосцев», «тевтонов», «тамплиеров», а также бесчисленно плодившиеся и продолжающие плодиться яхобы религиозные секты, общины, братства, предводители которых, дабы прибрать к рукам пожитки паствы, доводят ее до массовых самоубийств), а с другой — воинские дружины со своими разбойными кумирами, добывавшие

для себя мечом и огнем как в прошлом, так и теперь престолы среди своих ли, чужих ли народов, или вожди партий, бескровно будто бы, на одних лишь обманных посулах «достижения общих благ», но все с той же единственной целью обретения благ для себя восходящие на троны и укрепляющиеся на них. Такова правда прошлого, и такова правда действительности, и я представляю, какой шквал неприятия и критики обрушится на меня за эти если и не аксиоматичные, то, во всяком случае, искренние выкладки; но возразить — это еще не значит опровергнуть; ведь любые партии, если в разрезе по вертикали, в реалистическом разрезе, посмотреть на них, представляют собой не более чем группы лиц — потенциальных лидеров, — которые, сговорившись добыть для себя власть и обманно призвав народ к достижению «общего блага», тут же, как только власть оказывается в их руках, словно бы заряжаются фараоновской страстью к господству (хотя все ключевые посты в правительстве бывают ими заранее уже распределены), и общая жизнь людей самым беспардонным образом снова втискивается в то же русло насилий и ограблений, в каком протекала века, начиная со времен египетских пирамид, и течет, как видим, и сегодня. А между тем никому и в голову не приходит, что предтечей партий, предтечей этого охватившего человечество губельного, если не сказать самоубийственного, поветрия (два, три десятка заговорщиков, бросающих в народ зажигательные послы как сиюминутных, так и долговременных, грядущих благ, — вот вам и партия, и подавай ей власть, а, уж взяв власть, о благах для себя она сумеет позаботиться), — да, никому и в голову не приходит, что предтечей этого самого убийственного для народов (для простолюдинов, которым обычно отводится роль добытчиков власти и благ для заговорщиков) поветрия был и останется Аристотель; он столь же праотец современных партий, как праотец или прародитель всего ныне господствующего мироустройства, в котором партии, как некогда княжеские дружины или императорские армии, обретают главенствующее — буква к букве по Аристотелю — значение; ведь, как бы партии ни называли себя и на каких новоразработанных социальных и нравственных обманах ни выстраивали свои теоретические обоснования (не случайно же говорят, что новое есть хорошо забытое старое), все они действовали и действуют, то есть продолжают совершать свое узурпаторство по Аристотелю: лозунг — достижение «общего блага», истинная цель — захват власти и обретение благ для себя, и если бы люди, отдающие свои голоса за партии, а точнее, вручающие тем или иным партиям власть над собой, знали хотя бы долю истины о смысле и заданности тех, кто на их доверии рвется к власти, а это не так уж и трудно сделать, если приложить усилия (прочитать хотя бы Аристотеля не в пересказе, а в подлиннике и подумать над его текстом), то картина жизни могла бы быть совершенно иной (и с иной государственностью), чем мы видим ее теперь.

XLIV

Справочники по истории и философии говорят, что и после закрытия Аристотелева Ликей (Лицея) и Платоновой Академии Европа продолжала около полутора тысяч лет, то есть почти вплоть до восемнадцатого столетия, находиться под колпаком, если позволительно будет так выразиться, учений этих античных мудрецов. Но оттого, может быть, что эра классического реализма, когда в живописи, искусстве, литературе, музыке, как и в толкованиях общественного бытия и общественных отношений, воспроизводилось лишь то, что было в действительности, рабы назывались рабами, а их бесправие — бесправием, и никаких смягчающих покрывал еще не ткалось для приукрашивания этого чудовищного реализма, наложившего на души простолюдинов печать страха и преклонения (ведь на Руси и сегодня для простого человека каждый чиновник — царь и Бог), господа господствовали открыто, не стесняясь и не скрывая ни богатств, ни своей хищнической свирепости, насилие называлось насилием, власть — властью, расправа — расправой, беззаконие — беззаконием, — да, оттого, может быть, что эра классического, то есть реалистического, восприятия и отражения действительности, достигшая опасного пика разобла-

чения фараоновского господства, начала венценосно-запрограммированными личностями (в некотором роде и венценосно-запрограммированными народами) сводиться на нет и заменяться эрой символизма, открывавшего силам зла широчайшую возможность беспардонно обращать ложь в правду, а правду в ложь (межой этих все еще не завершившихся перемен можно считать возникновение таких религий, как христианство и мусульманство, когда даже орудие казни, обращенное в символ, стало восприниматься как благо мученичества во имя очищения и спасения),— последователи Платонова и Аристотелева учений вместо того, чтобы возмутиться миропорядком, не претерпевшим в стержневой основе никаких или почти никаких изменений со времен открытий великих античных философов, и вмешаться в процесс становления бытия, когда процесс этот более всего нуждался в подобном вмешательстве (как нуждаются в этом вообще эпохи перестройки и перемен), принялись лишь подобно археологам, откопавшим глиняный сосуд, истолковывать то, что было ключом к познанию как прошлого, так и современного укладов жизни и позволило бы человечеству выйти наконец на простор действительных, радикальных и разумных преобразований; но случилось то, что случилось, и как бы и кто бы ни становился на защиту новых и новейших толкователей и учителей жизни, но по итогам их так называемой научной деятельности (в области общественных отношений и общественного бытия, о чем только и идет здесь речь), к сожалению, можно прийти лишь к выводу, что они вольно ли, невольно ли, под давлением ли тронных и околотронных особ или по каким-либо еще не вполне ясным для нас, но вполне осознававшимся ими причинам не захотели увязывать платоновское и аристотелиевское учения с состоянием текущей действительности и, отдав предпочтение теоретизированию вместо дела, какое было предназначено совершить им, открыли тем самым человечеству вход в тупик (что, впрочем, как раз и позволило оторвать науку об общественных отношениях и общественном бытии от жизни и превратить ее в некий свод схоластических рассуждений, то есть в ту ложно-плодоносную ниву научных степеней и академических званий, на которой падали и продолжают падать, приходя на нее и погребаясь в ее опадающих пустоцветах, все новые и новые поколения обманутых и обманувшихся людей). Иначе говоря, между жизнью и ее толкованием была положена черта, которая, не деля, то есть не нарушая будто бы единство восприятия текущих процессов бытия, в то же время, с одной стороны, позволила тронам безгранично укрепляться в скрытой от масс и жизненно необходимой им стагнации (ведь власть тем и бессмертна, что меняется только в личностях, в персонах, принимающих ее на себя, но не в фараоновской, вернее, фараоноисходной сути), а с другой — создавала ту необходимую для прикрытия стагнации видимости движения (ученые спорят, отвергают, утверждают, доказывают — значит, мир не стоит на месте), когда вроде бы и колеса крутятся, и пейзаж меняется, и горизонт готов распахнуть двери в рай (ведь без надежд и устремлений человечество и столетия не продержалось бы в тех условиях, в каких со времен египетских пирамид приговорено жить), но проходят десятилетия, века, эпохи, а для каждого входящего в жизнь поколения все так же крутятся колеса, так же меняется (вроде бы меняется) пейзаж и таким же распахнутым в мираж надежд и свершений предстает горизонт, каким, лишь запечатлевшись в сознании миллионов и миллионов простолюдинов, уходил вместе с ними под холодные плиты могил. Конечно, я понимаю, душа не приемлет такой оценки ни нашего исторического, ни тем более текущего бытия, ибо оценка эта, во-первых, обесмысливает прежде столь ясный и вроде бы близкий нам (по исторической сопричастности) смысл человеческих усилий, стремлений и достижений (пейзаж изменился, да, да, изменился, достижения налицо) и, во-вторых, развенчиванием кумиров, точнее, венценосных устроителей мира, преподнесших нам столь странное благо жить вечно в системе господства и рабства (да и сможем ли мы теперь без преклонения, сможем ли вот так, росчерком пера, снять с себя тысячелетние наслоения веков?), — развенчивая коронованных устроителей и творцов мира, предлагает, по сути, изъять из храмов души те привычные нам иконостасы и алтари, с которыми мы как рождались в рабстве (рабы Божьи, паства, Божьи овечки), так и умирали и умираем, не ведая

ни истинного своего предназначения, ни своих прав и возможностей, а только боясь, как боимся и теперь, расстаться с этим, словно бы и в самом деле небесно-предначтанным нам «даром»; да, я понимаю, сколь неприемлема даже не сама оценка, основанная, кстати, на фактах и только фактах прошлой и окружающей нас ныне действительности, а те ужасающие, вернее, пугающие нас последствия, какие могут обрушиться после ее принятия (шутка ли, если человечество и впрямь возьмется за пересмотр истории и, вернувшись — теоретически, конечно же,— к изначальной самобытности народов, разрешит каждой нации у себя, по-своему и без навязывания своей духовности и своих социальных воззрений другим народам строить, утверждать и развивать миропорядок!); так или приблизительно так мы все думаем и чувствуем — еще и рабы консерватизма вдобавок к Божьему рабству, а если выразиться посовременней — заложники страха перед любой новизной, жаждущие перемен и боящиеся их, резво начинающие, но никогда не завершающие своих свободолюбивых начинаний, тогда как стоит только, отбросив предвзятость и сказочность, реалистически посмотреть окрест себя на мир и события, происходившие и происходящие в нем, как потребность избавления от гнета хищничества, от всеподавляющей системы господства и рабства и философских покрывал, сплетенных для ее оправдания, явится сама собой как самая насущная из насущных потребностей восстановления человеческого достоинства и человеческого бытия.

XLV

Однако вернемся к тем векам, когда, как утверждают исторические и философские справочники, учения Платона и Аристотеля были господствующими среди европейских да и не только европейских народов и когда под крышей, под прикрытием или, вернее, воздействием этих учений формировался известный нам сегодня как западноевропейский (я бы назвал его «новофараоновским») миропорядок, при котором стержень господства и рабства, то есть абсолютизм власти, оставаясь неприкосновенным, только еще более утверждался в своем бессмертии, а кровавые (революционные) и бескровные смены так называемых социальных режимов, бременем лжившиеся на народы и устрашавшие и отпугивавшие их от podobных лишенных будто бы смысла действий,— кровавые, как и бескровные, смены режимов, создававшие видимость обновления, и философские доктрины, бросавшиеся в массы и возбуждавшие их, подмятые под венценосный контроль, помогают и сегодня надежно удерживать мир в положении задаваемой тронами стагнации. Скрытность замыслов и мер, предпринимавшихся и предпринимаемых монархами (по-нынешнему: президентами, премьерами, генсеками, получающими вроде бы как от народа власть или по крайней мере с его согласия), не позволяет сказать с точностью, на какие или на чьи теоретические разработки они опирались и опираются, создавая свои империи и республики, что служило и продолжает служить им эталоном для подражания: древнеегипетский абсолютизм, греческая ли демократия, или римский имперский цезаризм, или же постплатоно-аристотелиевские царства, королевства, княжества, герцогства, калейдоскопом величин наводнявшие последние десять с лишним веков европейский простор, тогда как если обратиться к стержневой сути этих образчиков государственности и державности, к основополагающим канонам фараоновского господства и рабства, на коих они возводились, то, несмотря на всю видимую разноликость национально-самобытных вроде бы одеяний на них, они окажутся плодом одного и того же ишедшего однажды на обетованные земли древнеегипетского древа власти. Захотим ли мы признать это или не захотим, но действительность, хоть историческая, хоть текущая, всегда будет пребывать такой, какой была и есть, как бы мы ни истолковывали ее и сколько бы ни изощрялись в славословиях относительно постигавших будто бы человечество коренных ломок и перемен; логически выверенное и воображенное всегда будет оставаться лишь логически выверенным и воображенным, тогда как факты истории неумолимо говорят нам, что мировое сообщество племен и рас только однажды подверглось великому перелому, великому переустройству, и произошло это отнюдь не стихийно, как

пытаются доказать многие как явные, так и скрытые трюныгодники, не по стечению обстоятельств или непредсказуемой воле природы, а путем осмысленных и целенаправленных насилий, помеченных беспощадной жестокостью, как этой же жестокостью помечено все, что творили и продолжают творить венценосные личности и кланы личностей над безбрежными массами простолюдинов,— да, и еще раз да, человеческое сообщество подверглось такому всеохватному переустройству, когда был совершен первый исход фараоновской державности с обглоданных и обескровленных нильских берегов на соседствующие обетованные земли и когда после этого и последовавших за ним исходов повсюду, куда ни проникал этот хищнический миропорядок, мечом и огнем уничтожалась национальная самобытность народов, целые континенты обращались в рабство, а зарождавшиеся на этих континентах цивилизации миролюбия и добронравия заколачивались наглухо с удавкой на шее в тяжелые каменные гробы. Процесс этот, начавшийся не менее пяти или даже десяти тысячелетий назад, все еще продолжается и теперь; масштабы его столь велики, а оставляемый этим процессом след столь обгагрен кровью, что человечество, страшась ужасающего зрелища своих деяний, не смеет даже обернуться на них (отсюда и вся наша в общественных науках страусиная политика); но так ли, иначе ли, а наступит время, когда все же придется обернуться на этот кровавый след, ибо познание вымыслов — это не познание реальности; ведь задолго еще до уничтожения Карфагена «цивилизация» хищничества, ступившая на путь обладания миром, уже неслась в своем чреве этот жесточайший постулат: «Карфаген должен быть разрушен»; представляя собой систему насилия и разбоя, разбоя и насилия, она безоглядно подминала под себя все, что противостояло или могло потенциально (со стержнем добронравия) противостоять ей, и, добываясь безальтернативного, как мы бы сказали теперь, господства над миром людских сообществ (что, кстати, почти уже удалось совершить ей), действовала не только силой, но и обзаводилась искариотами (по десятку, два от каждого народа или, вернее, в каждом народе, в каждой стране), щедро оплачивая их угодническую на nive истории, философии, культуры, политики и просветительства искариотскую деятельность. Так вот она, сопровождавшая и сопровождающая нас историческая и текущая действительность, и что можно противопоставить этой правде? Разве что ложь, в которой живем и которую принимаем благодаря неустанным усилиям светских и духовных проповедников «знаний» за правду? Платон же и Аристотель, будучи реалистами (по крайней мере в понимании и толковании общественных отношений и общественного бытия), сделали лишь то, что было продиктовано им жизнью и что так ли, иначе ли, если бы даже они и не взялись за перо и не открыли для всеобщего обозрения жесточайшую истину продолжающего и ныне господствовать мироустройства, фараоновская государственность не остановила бы своего триумфального шествия по странам и континентам; ведь, кроме видимой эстафеты жизни, определяющей быт простолюдинов, и видимой эстафеты власти, регулирующей и направляющей деятельность венценосных особ, есть еще эстафеты незримые, эстафеты памяти, эстафеты традиций, эстафеты того или иного тронноуспешного прецедента, который ввиду явной своей античеловечности и порочности хотя и не предается огласке, но всегда (на случай) хранится в запаснике тронноприемлемых мер непокорных народов, и если на чем-то и зиждется бессмертие власти, бессмертие фараоновского стержня господства и рабства, то одним из главных столпов как раз и является столп сокрытия действий и незримости эстафет. Смирившись с потерей корон и тронов (в конце концов ведь дело не в обряде помазания, не в золото-каменных тяжестях, коими венчаются головы помазанных, не в блеске этих тяжестей и царских одежд, прикрывающих худобу ли, полноту ли вполне, впрочем, смертной, как и у всех нас, плоти), правители никогда не позволят себе смириться (добровольно смириться) с утратой даже самой малой крупницы власти, обретенной ими за века насилий и порабощений, и в этом плане эстафетная скрытность замыслов и деяний с каждым новым столетием обретала и продолжает обретать главное, если не главнейшее, значение. Сегодня даже оскопированные (трижды оскопированные) учения Платона и Аристотеля преподносятся лишь как некие исторические памятники, некие

лампадки, продолжающие еще подавать из глубины веков свой затухающий свет, который при накале электрических ламп нашей «цветущей» эры и разглядеть-то почти невозможно; ну, были такие античные философы, ну, восхваляли рабовладельческий строй, в чем-то и что-то идеализировали, где-то и в чем-то подступали к материалистическому восприятию, но мир-то уже не тот, не делится на господ и рабов в том прямом значении этих понятий, как делился прежде, не осталось или почти не осталось на Земле императоров, царей, королей, а правят президенты, премьеры, генсеки, люди конституционно уравниены в правах свободных будто бы граждан, так что и в самом деле при чем тут Платон и Аристотель со своими трактатами? Да при чем тут Платон и Аристотель, если то, что ежечасно, ежесекундно внушается нам, не имеет — в предложенных нам новейших понятиях — никакого отношения к минувшим в веках монархическим, олигархическим, демократическим (то есть опять же олигархическим) государственным устройствам, а слова «рабочий», «колхозник» в сочетании со словами «банкир», «нефтяной» или «промышленный магнат» никому и в голову не приходит увязать со словосочетанием «господство и рабство»; господство в нынешних бутафорских одеждах вроде бы уже и не господство в том значении, в каком оно проявлялось и воспринималось во времена античных и постантичных режимов, но словно бы некая объективная необходимость или потребность, некий будто бы естественный мотор или двигатель жизни, сформированный из особо одаренных и особо инициативных (и только, да, и только!) людей, которые, сговорившись, разумеется, не по-аристотелиевски и, уж конечно же, не для добывания себе власти и благ, решаются принять на себя ношу национальных, а теперь уже и общечеловеческих благодетелей (но разве монархи и прочие ...архи не объявляли себя «отцами народов» и радателями «общих благ»?), как, впрочем, и рабство, обложенное нимбом мнимых, бутафорских свобод, вроде бы уже и не рабство, а «великий» и «почетный» (изнурительный) труд во имя будто бы процветания наций и отечеств, как это сегодня подается и внушается простолюдинам, в то время как продолжают безудержно, как и во все прошлые времена, возводиться дворцы и храмы для поводырей, то есть пастырей и «отцов» наций, и небоскребы для магнатов «золотого тельца» и промышленных воротил, эстафетно — от эры фараоновских пирамид — удерживающих мир в послушании, нищете и невежестве. Не знаю, назовут ли когда-либо нашу эпоху (по аналогии) античной, а если и назовут, то с какой целью — уж не для того ли, чтобы объявить ложь и обман, царящие ныне во всем и повсюду, объявить эпоху символизма величайшим достижением человечества, — не знаю, не знаю, ибо все будет зависеть от того, насколько человечество окажется способным воспринять сей преподанный тронными и околотронными особами исторический урок; по крайней мере при нынешних «успехах» науки об общественных отношениях и общественном бытии, когда от реалистического толкования мироустройства, какое дали нам великие греки Платон и Аристотель, мы сумели лишь так плотно погрузиться в трясины пышных риторик и бессмысленных словоблудий вокруг второстепенных вопросов бытия (безусловно, имеющих определенное значение для общего понимания и познания мира и мироустройства), иначе говоря, настолько углубились в исследование побочных, вернее, сопутствующих, проблем жизни, что за ветвями и листьями, то есть за несметными ворохами работ «по направлениям» (поскольку будто бы лишь из слагаемых создается целое), уже и не разглядеть ствола или стержня, на котором держится и от которого получает развитие вся наша столь обколюченная вместо цветов и плодов крона общественного бытия.

XLVI

Еще и еще раз вынужден повторить, как требует этого ход изложения, что Платон и Аристотель дали самое реалистическое толкование мироустройству, в каком жили и какое господствовало среди народов Присредиземноморья, расширяясь в границах и множась в тронах; при этом они более чем прозорливо смогли увидеть и оценить ту заложенную в общественные отношения и общественное бытие скрытую статичность, вернее, ту силу фараоновских хищниче-

ских начал, силу фараоновского абсолютизма власти, которая, опираясь не столько на источник кровавых притеснений, сколько на источник духовного поражения, или заката, сможет до бесконечности, если не произойдет какой-либо непредвиденной осечки, удерживать и укреплять свое господствующее положение. Открыв для себя эту во многом остающуюся еще и сегодня для нас тайной величайшую истину тронов (истину власти, если хотите, или вечно-носно предложенную миру закономерность, согласно которой естественным состоянием простолюдинов являются лишь смирение и преклонение перед «богоизбранными» личностями, кланами личностей или объединившимися уже на основе расовой «богоизбранности» сообществами) и найдя ей прежде всего духовное обоснование: по Платону, это зашифрованная пирамида жизни с высшей «идеей-благое» на острие, дающей понятие вещам и явлениям и направляющей ход развития бытия, по Аристотелю — деление на носителей духа, то есть господ, и обладателей плоти, то есть рабов, и государственность как результат деяния личностей (свободных, разумеется, то есть господ), сговорившихся для «достижения общего блага», — найдя это духовное обоснование господству и рабству и утвердившись в неопровержимой правоте своего открытия, они затем, обратившись к познанию мира вещей и явлений, начали искать в нем не ту абсолютную истину или, вернее, закономерность, в рамках которой происходило, как происходит и сегодня, эволюционное развитие материи (тогда человек еще не вторгался со своим разрушительным, хищническим произволом в этот естественный для природы ход жизни), но лишь предметные подтверждения того, что было положено ими в основу их философских учений, то есть вытекало из принципов и закономерностей духовного бытия. Осознанно ли, неосознанно ли, но, уделив если не большее, то по крайней мере не меньшее внимание этим побочным исследованиям, без которых философские воззрения их не представляли бы той целостности, какую мы автоматически уже привыкли находить в них, великие греки тем самым распахнули, если сказать образно, для будущих толкователей общественных отношений и общественного бытия тот океанский простор для бесконечных (схоластических) споров, утверждений и рассуждений о значимости всего второстепенного, что всегда в обилии сопровождало и сопровождает человечество, особенно в сфере духовных поисков, по которому веками можно плыть и плыть и, уподобясь Колумбу, отыскивать Индию совсем не там, где она есть; ведь уже Платона и Аристотеля в их так называемом научном противостоянии разделяло не толкование главной истины, то есть сути постигнутого ими мироустройства со стержнем господства и рабства, но объясняющие и подкрепляющие эту суть опоры или, точнее, те взятые будто бы из материального мира «предметные подтверждения», которые, являясь большей частью догадками, вымыслами или логически выстроенными предположениями (что, однако, не лишало их определенной доли реалистичности), с наслоением веков настолько затмили, а затем и подменили (разумеется, не без указующего перста заинтересованных в этом тронов) собой главный предмет исследования — жизнь с ее хищническим мироустройством, повсюду прочно укрепившим свое господство, — исследованием производных от него и выполняющих лишь сопутствующую (хотя далеко и далеко не безвредную, как увидим ниже) роль явлений как материального, так и духовного порядка. Да, великие греческие мудрецы, как можно было бы еще назвать их, дали миру как бы на выбор два возможных направления движения — познать истину и пойти путем кардинального переустройства устоявшихся социальных и нравственных устоев в жизни людских сообществ или, окунувшись в мир схоластических споров, мир лжи и изощренных обманов, завести человечество в лабиринт сотен и сотен предполагаемых, мнимых истин и, заперев его в этом лабиринте, заставить наконец, на радость тронам, смириться с положением вечного рабства, как если бы и в самом деле участь эта была бы предначертана нам свыше; к сожалению, как показывает история, человечество если еще и не определилось окончательно в выборе, то по крайней мере, смещенное на путь символизма, путь раздоров, насилий, лжи, обманов и разорений, с каждым новым столетием и тысячелетием все глубже и глубже втягивается в гибельный для себя лабиринт утопических надежд и неосуществимых желаний. Да, как ни печально признавать

это, но мир движется именно по стезе хищничества, стезе насилий, лжи, обманов, войн и грабежей, и человечество, понимая, что оно уже более чем основательно загнано в безысходный лабиринт, продолжает, однако, упиваться той обольстительной надеждой, какою, не лентяя, каждый день на протяжении эпох подпитывают нас отцы-властители, отцы-проповедники, отцы-благодетели через религии, науки, культуру, давно и надежно обращенные ими из орудий познания и духовного оздоровления в орудия утонченного, вроде бы бескровного, но еще более эффективного и массового поражения людской воли; действительность для нас есть, по сути, правда ада, толкование же этой действительности есть искусно сотканная из обольстительных посулов и «научных» утверждений вуаль надежд, нежно прикрывающая истощенное, почти уже обескровленное чело человечества (я имею в виду простолюдинов, составляющих девять десятых населения Земли), и шелковистое прикосновение этой вуали на фоне нескончаемых страданий и бед, фоне нищеты и рабского бесправия как раз и есть тот тронновселенский обман, которым завораживают и с помощью которого из столетия в столетие погружают человечество в беспробудный сон. Я понимаю, что любое утверждение должно подкрепляться примерами исторической и текущей жизни; но ведь для отыскания подобных примеров совсем не обязательно рыться в хламe минувших или блеске текущих веков, ибо вся без исключения история развития человечества, к какому бы тысячелетию, столетию или десятилетию мы ни обратились, — вся история с ее большими и малыми катаклизмами представляет собой не что иное, как единый эстафетный монолит господства и рабства, монолит посулов, надежд и страданий, страданий, посулов и надежд, который с тронновнушенной нам гордостью мы называем цивилизацией и прогрессом. Возьмем древность, Египет — о чем говорят нам сегодня каменные пирамиды тех отживших веков? О господстве и рабстве. О чем повествуют раскопки величественных памятников восточного Присредиземноморья? О господстве и рабстве, некогда торжествовавших на этой обетованной земле. Памятники античной Греции — о том же; священного Рима — о том же; рабство если где-либо и когда-либо отменялось, то только на словах, тогда как на деле — разве не в просвещенный уже век столь кичащаяся ныне своей демократией Америка наводнялась рабами черного континента? Рабство не прерывалось, оно только модернизировалось в соответствии с модернизацией отживавших (будто бы отживавших) социальных формаций, что равно можно отнести как к древнейшим, так и к новейшим временам, включая и постплатонову и постаристотелеву средневековье, когда учения этих светил античности еще вроде бы основательно, как утверждают источники, владели умами европейцев (из тронных залов и королевских передних, следовало бы уточнить, где им был милостиво предоставлен приют) и когда под влиянием этих учений, если предположить лучший вариант, могли бы в полной мере открыться все вековые пороки хищнического мироустройства; однако история свидетельствует, что именно в средние века, когда общественные отношения и общественное бытие, то есть государственность как продукт этих отношений, пронизавших политику, экономику, науку, религию, культуру, получала или, вернее, должна была получить новое (будто бы новое в сравнении с эпохами священных империй) значение, — что именно в средние века, когда наука об общественных отношениях и общественном бытии еще не была столь засорена всевозможными «измами», как она засорена теперь, и реалист Платон, и реалист Аристотель еще могли, если бы не был оскоплен их реализм, повлиять самым решительным образом на развитие человеческой истории, да, именно в средние века обвалом новофилософских риторик была окончательно задавлена даже малейшая возможность реального подхода к исследованию истинных начал материального и духовного бытия. Жизнь, закупоренная в стагнационную — господство и рабство — оболочку, сообразовывалась лишь с новопараоновскими интересами тронов, а толкования о ней, то есть наука об общественных отношениях и общественном бытии, сбросив пути, приковывавшие ее к состоянию жизни людских сообществ, и почувствовав себя вроде бы свободной от каких-либо обязательств перед народами, на благо которых она трудилась в поте лица, — наука об общественных отношениях и общественном бытии,

окончательно утратив заложенное в ней значение собственно науки, начала обретать — вслед за историей, религией, культурой — значение служанки, или прислужницы, тронных и околотронных особ. Положение это она и сегодня прочно удерживает за собой, ибо все предлагавшиеся ею философские концепции и программы кардинальных переустройств, впечатлявшие и обнадёживавшие на словах, — все, все эти принимавшиеся к действию концепции и программы, как и в прошлые времена, завершались неизменным торжеством фараоновской системы господства и рабства. Мир нынешний — это всего лишь жалкая приукрашенная копия мира вчерашнего, мира средневековья и «священных империй», а вчерашний — копия с фараоновских хищнических начал (не случайно же в конце концов век древнеегипетских пирамид еще самими фараонами был назван «веком богов»), а потому нет ничего удивительного в том, что в самый разгар теоретических споров платонистов с приверженцами Аристотелева направления, когда, казалось, мир вот-вот, отбросив стихийность, выйдет на стезю строго научного развития, — в самый разгар этих теоретических споров жизнь людей, объединенных в системах господства и рабства, приблизилась как никогда в пышности дворцов и убожестве хижин к древнеегипетскому и греческо-римскому идеалам абсолютизма. Мир вроде бы уже не делился на господ и рабов в том классическом понимании, как он делился в античные и доантичные времена, но чем, позволено будет спросить, отличались династические режимы Бурбонов, Стюартов, Гогенцоллернов, правления бесчисленно сменявших друг друга Карлов, Генрихов, Людовиков, Филиппов, Фридрихов, Вильгельмов, титуловавшихся первыми, вторыми, третьими, двенадцатыми, пятнадцатыми, шестнадцатыми (хоть изменяй по ним летосчисление, как, впрочем, все еще сохраняется в Японии, где после каждого восшедшего на престол очередного монарха начинается новый календарный отсчет времени), — чем, позволено будет спросить, отличались эти режимы и правления от своих древнеегипетского, древнегреческого и древнеримского оригиналов? Разве что тем, что официально был уже отменен рабовладельческий строй и людское общество делилось теперь лишь по принципу родovitости и безродности (что в переводе на язык простолюдинов означает: «Что в лоб, что по лбу»), то есть на властей преержавших и бесправных, добровольно вроде бы присягавших служить государю и отечеству, а по сути, с рождения уже попадавших в полную рабскую зависимость от тронных и околотронных особ? Свобода названная — это не свобода действительная, как и служение государю — это не служение отечеству (чем риторически улажали души простолюдинов); именно в эпоху средневековья в европейских монархиях царил высший абсолютизм власти, а правящие Дворы, или Короны — Корона испанская, Корона французская, Корона английская, и т. д., — ломились от несметных (награбленных) богатств, в то время как подвластный им благочестивый (смертный) люд, считавшийся вроде бы свободным, пребывал, как, впрочем, во многом пребывает и теперь, в той же нищете и том же полном бесправии, в каком в свое время пребывали рабы Древнего Египта, античных Греции и Рима. Следы этого средневекового абсолютизма, как и следы древнеегипетского, запечатленного в стойбищах пирамид, или греческого и римского — в строениях храмов, дворцов и скульптурных изображениях богов и великих земных кумиров (их и сегодня вполне можно лицезреть, эти подтверждения могущества и насилия), — следы средневекового абсолютизма, воплощенные в беспредельной роскоши дворцов, храмов и в столь же беспредельной нищете хижин простолюдинов, как печать деяний, которые не стереть в веках, так и лежат доныне на ликах столиц и ликах провинций бывших средневековых «просвещенных» монархий, а сегодня — столь же «просвещенных» демократических республик старой и доброй, если в хищничестве вообще возможно такое понятие, Европы.

XLVII

Есть две оценки развития философской мысли в постплатоновы и постаристотелевы (я имею в виду: от средневековья до наших дней) времена; если судить по обилию трудов, отяготивших архивные полки, или по коли-

честву зачисленных в знаменитости личностей, работавших на ниве познания и толкования общественных отношений и общественного бытия, то можно сделать только тот вывод, что никогда в прошлом философская наука не развивалась так бурно, как в этот именно период, обозначенный, с одной стороны, пиком монархического абсолютизма, а с другой — революционными волнениями масс (многим тогда казалось, как, впрочем, продолжает казаться и теперь, что вот-вот, стоит лишь чуть подналечь еще, и мир, освежившись, подобно природе после грозы, постулатами справедливости, равенства, братства, войдет наконец в полосу долгожданного благоденствия), да, если оценивать лишь по этим внешним признакам, создающим видимость движения, то естествен только этот вывод, давно и надежно въевшийся в нашу плоть и кровь, что человечество на верном пути, что подвижничество (в данном случае научное) не иссякло в народах и что от великих надежд до великих свершений остается всего лишь шаг; но если для уяснения истины прибегнуть к другому оценочному критерию и посмотреть, насколько изменилась и изменилась ли вообще социальная и духовная жизнь людей с появлением означенных выше философских разработок, обращались ли светила знаний, претендовавшие на поводырство, к коренному вопросу бытия, вопросу неизменности стержня господства и рабства как к бессменному и беспощадному бичу человечества, или же по некоему злему промыслу обходили стороной это жесточайшее явление жизни, дабы не пробуждать сознание масс,— если для уяснения истины прибегнуть к этому оценочному критерию, то есть если судить не по суете вокруг дела, а по самому делу, насколько плодотворными или неплодотворными были усилия европейских постплатоновских и постаристотелиевских философов, то окажется, что влияние их на суть бытия либо равно нулю, это в лучшем случае, либо, когда в их авантюрные замыслы втягивались массы простолюдинов, все заканчивалось непременно разорением и крахом. Если подытожить, то светила от философии новых и новейших времен внесли лишь путаницу в прежнее (античное, реалистическое) восприятие и толкование жизни и низвели науку об общественных отношениях и общественном бытии до того, что она перестала быть наукой (даже в том изначальном значении, как понимали ее Платон и Аристотель), а потому и нет ничего удивительного в том, что человечество с тех античных времен не только не продвинулось вперед в познании законов общественного бытия, но, напротив, столь основательно отступило от реалистических позиций древнегреческих мудрецов, что, возможно, потребуется теперь не одно столетие, чтобы людское сообщество смогло хотя бы вернуться к тем великим (по классическому восприятию и толкованию действительности) достижениям древности. Такова историческая правда и правда текущих столетий, и, чтобы оспорить ее, нужно по меньшей мере доказать, что жизнь настолько изменилась, что в ней уже не властвует система господства и рабства, что между целями, провозглашаемыми правителями, и воплощением обещанных программ в жизнь уже не лежит непреодолимая пропасть, а что, напротив, повсюду (или хотя бы в отдельно взятой стране) восторжествовали идеи справедливости, равенства, братства; но, как бы нам ни хотелось засвидетельствовать такое сказочное перерождение, действительность подтверждает лишь, что со времен Платона и Аристотеля мало что или, вернее, ничто не изменилось в исходной фараоновской заданности общественного бытия; господа, как бы они ни называли себя теперь и в какие бы наряды под народ ни облачались, продолжают наращивать свою абсолютистскую (в бархатной пене демократических — для ослепления простолюдинов — иллюзий) державность, а рабы, сколько бы ни прозывались свободными и равными гражданами республик, продолжают под натиском экономических и духовных насилий и развращений оставаться все в том же рабском бесправию, в каком пребывали века, и нужны ли еще доказательства, чтобы убедиться, что наука об общественных отношениях и общественном бытии загнала себя и вместе с собой все мировое сообщество в тупик? Нет, не нужны, ибо что может быть нагляднее самой жизни, жизни простолюдинов, встающей перед нами в исторических и сиюминутных страданиях? И это не стихия, нет, а странная и страшная, навязанная «богоизбранниками» челове-

честву закономерность, распознав которую, то есть продолжив реалистические, да, именно реалистические (разумеется, на новом этапе осмысления) изыскания Платона и Аристотеля, мировое сообщество смогло бы наконец понять, куда и по какому пути ведут нас (тысячелетиями ведут) кумиры-поводыри. Но, к сожалению, подвергнутые эпохальной зомбиобработке (о чем еще пойдет особый разговор в следующей книге), мы не допускаем даже мысли, что живем в беспробудном вековом обмане, что кумиры-поводыри — те же подверженные смерти и тлену люди, что их «труд», их замыслы и свершения имели и имеют лишь одну цель — укрепление тронов и обеспечение собственного благополучия и что они, прожив в царской пресыщенности, не просто повинны перед нами, простолюдинами, за притеснения и насилия, но вина их отягощена разбоями и жестокостями веков, и только слепота от зомбирования не позволяет нам в канонизированных ликах героев увидеть лики притеснителей и убийц. Тут, наверное, следует оговориться, что я отнюдь не собираюсь персонифицировать критику, когда речь идет об общих (с исходом стержня господства и рабства на обетованные земли) проблемах бытия; определившись в двух самостоятельных древах развития — власти, то есть господства, и подневольности, то есть рабства, причем двухшейного, с цепью от светского и поводком от божественного престолов, — и вступив в вековое между собой противоборство, человечество, по сути, определилось и в закономерностях, по которым одной из противоборствующих сторон, представленной тронными и околотронными особами, давалось безграничное право на притеснения, насилия, убийства и грабежи (право это называлось священным, и, хотя святость давно вроде бы снята с него, оно с не меньшей, если не с большей силой продолжает действовать и сегодня), тогда как другой, представленной бесчисленным простым людом, отводилось, как отводится и в наше время, лишь право на бесправие, терпение, кабалу, и естественным было бы предположить, что философы новейшей истории обратятся именно к этому угнетающему человечество явлению бытия; да, было бы естественным предположить, что постантичные философы, имевшие перед собой труды Платона и Аристотеля, обратятся к сравнительному анализу того, что было (что реалистически описано великими греками), и того, что окружало их в теперешней жизни, и, ужаснувшись статичности (ужаснувшись несправедливости, которая словно бы в статусе бессмертия господствовала в общественной жизни людей), примутся за исследование закономерностей, приведших мировое сообщество к столь затянувшемуся до необратимости трагизму. Но, увы, этого не произошло. Вместо сравнительного анализа состояния общественного бытия (даже с помощью простого наложения учения на жизнь и жизни на учение), результаты которого смогли хотя бы приблизить нас к искомой истине, постантичные философы, взяв не лучшее, а худшее, что только было в трудах Платона и Аристотеля (их адвокатскую роль относительно рабовладельческого строя, то есть незыблемости установившегося к тому времени миропорядка), принялись вместо изысканий в области оздоровления общественного бытия с еще большим усердием, чем в свое время древнегреческие великие мудрецы, изыскивать возможности нового и новейшего тронуоудничества; понимая, что прямой поддерживающей существующего порядка вещей, то есть поддержкой монархических режимов, можно добиться лишь осуждения, а не славы и признания как со стороны масс, так и со стороны влиятельной, обычно чутко улавливающей признаки перемен общественности (да и самим тронам, во многом потерявшим свое бывшее божественное значение, требовалась уже совсем иная, тщательно завуалированная, тонкая, умная, состряпанная на уровне «современных наук» поддержка), они избрали тот путь блужданий в лабиринте неких «недоступных истин», который если и приводил к каким-либо открытиям, то тут же или вскоре после подобного открытия выяснялось, что оно несет на себе все ту же печать тронуоудности; все, все, что предлагалось и предлагается постплатоновскими и постаристотелевыми светилами от философии, все в той или иной степени помечено этой печатью служения, либо правящим «богоизбранным» личностям, либо «богоизбранным» же кланам или народам, что особенно характерно для нынешних с повсеместной демократиза-

цией (под инкубаторный выводок, ибо мировое господство как ничто другое требует однообразия социальных и нравственных форм бытия) благоперестройств.

XLVIII

Чтобы не выглядеть бездоказательным, перейду к фактам. В первой четверти пятого столетия нашей эры блаженный Августин выпустил книгу «De civitate Dei», в которой впервые языческое толкование человеческого бытия, то есть концептуальный взгляд на всемирную историю, было подменено христианской формулой четырех монархий Даниилова пророчества. Книга эта преподносилась как новейшее достижение в области истории и философии, ибо шутка ли, в ней не просто опровергался Платон с его пирамидным восприятием жизни и признанием незыблемости господствовавшего миропорядка (кстати, именно к этому периоду — 529 г. н. э. — относится закрытие Платоновой Академии, и произошло это, как можно предположить, не без участия или влияния вышеназванного автора), но отвергалась основа основ древнеегипетского учения о трех веках, трех периодах, предначертанных будто бы пройти человечеству в земной жизни: век богов, век героев, век людей. Здесь важно заметить, что, возможно, с тех самых пор цифра «три» начала обретать божественное (магическое) значение для историков, философов, теологов всех разновидностей и рангов. Тот же Платон, к примеру, говоря о свойствах человеческой души, решительно делит их на три категории: низшие потребности, вытекающие из голода и полового чувства (что духовные поработители как раз и пытаются сегодня навязать народам поверженной и стремящейся к возрождению России), высшее, благородное чувство и разум, — и соответственно этому делению определяет три системы общественного бытия: экономическое государство, то есть государство, творящее благо, уподобившись рабам у подножия пирамиды, военное государство (оно уже приближается или, вернее, соответствует благородным инстинктам) и государство совершенных правителей, то есть философов. К этому же процессу триединого будто бы развития человечества следует отнести и теорию трех Римов, а четвертому не бывать, призванную увековечить российскую монархию как преемницу и спасительницу мировой цивилизации (к сожалению, многими и сегодня эта теория берется на вооружение и возводится в абсолют), и вознести православие до высот непререкаемо-главенствующей религии, стоящей опять же на признании триединства Творца — Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа; или небезызвестные так называемые «Аксиомы» Вико, основанные целиком, то есть без каких-либо оговорок, на трехступенчатом развитии общественного и личного бытия: дескать, люди сперва укрывались в лесах, потом в хижинах, потом в деревнях и городах, где и построили академии (нашел, как говорится, топор под лавкой), — и согласно с этой порядностью, как значится в тех же «Аксиомах», определялась будто бы и нравственная характеристика людей: дескать, сперва они были жестокими, затем суровыми и затем уже становились «благосклонными, деликатными», близкими к абсолютной расслабленности (положение это, думаю, вряд ли нуждается в комментариях, поскольку жестокость нынешних поколений, не уступающая жестокости минувших веков, говорит сама за себя). Примеры подобного теоретизирования можно приводить еще и еще как из прошлой, так и из текущей истории, но вернемся к блаженному Августину и зададимся самым что ни на есть простейшим вопросом: что заставило его взяться за перо — искреннее ли стремление по-новому взглянуть на состояние общественного бытия и сложившиеся в процессе жизнедеятельности веков общественные отношения, то есть на систему господства и рабства, не претерпевшую не только со времен Платона и Аристотеля (о чем должны были сказать Божьему служителю их труды), но и со времен египетских пирамид, времен исхода абсолютистской державности на обетованные земли, никаких изменений, и действительно ли им был сделан шаг вперед от достижений великих греков, или же, осудив и отвергнув их бесхитростную прямолинейность, то есть тронугодность в отстаивании незыблемости фараоновского (хищнического) миропорядка, предложил свой вариант

(христианский) увековечивания все той же повсюду торжествовавшей в Европе системы насилия и разбоя? Он не мог не знать, что представляли собой империи в социальном и нравственном планах, как не мог не знать и того, что общественная жизнь людей никогда не замыкалась и не может замкнуться в пределах только этих тоталитарных режимов; не мог не видеть и не понимать того, что в действительности выглядело как торжество зла, когда кучка тронных и околотронных особ, удерживая за собой некое все еще будто бы священное право господствовать над всем и вся, паразитирует, да, буквально паразитирует на массах бесправных простолюдинов, как не мог не видеть и не осознавать, что мир (прежде всего в области общественных отношений) пребывает в пагубной, если не сказать больше, статичности и что если за что-то и следует взяться, то за исследование этого самоубийственного явления и причин, позволяющих хищническому миропорядку веками пребывать в столь неуязвимой живучести. Но, несмотря на это очевидное, что должно бы направить перо блаженного Августина, будь он действительно устремлен к истине, на познание главного порока нашего бытия, труд его, получивший (и не случайно, конечно же) признание во дворцах и храмах, оказался, в сущности, сотканным из тронопклонства и тронугодничества. Однако ни современники, ни позднейшие светила исторических и философских знаний не упрекнули новоиспеченного — из Божьих служителей — ученого в сем явно античеловеческом деянии, и тронугоднический труд его был оценен как стремление развенчать наконец языческо-теологическую концепцию развития человечества и заменить ее христианской, то есть более современной и в то же время не затрагивающей основ системы господства и рабства. Сообщив человечеству, что мир людских сообществ может и должен развиваться только в рамках империй, рамках, по сути, неограниченного абсолютизма власти (точно так же, впрочем, полагают и все нынешние претенденты на мировое господство), блаженный Августин тем самым как бы заново легитимизировал и божественную роль, и божественное бессмертие тронов, и в этом плане он вроде бы ни на шаг не отступил от реалистических (разумеется, в смысле зеркального отображения действительности) позиций великих греков; но дело в том, что философ от христианства отнюдь не горел желанием следовать Платону и Аристотелю, особенно в той части их учений, где затрагивались коренные вопросы бытоустройства, у него, как это явствует из его книги, была своя цель, своя заданность — перевести внимание исследователей с главного вопроса бытия на вопросы второстепенного, подчиненного порядка, выставив их в качестве определяющих суть и движение жизни, и этой на первый взгляд вроде бы незаметной, несущественной подменой он, если называть вещи своими именами, открыл для науки не ограниченную ничем возможность для схоластических, да, именно схоластических, иначе и не назовешь, споров в сфере познания общественных отношений и общественного бытия, которые, будоража общественное мнение своей темпераментностью и никак не сказываясь на хищнических устоях, пронизавших людские сообщества, продолжают и сегодня (в предложенном Августином обочинно-кюветном русле) обогащать науку опытом Сизифовой устремленности к цели. Но тем не менее (и, может быть, для придания значимости этим обочинно-кюветным изысканиям) еще при жизни историк и философ от христианства был назван создателем «Всемирной истории», а позднее, дабы придать еще больший вес (и научность, естественно) его бессмертному, по оценкам современников, творению, он был объявлен, по сути, основоположником новейших взглядов, то есть новейшего направления в развитии исторической и философской мысли, а затем, столетия спустя, на основе этих узаконенных доводов сформулировался и сам термин — «новая наука», — о котором (разумеется, в пределах возможностей повествования) и пойдет речь в следующих главах. Так что, да, в смысле тронугодничества, в смысле защиты и увековечивания монархических режимов, режимов любой власти вообще блаженный Августин и в самом деле внес свою неочинную лепту; оскопив до почти полного бесплодия учения Платона и Аристотеля, он на тысячелетие вперед оскопил и науку об общественных отношениях и общественном бытии, что более чем очевидно даже при беглом взгляде на историю; однако, и об этом небезынтересно узнать,

если в чем-то и упрекали и продолжают упрекать создателя «Всемирной истории», так только в том, что история человечества никак не укладывалась в предложенные им рамки четырех империй, последняя из которых — Римская (а пятой не бывать, как должна бы прочитываться подобная теоретизация), что никакой серьезной концепции, кроме выборочно-механического соединения исторических событий, в его «бессмертном труде» нет и что пора бы человечеству сменить штанишки младенчества на порты мужа, как того требует почтенный возраст веков; небезынтересно, видимо, будет узнать и другое, что, несмотря на упреки и критику, какой подвергалась «Всемирная история» Августина, она в течение почти десяти столетий оставалась господствующей в Европе и по жизненному долголетию вполне могла бы поспорничать с учениями Платона и Аристотеля, но только именно по долголетию, а не по исторической значимости и не по истинному вкладу в науку, как, впрочем, испокон заведено в нашем хищническом мире, где мандат на долголетие или даже на бессмертие, как случилось, к примеру, с христианством и мусульманством, получает лишь то, что поддерживает и укрепляет святость тронов, святость власти (любой власти) и служит ей.

XLIX

Вслед за мрачным средневековьем, как гласит научная или, точнее, официальная историография, наступила эпоха Возрождения, а затем явились век протестантизма (Англия, Германия) и век просветительства (Франция); европейские народы, уставшие от гнетущей статичности — статичности господства и рабства с процветанием хищничества, взятого в нимб святости, — пришли вроде бы наконец в движение, и, если бы это движение масс, а оно захватило именно массы, было изначально направлено в нужное русло, то, наверное, мир не выглядел бы сегодня таким, каким мы видим и чувствуем его, то есть не пребывал бы в той же статичности фараоновского господства и рабства (ведь замена монархических режимов республиканскими, демократическими, как уже говорилось выше, — это всего лишь подновление и переустройство фасадов, тогда как барство и кабала, кабала и барство, веками признававшиеся естественным по промыслу Божьему состоянием жизни, продолжают столь же гласно, но лишь в ином словесном обрамлении признаваться и теперь); в сущности, мир в стержневой своей основе не претерпел в эти бурные (казалось бы, бурные) столетия никаких изменений, если не считать, что абсолютизм власти, в очередной раз перенарядившись под тон и вкус эпохи и заменив императорские и царские троны на президентские и премьерские кресла, показал миру пример живучести и умения в любых обстоятельствах держать душающей хваткой страны, народы, простолоудинов в нищете, невежестве и повиновении (в рабстве, надо бы сказать, но — вот и я уже остерегаюсь применить это понятие к современности, словно оно и в самом деле относится только к доантичным, античным и средним векам). В сущности, история в который уже раз, решив посмеяться над Сизифовыми страстями людей, совершила свой привычный холостой ход, предложив вместо действительных преобразований довольствоваться лишь иллюзиями перемен, чем, впрочем, и утешаемся мы сегодня, готовые с порога третьего от Рождества Христова тысячелетия вкрутиться в новый виток еще более, наверное, бурных, кровавых и столь же бесплодных по итогам междоусобных, межнациональных и межконтинентальных разборок. Ведь цели протестантизма, как и просветительства, если рассматривать их по их теоретической заданности, выглядели приемлемыми и благородными; английские философы, отвергая или, вернее, ставя под сомнение теологическое, то есть божественное, объяснение мира, пытались изобразить ход истории, а вместе с ним и развитие науки об общественных отношениях и общественном бытии как поэтапное, точнее, эстафетно-этапное накопление знаний (что ж, впечатлительно, если бы к тому же тезис этот был применен к делу, а не остался бы только намерением на бумаге); немецкие иерархи от философии, начиная от Гердера и кончая Гегелем, которым, как младенцам от груди матери, труднее всех было оторваться от столетиями господствовавшего теологического мировоззрения,

выдвигали теорию некоей «постепенной гуманизации человечества» и «о воспитании его к свободе» (что по абстракционизму суждений и несоответствию этих суждений действительности можно назвать не просто шагом назад по отношению к «Всемирной истории» блаженного Августина, но тысячелетним, если не больше, отступлением от не увядших и донныне учений великих греков); французские же идеологи той «бурной» эпохи, крупнейшей фигурой среди которых считался и считается Вольтер (великий вольнодумец, обласканный при всех королевских и императорских Дворах Европы, так какова же была цена его вольнодумству?), — французские идеологи той «бурной» эпохи, поведшие решительную борьбу с Церковью, главную надежду в становлении человечества возлагали на «торжество разума», не сумев между тем элементарно дотянуться своим разумом даже просто до реализма Платона и Аристотеля. Я не думаю, чтобы весь этот процесс, это поводырство новейшей истории, был явлением стихийного порядка; если оно и не регламентировалось впрямую пожеланиями и волей тронных и околотронных особ, то, во всяком случае, определялось той скрытой или, точнее, неоглашаемой закономерностью, призванной оберегать троны, в рамках которой во все времена только и позволялось действовать мыслителям; не в традициях реалиста-Платона и реалиста-Аристотеля, но в традициях оскопленных великих греков — вот стезя, по которой направлялась, начиная от блаженного Августина, наука об общественных отношениях и общественном бытии, а потому и неудивительно, что эпоха «шумим, братцы, шумим» завершилась не победой провозглашенных «великих идей», а победой, причем полной и безоговорочной, все того же фараоновского стержня господства и рабства, ныне вновь набирающего очки на невежестве и оглушении масс. Мне могут возразить: а как же быть, скажем, со знаменитыми французскими энциклопедистами, предложившими вместо теологического материалистического объяснение мира, с «Общественным Договором» Руссо, не потерявшим вроде бы и сегодня своей социальной значимости, с английской, французской и русской революциями, кардинально будто бы изменившими политическую, экономическую и духовную палитру людского бытия (если, конечно, придерживаться официальной историографии, которая, обходя вниманием вопрос о статичности господства и рабства, о неизменности хищнического мироустройства, навязанного «веком Богов», видит движение жизни лишь в эпохально-буафорских сменах одежд), и, наконец, казнями Людовика XVI и Николая II? Да, как быть с этими очевидными вроде бы явлениями истории, этими «величайшими» событиями, на примере которых так ли, иначе ли воспитывались и продолжают воспитываться все новые и новые входящие в жизнь поколения людей? Во всяком случае, я не считаю нужным вступать здесь в спор с подобными оппонентами и тем более что-либо напористо утверждать или опровергать, поскольку и прокурором, и судьей, и адвокатом в данном случае может выступать только жизнь с ее свершениями минувших и текущих веков; если бы входящие в жизнь поколения людей действительно воспитывались на примерах или, вернее, уроках жизни, то от исторического невежества, в каком испокон пребывает человечество (вернее, насильственно удерживается), не осталось бы уже и следа; мы воспитываемся не на примерах, которые иначе как перманентным трагизмом людских сообществ, главным образом простолюдинов, не назовешь (позвольте, да какая же власть разрешит лить на себя хулу и признавать свои деяния трагизмом?), а на провозглашенных и продолжающих оглашаться «великих идеях», «великих посулах», на коих стояли и продолжают стоять все фундаментальные, кроме языческой, религии мира, среди которых главенствуют христианство и мусульманство, как вырастали и продолжают вырастать революционные движения масс, ничего, кроме кровопролития и ужесточения режимов власти, не приносившие и не приносящие, по крайней мере простым людям, так что вот вам ответ первый, ответ на вопрос о значении «вольтеровского вольнодумства» (беру в кавычки эти слова потому, что придаю им широкий, обобщенный характер), значении всех выдвигавшихся социальных и философских идей в столь обаятельную и ныне для многих эпоху «бурь и потрясений», и значении революций, унесших вхолостую, да, именно вхолостую, миллионы и миллионы жизней простолюдинов. Если говорить о за-

слугах французских энциклопедистов, то они и в самом деле внесли неоценимый вклад в реалистическое представление о мире вещей и явлений; они дали толчок развитию естественных наук и ничего или почти ничего нового не открыли в области общественных отношений и общественного бытия, поскольку главнейшее явление жизни — статичность господства и рабства, открытая Платоном и подтвержденная Аристотелем, — явление это, свидетелями которого они были сами, каким-то вроде бы странным образом, словно нечто бестелесное, оказалось вне досягаемости их внимания; случайно ли это или тут действовала известная уже нам предохранительная (троннопредохранительная) закономерность, надежно и сегодня удерживающая мир в рамках жесткого повиновения, трудно сказать, хотя я склоняюсь более к закономерности; но ведь, что бы мы ни говорили по этому поводу, факты истории остаются фактами, ибо стержень господства и рабства (и это несмотря на видимую вроде бы смену социальных режимов), как он торжествовал в Древнем Египте, античной Греции, Римской империи и империи Карла Великого, так торжествует и сегодня после эпохи «великих бурь» и будто бы «великих потрясений». Что касается «Общественного Договора» Руссо, что ж, я ничуть не склонен преуменьшать его значение; трудовой люд (рабочие, рабы) получил право обговаривать с хозяином меру эксплуатации, да, не больше, не меньше, как только обговаривать меру эксплуатации (и это на фоне уже провозглашенных тогда постулатов о свободе, равенстве, братстве, вылившихся затем в столь знакомую нам — конституционно или бумажно знакомую — формулу о правах человека, равных будто бы для всех), тогда как воля хозяина остается и донныне все той же волей, граничащей с полным или почти полным беспределом, а требования рабочих (рабов), как и прежде, лишь жалким попрошайничеством подачи с барского стола. Такова действительность, хоть оглянись на прожитые столетия, тысячелетия, хоть на нынешний беспредел вокруг себя, и тогда вряд ли понадобятся еще какие-либо доказательства для подтверждения сказанного; ведь «Общественный Договор», по сути, ничего не изменил в хищнической системе бытия, но, напротив, лишь узаконил статус-кво существовавшего в веках и остающегося неизменным миропорядка; божественное помазание на власть было заменено лишь помазанием от масс, и кесарям вновь отдано кесарево, а рабам — рабское.

L

Итак, эпоха «шумим, братцы, шумим», эпоха «бурь и потрясений», как и предыдущие подобные эпохи, преподнесла людям лишь тот горький осадок от содеянного, какой только и могла преподнести, сохранив в неизменности систему господства и рабства. В таких случаях говорят, что все вернулось на свой привычный круг вращения, как если бы и в самом деле хоть на какой-то период кардинально изменилась общественная жизнь людей, тогда как она не только не подсекалась в заданной еще фараонами основе (и это несмотря на провозглашавшиеся «великие» и «спасительные» идеи), но никогда не сходила с этого круга, словно приговоренная быть бессмертной в своем разорительном, хищническом беспределе. Я не думаю, чтобы история человечества была иной, чем она выглядит в достоверно зафиксированных свидетельствах, фактах и документах; в своих деяниях она всегда останется такой, какой представляла перед чередой сменявшихся поколений, не подвластной ни тлену, ни времени, ни Творцу, даже если бы все свершавшееся свершалось по Его промыслу; по крайней мере так должно было бы быть, если бы человек в своих духовных проявлениях, сотворивший себе кумира-Творца для поклонения (но более для прикрытия своих выходящих за рамки разумного деяний), не переступил бы эту черту запрета и не принялся бы обращать правду в ложь, а ложь в правду, расходясь тем самым, с одной стороны, с естеством природы и, по сути, вступая в борьбу с ней, а с другой — выстилая себе путь в грядущий беспредел страданий и войн. Да, мы сами творцы своей судьбы, можно выразиться и так, если, конечно, признать, что жизнь в общественных ее проявлениях творилась не кумирами-поводырями или, вернее, поводырствующими «богоизбранными» лично

стями, а то и народами, не прекращающимися и ныне претендовать на единодержавное поводырство, а творилась человечеством в целом как некой единой и неделимой субстанцией, которой одной дано право определять цель и направление развития; однако мир никогда не был целостен, но всегда (от «века Богов») был поделен на господ и рабов, и если в чем-то и заключен исток этого разделения, то его следует искать именно в тех изначальных властных проявлениях человеческого духа, когда то, что и поныне остается неподвластным Творцу — отход от реализма и искаженная трактовка исторических и текущих событий, — оказалось не только подвластным человеку, но и было поставлено им на службу возводившихся и обраставших «святостью» тронов. Казалось бы, нет и не было ничего важнее для познания сути сложившихся к кануну третьего от Рождества Христова тысячелетия общественных отношений, сути общественного бытия, чем вопрос о возникновении власти, как некоего (вначале, разумеется) злокачественного нароста на не окрепшем еще, младенческом теле человечества (для жаждавших власти вот уж действительно это был «век Богов»), вопрос отделения власти в самостоятельное древо развития и, как следствие этого отделения, верховенство и произвол правителей-поводырей, взраставших и продолжающих возрастать на этом древе, — да, казалось бы, нет и не было ничего важнее для науки об общественных отношениях и общественном бытии, чем исследование этого ключевого вопроса жизни, но, как показывает историческая и текущая действительность, чем больше мы отдаляемся от античных и доантичных времен, иначе сказать, чем основательнее укрепляется в людских сообществах система господства и рабства, тем с большим усердием (тронно-угодным усердием) мы предаем забвению сам вопрос о возникновении власти, о неизменно пагубной роли тронных и околотронных особ в развитии, если, конечно, так можно выразиться, человечества, и наконец главнейший вопрос истории — о взаимоотношениях власти и народа, каким образом, то есть на основе каких (навязанных ли, ненавязанных ли) закономерностей, складывались эти отношения в прошлом и как складываются теперь, когда все мы стоим на пороге создания единой империи во всем ее пирамидном, то есть фараоновском, значении, на пороге мирового господства финансово-промышленных воротил. Наверное, я бы согрешил перед своей совестью и перед историей, если бы сказал, что последствия подобного забвения непредсказуемы; нет, отчего же, вполне предсказуемы, ибо мир уже не по интерпретации Аристотеля, но в действительности окажется необратимо поделенным на людей исключительных, то есть носителей духа, точнее, господ, и людей второго сорта, то есть нелюдей, рабов, обладателей плоти, способных только на безустальный труд, смирение и послушание, иначе говоря, человечество вновь вернется в благодатный для властителей «век Богов», как было при фараонах в Древнем Египте и что остается и сегодня заветной мечтой и целью мировых державников. По крайней мере все симптомы, вся нацеленность повально «демократизирующейся» всюду и везде жизни говорят об этом, в то время как историки и философы, опять и опять берущиеся поводырствовать миром, словно бы не замечают этой реально уже нависшей над мировым сообществом угрозы и ничего не предпринимают, чтобы открыть ее людям. Жизнь как шла, так и идет своей хищнической тропой, а наука — тропой невмешательства, как нечто замкнутое в себе, недоступное, великое и естественное; странное, да, надо признать, весьма и весьма странное поводырство, единственная цель которого — как можно дольше удерживать народы, простолюдинов в историческом невежестве; а ведь истина рядом, и заключена она в том, что в угнетающем нас мироустройстве как не было, так и нет ничего ни от природной заданности, то есть естественного, что пытаются доказать многие, ни от божественного промысла, на чем продолжает настаивать Церковь, как не было и стихийности в развитии общественных отношений и общественного бытия, а все, что имеем, к чему пришли, все, все сконструировано и обращено в действующую закономерность волей (недоброй волей) человеческого разума. К такому выводу не раз и не два почти вплотную приближались историки и философы разных эпох (они ошибались лишь в том, что в качестве Творца выдвигали народ, народы, человечество в целом, оставляя как бы в тени истинных творцов беспредела и хищничества — иерархов

светской и духовной власти); в новейшие времена к такому пониманию пришел Вико, автор небезызвестной «Новой науки»; он прямо заявил, что в основе формирования общественного бытия изначально лежала мысль, что миропорядок «создавали люди с сознанием», «с выбором», и что созданное не было «фатумом» или «случайностью». Но, отвергнув Платона и Аристотеля, могли ли иерархи духа, иерархи «знаний» от тронов примириться с утверждением Вико, тем более взять за основу этот приближавший нас к истине взгляд на истоки и становление общественных отношений и общественного бытия? Нет, не могли — и по тронноугодной заданности, и по достаточно укрепившейся уже вековой традиции ходить вокруг да около стержневого вопроса жизни, не затрагивая его, то есть не затрагивая интересов власти и до виртуозности изоцряясь в исследованиях побочных, то есть производных от базовой основы, явлений; возникший еще в античные и доантичные времена спор о том, един ли мир в своем материальном и духовном проявлениях или же представляет собой лишь две параллельно движущиеся ипостаси — материя, скованная рамками природной (естественной) заданности, и дух, свободный в любых своих проявлениях как начало стихийного, ничем не ограничивающегося господства, — да, возникший еще в античные и доантичные времена схоластический спор этот, хотя мир един, неделим и все в нем взаимосвязано и переплетено взаимозависимостью, схоластический спор этот, только сбивавший с толку своей лженаучностью и запутывавший дело, в эпоху постсредневековья, то есть разбираемую здесь эпоху «бурь и потрясений», обрел, если выразиться языком современности, второе дыхание. Одни философы и историки решительно встали на защиту двуединства, хотя и не продвинулись ни на шаг от этого утверждения, тогда как другие столь же горячо принялись отвергать этот тезис и, разделив еще более решительно, чем представители античности, мир на материальное и духовное начала и закрепив за материальным закономерность развития, оставили духовному неограниченную свободу действий как началу творческому (взгляд не просто атеистический, но дерзкий, если соотнести его со всегосподством теологического объяснения мироустройства), словно в деяниях людей и в самом деле все зависело и зависит лишь от стихий потребностей и настроений. Возможно, если бы кому-либо удалось довести подобное исследование до конца, какая-то часть истины, наверное, приоткрылась бы человечеству; но точно так же, как сторонники двуединства не позволили себе продвинуться дальше определенной черты познания (странное, да, весьма странное самоограничение), так и сторонники противоположной теории, сторонники обособленности духа, сойдясь на том, что дух как раз и есть тот инструмент (или гарант) свободного, стихийного, а потому, дескать, единственно приемлемого и не подлежащего пересмотру процесса развития и становления общественных отношений, ибо человек и только человек является творцом своей судьбы и жизни, — сойдясь именно на этом утонченно-тронноугодническом постулате, с редчайшим затем единодушием затоптались на месте, словно восхождение к искомому полюсу знаний было уже благополучно завершено ими. Странное, не боюсь повторить, весьма и весьма странное самоограничение, которое, однако, не так уж и необъяснимо, если посмотреть на явление через призму беспристрастности. Первое, с чем они столкнулись и что так ли, иначе ли должно было смутить и остановить их, то есть ложь первая, на основе которой выстраивалась вся их предельно реалистическая, как они утверждали, теория стихийного развития человечества (словно жизнь и в самом деле складывалась сама собой, сама по себе возникла потребность в государственности, причем именно со стержневой основой господства и рабства, и что не иначе как с общего согласия, а не насилиями и коварством одни личности и народы взошли на пьедесталы «богоизбранности», а другие, составлявшие поголовное большинство, позволили надеть на себя оковы вечного подчинения), — ложь первая заключена в том, что самое возможное свободного проявления духа они распространяли на людей вообще, то есть на весь род человеческий, тогда как в действительности подобным правом пользовались лишь власти и вившаяся около их тронов высокородная челядь; частью скрытые, частью явные тронноугодники, выходцы, как правило, из состоятельных семей, имевших доступ к образованию, историки и философы

этого направления не могли перешагнуть через ими же сочиненную и узаконенную ложь уже потому, что истина, которая открылась бы им, просочившись в массы и разбудив их, стала бы не просто угрозой тронов, но поставила бы их на грань небытия; простой люд, веками не допускавшийся к созидательному процессу жизни, как, впрочем, не допускается и сегодня, потребовал бы, во-первых, восстановить свое исконное (и не на словах, а на деле) право на самобытность развития, и, во-вторых, все наши иконостасные, в нимбах святости, поводыри наций и стоящие на пьедесталах герои войн и отцы народов, неотвратимо будто бы наделенные исторической славой, предстали бы не поводырями, героями и отцами народов, а преступниками, загнавшими своими деяниями (злодеяниями, необузданным личным произволом, замешенным на жажде богатства, славы и власти) человечество в тупик и долженствующими теперь предстать перед судом. Но пока власть остается властью, вряд ли она позволит столь опрометчиво обнажить себя; теория свободного проявления духа, теория стихийного развития и становления жизни, как бы она ни расходилась с Божиим промыслом, да это же — как хлеб с маслом для тронов, ибо она, с одной стороны, служит бессмертным мандатом властителям на произвол, а с другой — риторической обобщенностью как бы сводит на нет (для восприятия простолюдинов) персонифицированную суть этого «благообретенного» мандата.

II

В сущности, я поторопился, назвав вышеизложенный так называемый «научный» спор схоластическим, тогда как, если придерживаться абсолютной истины, то следует сказать, что как на ниве исторических, так и на ниве философских изысканий не было, нет и не может быть схоластических споров; бессмыслица в деле постижения истины с точки зрения исторической правды, то есть с позиции народного взгляда или отношения, отнюдь не является бессмыслицей с точки зрения жизнестойкости власти, то есть стержня господства и рабства, с точки зрения подавления масс и удержания их в историческом, политическом, экономическом и нравственном невежестве, так что ученые как спорили прежде, поражая толпы неким своим видимым глубокомыслием, так спорят и теперь, принимаясь среди все тех же безводных сыпучих песков, а троны со своей неизменной стержневой основой, однажды изошедшей из страны пирамид, живут и процветают, готовясь к последнему своему броску — захвату мирового господства, оставляя народам лишь одно — бедствовать в поколениях, как они бедствовали всегда, обреченные (со времен Древнего Египта) создавать блага и не пользоваться ими. Нет, нет и нет, споры на ниве истории и философии — это не схоластические споры, а тронугодные, с целенаправленной заданностью, целиком работающие на статус-кво хищнического миропорядка, но создающие впечатление объективного научного поиска; такими они были всегда, такими остаются и теперь, защищенные стенами академий, созданных тронами и для укрепления тронов, и званиями академиков, то есть непревзойденных и непререкаемых (опять же эгидой или покровительством тронов), «богоизбранных» знатоков истины, перед словом или утверждением которых все есть ересь, должная никнуть и увядать на корню; и никнет, и увядает, ибо, если бы не никло и не увядало, если бы не господствовало, как господствует в социальной сфере, тронугодничество, то и мир, освещенный всполохом правды, а не сонмом коварств и обманов, был бы совершенно иным, не с одной, да и той хищнической, а со множеством расцветших на самобытном проявлении национальных черт и характеров цивилизаций, как это, может быть, и задумывалось природой, искавшей не хаоса, но гармонии как в мире материального, так и в мире духовного бытия. В плане злонамеренных, зловредных схоластических споров следует рассматривать и длившиеся веками теоретические изыскания вокруг выдвинутого еще древними иерархами тезиса о преимущественном положении одной нации или одного народа среди множества других племен и народов, который в силу некоей своей генетической заданности явился прародителем или праотцом всего, что мы связываем теперь с понятиями «культура»,

«прогресс», «просвещение». Абсурдность этого тезиса настолько очевидна, что о нем, наверное, не стоило бы говорить, если бы, разумеется, не тот слой споров и противоборств, который, как нечто фундаментальное, призванное служить вечно, не наращивался бы и сегодня и не продолжал бы оказывать свое угнетающее воздействие на мировосприятие людских сообществ, вольно ли, невольно ли вынужденных признавать себя «мусором человечества» (как было сказано о славянстве одним из ведущих философов девятнадцатого века, чье поводырство было затем — вроде бы роком судьбы — навязано именно славянству), способным лишь потреблять и неспособным ни на самостоятельное мышление, ни на созидание своей жизни. Все это происходило, происходит и поддерживается потому, что любое поводырство, даже если оно совершается с благими намерениями, тем более власть тронов, приравнившаяся к власти Творца, как это было в прошлом (и что, впрочем, с изысканной утонченностью продолжает навязываться людскому сообществу, то есть простолюдинам теперь), — да, любое поводырство, любая троннонаследная или возведенная будто бы «волей народов» над собой власть, то есть то же диктаторство, тиранство, обрамленное нимбом добродетели, должна иметь, с одной стороны, некое фундаментальное, исходящее из глубины веков и придающее легитимность обоснование, которое как раз и создается с помощью исторических и философских подтасовок, в коих ложь обретает смысл правды и возводится если не в ранг святости, то по крайней мере укладывается в русло свято почитаемой старины, дедовской обрядности и традиций, а с другой — иметь столь же фундаментальную опору во всех сферах текущего бытия, главным образом, в сферах духовного проявления, что опять же достигается путем исторических и сиюминутных подтасовок, в коих, как непреложная аксиома жизни, обосновывается (в приемлемом или, вернее, нужном для правителей варианте) национальная одаренность, национальная исключительность тех или иных господствующих личностей или сообществ. Всемирная история человечества, если заглянуть в истоки ее развития, не дает повода для подобных персонифицированных (в данном случае речь идет о персонификации народов, а не личности) изысканий, в которых бы людские сообщества столь грубо и бесосновательно противопоставлялись друг другу, тем более противопоставлялся бы один какой-либо народ всем остальным; не только в Древнем Египте (Древнем Китае, Древней Индии), как нечто первородное, закладывался процесс цивилизации, но этим процессом были охвачены все народы, создававшие каждый на основе своего восприятия и толкования жизни приемлемый для себя миропорядок; одни, как уже говорилось в начале повествования, создавали его на постулатах хищничества (Древний Египет, фараоны и рабы), другие на началах добронравия и миролюбия, что можно целиком отнести к славянству, всегда только страдавшему от своей непомерной доверчивости, простоты и доброты и не стремившемуся посягать на чужие земли (по крайней мере история не знает ни одного славянского нашествия ни на Европу, ни на Азию, ибо таковых не было и не могло быть), и если мы имеем сегодня только одну «цивилизацию», хищническую, то оттого лишь, что все остальные были задавлены на корню воинственно исшедшим из Египта на «освоение» обетованных земель стержнем господства и рабства. Стержень этот (он затем как раз и персонифицировался в отдельный народ, поставивший себе целью господствовать над миром и отработавший для этого приемы захвата и удержания власти путем политических интриг, экономических диверсий, притеснений и духовных экспансий), — фараоновский стержень господства и рабства, вышедший на «освоение» обетованных земель, не мог утвердиться среди других народов только методами кровавых устрашений; ему приходилось долго и упорно преодолевать чужеродство, чреватое отторжением (вспомним хотя бы Рюриковичей и Романовых, правивших у нас, державших нас в крепостничестве и подавлявших нашу самобытность, что, впрочем, характерно и для других европейских и неевропейских народов, на чьи земли, признававшиеся обетованными, ложился ненасытный глаз фараоновской державности), и в процессе этого преодоления, как в процессе любого эволюционного развития, в том числе и разрастания плодоносного дерева власти, явилась на первый взгляд вроде бы привлекательная, но подрубавшая под корень любую са-

мобытность, а по сути, историческое самосознание и достоинство наций, формула некоего единого прогресса, единой цивилизации, к которой должны приобщаться народы, если они желают или стремятся к процветанию. Тут надо сказать, что, если бы то, что объявлялось цивилизацией, действительно несло в себе заряд благоденствия, а не заряд хищничества, как это стало обнажено очевидным теперь, то есть, если бы не было в этих посулах величайшего обмана, величайшего фарисейства, которое, впрочем, во многом остается нераспознанным (главным образом, в восприятии простолюдинов), то человечеству ни в прошлом, ни теперь не в чем было бы каяться; но ведь под предлогом приобщения к благам привносимой «цивилизации» происходило, в сущности, приобщение народов к хищническому мироустройству с едиными культурными и духовными «ценностями», выработанными будто бы еще на заре человечества неким особо одаренным, «богоизбранным» народом, и если посмотреть объективно на это явление, то нельзя не увидеть в нем четкой тронно-фундаменталистской заданности. Исшедшему с нильских берегов стержню господства и рабства, эстафетно передававшемуся затем от одного поколения тронных и околотронных особ другому (разумеется, соответственно обогащенным приемами насилий и подавления), нужно было убедить народы тех обетованных земель, куда являлся сей стержень, что они, эти народы, живут отсталой жизнью, что их самобытность — это пещерная самобытность, но что в мире есть великие достижения цивилизации, приобщение к которым, а по сути, к хищничеству, принесет наконец всем долгожданное благополучие; национальные верования, то есть верования дедов и прадедов, объявлялись язычеством, изваяния каменных и деревянных богов, поименованных идолами, низвергались, как если бы писанные богомазами лики новых святых (да и вся история становления христианства, к примеру, замешенная на крови, истязаниях, казнях) могли действительно в чем-то отличаться от своих рукотворных же предшественников; но, однако, отличались, поскольку языческая религия была, во-первых, религией внесударственной, то есть не отождествляла себя с царством, пусть хотя бы и Божьим, и не сводила людей до уровня бесправных, духовно немощных «рабов Божьих» и, во-вторых, не унифицировала быт людских сообществ до строго регламентированного во всем муравейника, а, напротив, предоставляла каждому верующему простор для творческого проявления личности (между прочим, разговоры о том, что язычество не имело будто бы сдерживающих начал — лишь элемент беспардонной хулы, неизбежный в любом противостоянии, тем более в столкновении миролюбия с хищничеством, в котором хищничество именно потому, что хищничество, не стесняло, как, впрочем, не стесняет себя и сегодня в выборе средств уничтожения противника). В сущности, мы только теперь, да и то с оглядкой на академии, точнее, на троны, поддерживающие их, начинаем признавать, что многие народы еще в далекой древности имели свою письменность, которая, если и не была совершенной, то ведь и на берегах Нила, на Ближнем Востоке или в античной Греции она тоже не в одночасье родилась в том виде, в каком подается в официальных источниках; просто-напросто одно направление эволюционного развития, направление хищнического мироустройства, обрело уже в силу своей заданности простор для действий, тогда как другое, противостоявшее злу и тоже требовавшее простора, не только не получило его, но раз за разом с кровавой жестокостью отправлялось в небытие, да так, что за целыми народами, странами, цивилизациями нагло заматались следы, словно ни этих народов, ни этих цивилизаций никогда не было.

ЛП

Мы даже не представляем, насколько наша земля усеяна могильными холмами, под которыми покоятся как цари-поработители, так и поработенные ими народы, сожженные ими же города и разрушенные цивилизации; научившись считать «баксы» и обездоливать континенты ради обретения этих зеленых, на крови, купюр (мне иногда кажется, что амбиции хищничества достигли такого предела, что «богоизбранники» скорее взорвут мир, чем поступятся в своих властных притязаниях), мы, однако, не удосужились хотя бы проинвента-

ризировать эти важнейшие для познания истинной истории человечества тайники жизни и тем более составить карту перманентного трагизма минувших времен, то есть всех тех безрассудных — от властных амбиций, а не от явлений стихий — катаклизмов, кой по мере движения исшедшего из Египта стержня господства и рабства по обетованным землям обрушивались на наших предков; они стоят, эти холмы, в первозданном своем величии, поросшие былинными травами и овеванные легендами веков, храня правду о тех задавленных в зародыше (альтернативных хищничеству) цивилизациях, обнаружение которой могло бы пролить поистине правдивый свет и на истоки, и на цель, и на самую суть человеческой жизни в той ее первозданной, гармоничной заданности, в какой она предстала как перед личностями, так и перед людскими сообществами, открывая простор для достижения общих благ, а не общих страданий. Но по объективным ли причинам (да, иногда и по объективным, по недостатку средств, то есть от бедности, идущей, впрочем, от деяний все того же захватившего повсюду верховенство фараоновского стержня господства и рабства), не объективным ли, то есть от троноприслужничества, что выглядит и реалистичней, и убедительней, — к большинству разбросанных по континентам могильных холмов еще ни разу не прикасалась лопата археолога; не прикасалась потому, что ни исторической, ни философской наукам, смирившимся со своим тронугодничеством, ни в прошлом, ни теперь не нужна была правда о развитии и становлении общественных отношений и общественного бытия, развитии человечества в целом, в каком направлении оно должно было пойти и по какому пошло, поскольку она, то есть эта обнаруженная правда, поставила бы под сомнение весь тот тронно и божественно освященный официоз о некоем «особом» гене некоего «особого» народа, который (в силу именно своей обособленности) преподнес миру или, вернее, заложил для всемирного пользования основы всех или почти всех наук, преподал азы искусства, культуры, зодчества, живописи и начертал путь к «прогрессу» и «процветанию». Я не думаю, чтобы то, что сочинялось, складывалось и обосновывалось на протяжении веков, возможно сегодня опровергнуть какой-либо одной даже самой фундаментальной работой и тем более брошенной с неким глубокомыслием фразой; нет, невозможно; невозможно еще и потому, что ловкость подтасовки, с какой носители стержня господства и рабства научились (опять же за века) подавать исторические события на стол общественной жизни, обросла столь неуязвимым панцирем защиты, что, как ни углубляйся в минувшие тысячелетия и сколько ни вороши и ни сопоставляй факты, представления хоть о древней, хоть о текущей действительности, словно бы одно к одному совпадают с текстом (имеется в виду текст официально принятой всемирной истории), а текст — с представлениями о действительности; и тут, как ни крути, выходит, что все основополагающие начала жизни, составлявшие и составляющие ее неизменную фабулу, — все, все основополагающие начала или составные жизни и в самом деле изошли из Древнего Египта, Передней Азии и античной Греции (с одной разве что упущенной малостью, что все эти столпы государственности, поименованные науками, искусствами, культурой, религией, просвещением, возникшие для нужд фараонов и обслуживавшие их, двинулись на обетованные земли не для того, чтобы поделиться с отсталыми народами своими достижениями и ценностями, как это пытались и пытаются представить в официальной историографии, но как верные слуги, взятые хозяином в сопровождение и готовые с любой мерой насилия исполнить его волю; и исполняли, и подавляли чуждую им самобытность, столпами незыблемости подкрепляя носителей или, вернее, разносчиков фараоновской хищнической державности, внося в добронравную жизнь поработанных народов дух разбоя, разврата и отупения. Так что, да, все, все вроде бы пошло с Древнего Египта, Передней Азии и античной Греции, но ведь и раскопки (с незапамятных времен) велись и продолжают вестись только на этих землях (в конце концов с точки зрения самого стержня господства и рабства, вышедшего на захват мирового господства, тут явно просматривается определенная заданность), и только найденными в результате этих раскопок атрибутами культуры, а точнее, атрибутами абсолютистской власти (ведь не случайно век фараонов и пирамид еще древнеегипетскими жрецами был назван «ве-

ком Богов»), ими и только ими (по-преимуществу, разумеется) заполнены исторические музеи всех ведущих столиц мира, дабы пребывающий в подневольном невежестве (чему предшествовал многотысячелетний обман) простой люд мог видеть их и только их и поклоняться им, тогда как могильники противостоявших хищничеству цивилизаций почти целиком пребывают в забвении, а если где-то и ведутся выборочные раскопки, то даже самые сенсационные их результаты игнорируются так называемой мировой исторической и археологической наукой, подвергаются сомнению и в конце концов замалчиваются, как не имеющие будто бы отношения к истории развития человечества. Налицо многовековой, можно сказать, эпохальный диктат, защищенный понятиями «наука» и «культура», академическими и религиозными постулатами, незыблемость которых, в свою очередь, подтверждена неким якобы «Божьим промыслом», и эту не бетонную, нет, а отлитую из самых прочных (по меркам духовности, то есть всеохватному обману) сплавов стену, страшно даже подумать, что чем-либо можно прошибить (по крайней мере пока торжествует на земле стержень господства и рабства, фараоновское хищническое мироустройство); диктат этот столь очевиден, что его не то чтобы нельзя отрицать, да и не отрицают, а во многом даже вроде бы и оспаривают, предлагая взамен теорию, правда, в весьма и весьма смутных очертаниях, равного старта (совершенно игнорируя при этом неравенство финала, или, что еще поразительней, объясняя его опять-таки определенными свойствами отдельных народов), — но более чем тысячелетние разногласия ученых являются, по сути, лишь своеобразным громоотводом от возможного всенародного прозрения, тогда как планка диктата, поднимая над этими спорами еще в античные и доантичные времена, только укрепляется новыми и новыми подпорками, позволяющими ей вечно возвышаться над здравым смыслом и, подавляя его, удерживать в неизменности хищнический миропорядок. Мы все находимся под этим диктатом, все пережили и переживаем его; все верим или по крайней мере не пытаемся усомниться в древнеегипетской (вкуче с античной) первородности наук и культур, заменив свою самобытность самобытностью преподнесенного нам мироустройства, тем самым лишая себя (под несказанное торжество носителей стержня господства и рабства) национальных корней и национального достоинства и ускоряя процесс превращения разноликого (в соответствии с разноликостью природы) человечества в одноликий, державно управляемый олигархическим кланом «богоизбранников» барханно-сыпучий монолит. Нужно ли доказывать аксиому? Вряд ли. Жизнь в ее прожитом и текущем варианте — она перед нами, стоит только посмотреть на нее непредвзятым, народным взглядом; история любого народа, повторяю, любого народа, благоприобщенного будто бы к цивилизации по-египетски, как можно было бы еще поименовать это сопровождающее людские сообщества явление, способна послужить не просто примером для подтверждения сказанного, а самым что ни на есть наглядным уроком жизни; так бы, наверное, и следовало поступить, если бы не рамки повествования, не позволяющие перешагнуть их, и потому ограничусь лишь примером славян, особенно восточных, не раз и не два в силу складывавшихся исторических обстоятельств подвергавшихся «приобщению» то к азиатской, то к египетско-европейской, то есть византийской, а по нынешним временам западной, цивилизациям, под корень подрывавшим всю нашу исконную самобытность и вытравлявшим как национальное, так и человеческое достоинство; возможно, что нам достался самый тяжкий опыт истории, ибо кто только не приходил к нам с мечом и крестом, если взять лишь последнее тысячелетие, и что только не испытали мы под властью чужеземных, так называемых «призванных» правителей, более семи столетий державших нас в крепостничестве, и во все эти семь столетий, вернее, особенно в эти семь столетий шло тотальное истребление нашей культуры, а по существу, общеславянской, базировавшейся на началах добронравия и миролюбия цивилизации, рушились святыни, сжигались летописные памятники, а то и просто исчезали неведомо как и неведомо куда из монастырских и академических хранилищ, а взамен являлись сомнительного рода копии, из которых явствовало только одно, что славяне как народ — ничтожны, вялы, нищ и ни на что не способны, а если и есть в Российской империи что-либо значимое, то оно от

немцев или французов, либо плод усилий дворянства (обрусевшего, как это подается), чьи потомки некогда пришли все с того же «процветавшего» Запада на Русь, чтобы облагородить ее. И «облагородили»; да еще как «облагородили», Господи!

ЛШ

Возможно ли, я задаю себе вопрос, да, возможно ли, чтобы одна из самых значительных ветвей человечества — ветвь славянства, то есть славянские племена, занимавшие почти две трети европейской территории в квадрате между Днестром и Рейном, Балтийским, Средиземным и Черным морями (сведения эти исходят из глубин веков от Геродота и Тацита, которых, надо полагать, вряд ли можно обвинить в некоей особой благосклонности к славянству), — чтобы эти добронравные и миролюбивые племена, не ходившие ни в какие завоевательские походы, не зарившиеся, если по-современному, на чужие земли и богатства соседних народов, но вполне довольствовавшиеся тем, что создавали умом и потом (в конце концов сам факт многолюдства о чем-то должен говорить нам, во всяком случае, если не о процветании, то уж наверняка об умении обустроить свое социальное и духовное бытие), — чтобы этот расселенный на бескрайних европейских равнинах славянский люд, живший и живший себе по своим выработанным законам жизни, не хвалившийся ими, не стремившийся никому навязать их и насильственно затем, как и другие европейские народы, подвергшийся испытанию хищничеством, сумел все-таки сохраниться в главном своем достоинстве — добронравии и миролюбии (отчего страдал и страдает, поскольку хищничество, чтобы выжить в нем, требует от человека, народа, нации совсем иных качеств — жесткости, жестокости, беспощадности и бездушия), — чтобы славянский люд, наделенный природным умом и трудолюбием, как и ратным мужеством и мастерством, когда дело доходит до защиты отечества, не создал бы за века самобытного и подневольно-страдальческого развития ничего или почти ничего, что обрело бы значимость общечеловеческих ценностей? Но факты есть факты, и если во всемирной истории славянству ныне отводится еще какая-то роль, то суть ее сведена к жестокосердному — на греческом Олимпе — славянскому богу войны Аресу, в чем можно усмотреть лишь исконную будто бы агрессивность и кровожадность славян, не сумевших создать ничего, кроме этого своего Ареса; историческая действительность здесь настолько искажена, что и спорить не с чем, но я все же в который раз повторю, что ни в ранние, то есть древнейшие века, ни в позднейшие, вплоть до конца двадцатого столетия нашей эры, летописи не зафиксировали ни одного славянского нашествия на чужие земли, поскольку таковых не было, тем более с целью захвата этих земель и создания на них своей государственности; а если повнимательней присмотреться к древнегреческой истории, то без труда можно обнаружить, что вся она теснейшим образом переплетена со славянской, и не случайно потому многие олимпийские боги имеют не только ясно выраженный славянский корень, но и довольно близкое, если порой не идентичное, толкование. Я не хочу вдаваться в подробности, культура какого народа и в какой степени была подавляющей — греческая ли, славянская ли; важно другое, что культуры эти были, что они взаимодействовали и взаимообогащались (по крайней мере до того периода, пока стержень господства и рабства, вынужденный покинуть истощенные им нильские берега, не объявился на обетованных землях) и, что человечество двигалось по гармоничному пути развития; теперь же вдруг выясняется, что у славянства вроде бы не было никогда ни самобытной культуры, ни своей, основанной на этой культуре цивилизации, которая как раз и оказалась задавленной на корню, и что будто бы мы, славяне, всегда были народом никчемным, способным лишь к потребительству благ, создающихся кем-то, вернее, «богоизбранниками», и, если бы не преподнесли нам (опять же с юга, со средиземноморских земель), спасительную религию, а вместе с нею и письменность (и государственность, я бы добавил, сделавшую нас, по существу, рабами на своей земле), — да, если бы не сей приподнесенный нам троянский по глубинному, далеко идущему и скрытому замыслу дар, мы, дескать, так бы и оставались народом, еще не прыгнувшим с ветки, каковым, впрочем, и считают нас

на «просвещенном» Западе. Чтобы до такой степени исказить историю, а главное, придать ей при этом характер правдоподобия, представляю, сколько надо было тронным и околотронным особам потрудиться, дабы, с одной стороны, рушить и предавать забвению славянские памятники, славянские святыни, и, по сути, отторгать народ от питающих корней, от его национальной основы, его самобытности, а с другой — дабы обратить это свое злодеяние в безобидный, стихийный (в соответствии будто бы с промыслом Божиим) ход развития, — да, сколько надо было приложить к этому стараний и изворотливости; но итог этих страданий и изворотливости, как и итог любых исторических деяний, невозможно затушевать никакими научно-досужими измышлениями, и антиславянская (в данном случае) заданность их, как предательские уши, выпирает не только из заакадемизированной всемирной истории, но точно в том же значении проглядывает и из нашей пронафталинившейся в западопоклонстве официальной историографии. Однако вернемся к сути разбираемого вопроса. Ученые говорят, что главнейшим признаком цивилизации следует считать возникновение государственности (возникновение аппарата власти, аппарата насилия, коль скоро перевести сие утверждение на язык здравого смысла), и на этом основании выстраивают свою далеко не беспочвенную теорию о древнеегипетском и древнегреческом первородстве (по крайней мере в рамках европейской истории) цивилизации и культуры. Что ж, все это не подлежало бы сомнению, если бы, во-первых, хищническая цивилизация, вышедшая из Египта, была бы действительно единственной известной в истории человечества цивилизацией и, во-вторых, сопровождавший ее механизм духовного подавления, именуемый культурой и превращенный ныне в отлаженно-государственную систему безостановочного, в нужном направлении, зомбирования простолюдинов (впрочем, как и религии, зомбиработающие на троны), существовал бы только в этом тронноугодническом значении и не представлял бы в каких-либо иных и столь потребных людям в их бытии формах духовного проявления; но ведь мы знаем, что это не так, что, кроме хищнического мироустройства, хищнической цивилизации, насильственно, да, именно насильственно навязанной мировому сообществу, зарождались цивилизации на основах добронравия и миролюбия, которые, если бы они не были задавлены в зародыше, могли бы дать совсем иные формы государственности, и зарождались сопутствующие этим добронравным цивилизациям религии (язычеству, к примеру) и культуры, суть которых, десятикратно искаженная и отвергнутая, заключалась, однако, не в закрепощении, а в раскрепощении духовных, творческих начал в человеке, и если бы мировое сообщество хотело или, вернее, захотело узнать эту скрытую от него правду, оно вполне могло бы сделать это, обратившись к самобытным развитиям народов с той же вдохновенной нацеленностью, с какой (и по которому уже разу) археологически перелопачиваются земли восточного Присредиземноморья, единодушно (с троннозаданным, я бы сказал, единодушием) признающиеся колыбелью неоспоримо или, вернее, неповторимо «великой» нашей «цивилизации». Отсюда выходит, что история человечества есть история поэтапного подавления самобытных, основанных в большинстве своем на добронравных и миролюбивых началах культур и цивилизаций одной, хищнической цивилизацией, ведущей отсчет от фараоновского стержня господства и рабства, некогда вышедшего из страны пирамид на просторы обетованных земель для установления на них своего диктата; в мир была словно бы выплеснута идея абсолютистской державности, как семя на некую благодатную почву, семя зла, причем зла необратимого, лишь обманно или скорее привлекательно прикрытого блестящим царских одежд и корон; но ведь любая идея или идеология, сопряженная с насилием, тем более насилием кровавым, недееспособна сама по себе и может веками, как глыба, безжизненно пребывать во времени и пространстве, пока не обретет носителя или носителей, которые, впрочем, не заставили себя долго ждать, объявившись в лице «богоизбранных», познавших и воспринявших ее индивидуумов и «богоизбранных», положивших ее в основу своего бытия народов; а если это так (что, кстати, как раз и подтверждается всем ходом исторического и текущего мироустройства), если мы имеем дело не просто с древом власти, но с древом от египетского (фараоновского) первородства, то из этого вытекает, что правители, веками (сперва династически, а теперь — по манда-

там от народопомазания) держащие власть, независимо уже от национальной принадлежности, но более чем зависимые от первородства обретаемых ими тронов (ныне президентских и премьерских кресел) и первородства культур, испокон сопровождавших и подкреплявших эти троны, если и не объявляют себя единокровными выходцами с нильских, палестинских, греческих и римских земель, то, во всяком случае, везде и всюду чувствуют себя представителями единого клана «избранников», работают в пользу именно этого своего клана, а не в пользу возглавляемых ими народов, строжайше придерживаются его писаных и неписаных законов, главнейшим из которых является закон о наращивании не столько даже политического и экономического, сколько духовного превосходства правящего клана или правящей нации над поработанным, лишенным самобытности, то есть корней жизни и достоинства, простым людом (чем как раз и достигается возвышение одной, в данном случае древнеегипетской цивилизации, узаконенно-поименованной колыбелью человечества).

LIV

Да, мировая история — это история кровавых подавлений самобытного развития народов в пользу одного народа или, если по-современному, клана «богоизбранных» или ведущих «национальных» правителей, ныне возглавляющих державы и супердержавы, а если точнее, в пользу торжествующего повсюду фараоновского (хищнического) мироустройства. Поиски обетованных земель для утверждения на них своих империй есть та бесконечная и ненасытная цель правителей от древа господства и рабства, ради достижения которой велись и ведутся войны, задумывались, как задумываются и теперь, и осуществлялись, как осуществляются и теперь, глобальные (против неугодных, свободолюбивых, не желавших терять свою самобытность народов) коварства, разорительные нашествия, экономические и духовные экспансии, уносившие куда больше жизней, чем самые кровопролитные баталии, и все эти злодеяния, подчиненные исшедшему из Египта закону державности, проходили под знаком разрушения (и прежде всего под этим знаком) национальных культур поработавшихся племен и народов. Такое явление вряд ли можно назвать стихийным — уже потому, что оно несет в себе заряд определенной заданности; повторяются нашествия, повторяются войны, духовные, экономические экспансии словно бы по единожды и для всех написанному сценарию, и если события древнейших времен, отдаленные от нас настолько, что кажутся абстрактными, могут и не волновать нас, то давайте обратимся к примерам новейшей истории, скажем, к открытию и освоению Америки, этой «обетованной» земли, куда из перенасыщенной властителями и рабами Европы совершил свой очередной исход фараоновский стержень господства и рабства и где, истребив или, вернее, почти повсеместно истребив коренной люд (жалкие остатки индейцев, имевших, кстати сказать, свою государственность — империю инков, — ютятся в милостиво отведенных для них резервациях) и разрушив их национальные святыни, благодушествуют столь кичащиеся ныне «просвещенностью» и «цивилизованностью» (и берущие на себя роль вселенских миротворцев и учителей) приверженцы и учредители фараоновского хищнического миропорядка. В процессе повествования я уже обращался к этому все еще живому в памяти людей межконтинентальному событию — варварству новейшей истории, которое старательно, путем исторических подтасовок и смещений понятий пытаются предать забвению, как предана забвению эпохальная, иначе не скажешь, история славян, имевших свою неповторимую культуру, создававших свою и тоже, может быть, неповторимую и несравнимую ни с чем по добронравию и миролюбию цивилизацию и оказавшихся после тысячелетних притеснений и насилий отрезанными от этих своих исконных корней (разве что по многочисленности мы все еще не заперты в резервациях, которые не раз и не два уготавливались нам), — да, в процессе повествования я уже обращался к этому с реками крови и грудями убиенных тел событию, наложившему печать на всю вторую половину второго от Рождества Христова тысячелетия, которому, впрочем, теперь уже найдено оправдание, будто европейцы всего лишь пытались привнести культуру и цивилизацию на открытый ими континент (что может быть страшнее в своей

иезуитской сущности, чем культура и цивилизация, несущие разорение и смерть коренным народам?). Не таким ли путем (или способом) привносилась вышеназванная «цивилизация» в быт малоазиатских или переднеазиатских народов, к народам Греции, в Римский конгломерат, в Европу, а затем и в Америку, разнясь лишь в масштабности исходов (исходов стержня господства и рабства), но единых по замыслам и исполнению? Об освоении Америки написано несчетно героических и кровавых книг, они известны, читаемы, и факты, изложенные в них, у всех на слуху, так что, думаю, стоит только чуть напрячь воображение, как панорамная картина жестокостей сама собой развернется перед нашим воспаленным взором; оно и неудивительно: посланцы хищничества действовали по-хищнически, и если что-то и может поразить здесь, так только то вселенское фарисейство, тот вселенский обман, под прикрытием которого совершался (как, видимо, и во все времена) этот ужасающий произвол. Аристотель, искавший объяснение вещам и явлениям, говоря об искусстве, утверждал, что «суть искусства — подражание» и что «цель трагедии — очищение»; хотел ли того или не хотел древнегреческий философ, но именно фразой об очистительном значении трагедии он положил начало столь неохватному по своей фарисейской заданности явлению, что едва ли в истории человечества найдется еще что-либо, что по долготельству, вернее, по устойчивости влияния на людей и по нераспознаваемости простейшего по сути обмана могло бы сравниться с этим явлением. Фраза великого грека об очистительной роли трагедии была не просто, не механически, как говорят в таких случаях, перенесена с театральных подмостков на жизнь, но, став, в сущности, стержневой основой большинства ведущих религий мира (и прежде всего христианской религии) и получив новое, уже в обобщенных рамках бытия толкование, то есть войдя божественным предначертанием в наш духовный мир, она не у одного поколения людей отобрала и продолжает отбирать радость жизни и подменять ее неким «наслаждением» от аскетического самоедства или самосадизма (схимничество, например), когда человек, должный вроде бы созидать жизнь, подвергает себя (под одобрительным будто бы оком Бога) физическим, то есть телесным, истязаниям, как если бы с убиением плоти только и может снисходить на людей желанная благодать. Воскрешение через страдание, через убиение плоти — такой путь Христа; таким должен быть и путь человечества; о высказывании Аристотеля, разумеется, уже никто не помнил, идея, выйдя в мир, получила одновременно и божественное, и государственное признание, ибо давала возможность надежнее, чем с помощью любого силового устрашения, удерживать массы простолюдинов в повиновении; еще бы, бедность возводилась в ранг божественных начал, а терпение и покорство, то есть самоотречение от благ и радостей бытия, объявлялись прижизненным мандатом в рай, где за земные страдания будет воздано бессмертием и блаженством. Подобная вера стала называться спасительной, а навязывание ее чужим народам, причем навязывание насильственное, кровавое (в конце концов ведь трагедия очищает человека), — великой божественной миссией. Но как ни покажется это странным, поскольку Бог един и все в Церкви должны быть равны между собой и перед Богом (по крайней мере так утверждает в канонах христианского учения), страдать и очищаться через страдания предстояло только простолюдинам, тогда как властители и их околотронная высокородная челядь «очищались» и искали «спасение» отнюдь не в аскетизме, не в угнетении и тем более умерщвлении своей плоти, ибо душа их в их телесной оболочке как была, так, впрочем, остается и теперь не просто свободной, но в проявлениях своих равной или почти равной возможностям Творца. Эта двойственная мерка или, вернее, двойственный подход к единому будто бы, каким, по сути, и надлежало быть процессу становления и развития человеческого бытия, — двойственная мера или двойственный подход, обозначенный Аристотелем (но ведь он, если разобраться, всего лишь констатировал истину, назвав трагедию на сцене очистительным уроком) и подтвержденный затем христианскими догматами, открыл для европейских правителей, то есть эстафетных держателей фараоновского стержня господства и рабства, новую эру беспредельных и безнаказанных кровопролитий; жизнь простолюдинов, а паче всего чужеродцев еще более чем когда-либо не ценилась ни в грош, у совершавших злодеяния над своим ли, соседними ли народами

не возникало никаких сомнений в том, что они совершают правое дело, на убийства и погромы у них были полностью развязаны руки, ибо, принося народам страдания, они, если по канонам Церкви, несли им очищение, а навязыванием христианской веры, то есть удушением их национальной самобытности, открывали врата к «спасению» и в «рай». Европа гудела от произвола монархов, их высокородных прислужников и церковных иерархов, еврографства, еврокняжества, еврокоролевства того времени были словно оспенной сыпью покрыты кострами инквизиции и эшафотами на городских площадях, обезумевшие от фанатизма толпы крестоносцев торили кровавейшие дороги к Гробу Господнему, разбойные воинские образования возводились в ранг Иисусова воинства и, благословленные Церковью, отправлялись на «святое» (более с мечом, чем с крестом) миссионерское порабощательство. Правители, церковные иерархи, а вместе с ними и народы, паства, начиненная богопредначертанными будто бы канонами самого, по сути, оголтелого хищничества, совершали одно кровавое безумство за другим, выравнивая или, вернее, стремясь подравнять мир, то есть людские сообщества, под одну социальную — со стержнем господства и рабства — и нравственную шеренгу; мир (европейский мир) словно бы ступенька за ступенькой восходил на помост самоуничтожения, люди, не замечая того, рыли для себя могильную яму, как, впрочем, а еще большим безумством и ускорением продолжают рыть и сегодня, полагая, что творят добро, а не преумножают зло. Но безумство, если оно объявляется промыслом Божиим, а церковный и монарший беспредел — правым делом за справедливость, за всеобщее благоденствие, такое безумство и такой беспредел не воспринимаются как зло, совершаемое людьми над людьми (тут следует заметить, что ведь и наша эпоха в этом плане ничуть не отличается от описываемых здесь времен); чем ярче пылали костры инквизиции, чем большими потоками крови заливались дороги крестоносцев, и с большей жестокостью воинством Христа вгонялись в веру язычники, жившие своей самобытной жизнью и лишавшиеся этой самобытности, тем усерднее со светских и церковных амвонов тронуоудники всех рангов аллилуйствовали монархическому и церковному беспределу. Если изучать историю по пропагандистским речам и писаниям того времени (взять хотя бы христианские каноны и заповеди, призывавшие к добру, любви и терпению), то фараоновское мироустройство, фараоновская хищническая цивилизация и в самом деле предстают величайшим достижением человечества; но если обратиться к реальной действительности, как все происходило, что позволяли себе предержатели светской и духовной властей, то от состояния тогдашней жизни, как, впрочем, и от состояния текущей, творимой правителями (тогда — коронованными особами, ныне — вроде бы по мандатам от народа), — от состояния жизни вообще, сопровождающей человечество со времен первого исхода стержня господства и рабства с египетской земли, можно прийти только в ужас, насколько развращен, бездушен и безумен мир в своей оголенной (хищнической) реальности; и этот-то мир, эту-то обгавленную кровью поколений «цивилизацию», словесно облитую добродетелью, явившись на американский континент, европейцы и принялись насаждать среди живших своей самобытной жизнью в меру воинственных, в меру миролюбивых индейских племен.

LV

Что из этого вышло — за истиной не надо углубляться в дебри истории; за одно лишь столетие была, в сущности, сметена с лика Земли целая огромная людская общность со своим национальным укладом жизни, своей зарождавшейся цивилизацией; была сметена с жестокостью, сравнимой разве что лишь с нравами пещерных времен, в то время как в Европе, в Старом и добром свете, казалось бы, уже более десяти веков господствовало христианство с канонами добра и спасительными заповедями и просветительские идеи, набравшие силу, подвигали здравомыслящую часть человечества к идеалам свободы, равенства, братства; человечество, казалось, нащупывало для себя параллельную с хищническим мироустройством — бессмертным стержнем господства и рабства — дорогу всеобщего процветания и благоденствия, но ростки этого так и неосуществившегося будущего были настолько слабы перед многовековым мо-

гуществом фараоновской заданности, что и по сей день остаются лишь едва пробивающимися к свету ростками, тогда как, куда ни обрати взгляд, всюду торжествует — под трескотню автоматов, грохот орудий елейный перезвон церковных колоколов и усыпляющий речитатив политиков — абсолютистский (от «золотого тельца», да, главным образом сегодня от «золотого тельца») режим власти. Потому и неудивительно, что расправа над индейцами, их культурой, цивилизацией, показавшейся европейцам допотопной, дикой, неприемлемой, варварской (в сравнении со своей, хищнической, которую именно за ее хищничество индейцы не могли ни понять, ни принять, встав на защиту — с томагавками, стрелами и копьями против ружей и пушек — национальной самобытности и национального достоинства, и если уж говорить о правах человека, о коих столь прытко пекутся ныне потомки покорителей Америки, то отчего бы этим потомкам не распространить их, пусть хотя бы и запоздало, на живущих в резервациях индейцев?), — да, потому и неудивительно, что столетний кровавый разбой европейцев на облюбованной ими обетованной земле, на которую они ринулись с «благообретенным» ими за века опытом или «багажом» хищничества, воспринимается и сегодня всем или почти всем «просвещенным» миром как некая будто бы вынужденная мера, к какой не могли не прибегнуть европейцы, и, естественно, ни о каком покаянии за убиение целых народов и разорение их самобытных, по-своему уникальных цивилизаций никто даже не намерен помышлять. Варварство новейшей истории в чистой своей пробе на глазах у мирового сообщества и словно бы с его молчаливого согласия и одобрения (тогда как явление это — лишь очередное замечание кровавых следов, дабы ничто не могло порочить «вековую незапятнанность» фараоновского стержня господства и рабства), — варварство это, это человеконенавистничество, сравнимое по масштабам содеянного разве лишь с европейским (германским) фашизмом, обеляется и предается забвению, как предавались забвению и все предыдущие за эпохальную историю человечества великие и малые насилия над народами, ибо только забвением (постулат, давно и с лихвой усвоенный властителями тронов) или вкраплением их в некий соиздательный (естественный вроде бы, стихийный) процесс становления и развития людских сообществ может приоткрываться беспрепятственная дорога для новых творимых властителями кровавых катаклизмов. Участь индейцев — это, может быть, только наиболее близкая и обозримая, то есть очевидная для нас, часть тех совершенных правителями деяний над миролюбивым (по преимуществу), добронравным и доверчивым людом Земли (правителями, разумеется, с эстафетным жупелом ишедшего из Египта фараоновского стержня господства и рабства, жупелом хищничества), какими, как ни поворачивай и ни перетрясай их, буквально, иначе не выразишь, да, буквально наполнены через край века и которые за давностью лет (и, конечно же, по обеленным до неузнаваемости характеристикам и возвеличенным оценкам) либо не воспринимаются нами вообще, либо если и воспринимаются, то лишь как некие библейские или античные легенды, смысловое и эмоциональное воздействие которых в лучшем случае сводится к какой-либо с сожалением или изумлением произнесенной фразе, а то и вовсе к нулю. А между тем за пределами нашего внимания остается именно главный вопрос не только истории как таковой, но вопрос текущей и будущей жизни как отдельных личностей, то есть каждого из нас, так и людских сообществ и государств. Все народы, и тут нет преувеличения, не раз и не два за свою историю подвергались национальному оскотлению являвшимся к ним на их обетованные земли фараоновским стержнем господства и рабства (в чем, собственно, и сподобились «просвещенные» европейцы, ступившие на земли американских туземцев, дабы хищнически расчистить для себя их жизненное пространство), так что пример «освоения» Америки есть всего лишь зеркальное — с перманентным наращиванием жестокости — отражение всех тех событий, которые, завершаясь трагедиями народов и гибелью их хрупких еще цивилизаций, кандальей цепью продолжают и ныне укладывать в нашу великую, как мы называем ее, историю становления и развития человеческого сообщества. Процесс подавления и удушения самобытных национальных культур и цивилизаций, в большинстве своем равный изничтожению тех или иных челове-

ческих особей (ведь даже растение, когда его подрубают под корень, чахнет, засыхает и погибает, что, собственно, происходит и с народами, когда подсекаются корни их национального бытия и подменяется нравственная и социальная среда обитания), — процесс этот среди разных народов протекал и завершался по-разному; в одних случаях хватало и столетия или двух, чтобы безоговорочно восторжествовал фараоновский стержень господства и рабства и покоренный народ, потерявший нравственную и социальную опору жизни, либо смиренно переходил в состояние пожизненного рабства, как это произошло в Присредиземноморье и на раздольях Центральной Европы, либо, взявшись за оружие, обескровливался и погибал, оставляя после себя лишь легендарную память борцов-одиночек, предпочтивших смерть безысходному рабству, тогда как в других случаях, что оказалось, к примеру, характерным для славянства, особенно восточного, борьба после первых же столкновений приняла затяжной характер, то есть вступила в стадию многовекового скрытого противостояния, в котором, однако, несмотря на свое многолюдство, славянство не в силах было (опять же в одиночку) сдерживать напор фараоновского стержня господства и рабства, набравшегося почти уже вселенского могущества, и, сдавая одну позицию за другой (во многом еще и из-за неистребимости добронравия, миролюбия, доверчивости), отходило все дальше и дальше на восток и на север, углубляясь в суровые, почти уже неприступные края, оставляя исконные свои земли, а вместе с ними и традиции жизни на ней, то есть те самые корни и ту самобытность, которые любой народ делают народом единым, сильным, самостоятельным и решительным в своих политических, экономических, культурных и нравственных проявлениях.

LVI

Как и большинство народов мира, мы не знаем себя, тех изначальных духовных ценностей, созидавшихся нашими предками, какие, лишь теплыми рассветлыми тенями являясь в душах людей и в душе народа, до сих пор продолжают притягивать к себе как нечто великое, достойное великого народа, к чему мы имели или по крайней мере должны были иметь если не прямое, то достаточно сближающее или роднящее нас с этим великим отношение. Кому-то, наверное, покажется абсурдным такое состояние, когда целая огромная человеческая общность, занимавшая в свое время две трети территории Европы, живет ностальгией по прошлому, которого не знает, не помнит, как может только дитя не знать и не помнить своей матери, умершей (или убиенной, что более уместно здесь) при его родах, — да, кому-то, наверное, покажется абсурдным такое состояние целой огромной человеческой общности, от многолюдства ли, от безграничной ли душевной щедрости, или преступной самонадеянности и беспечности подрастерявшей на пространстве веков достижения отцов, дедов, прадедов, пращуров, поскольку-де подобное состояние лишено самой простейшей, элементарной логики, по законам которой будто бы только и движется и создается жизнь. Однако небесполезно заметить здесь, что жизнь в природе и жизнь в логическом ее построении — далеко и далеко не равнозначные величины, ибо как в материальных проявлениях природы, так и в духовных проявлениях человека, людских сообществах или человечества в целом куда больше примеров алгичности (и такие проявления, кстати, всегда творятся в рамках определенных закономерностей), чем примеров строгой и неотступной логичности, и если бы мы в своих исследованиях и суждениях отталкивались не от изобретенной нами логики, а исходили из реальных свершений бытия, то «ностальгическая болезнь» (для целостности восприятия можно и так назвать наше многовековое душевное состояние), — «ностальгическая болезнь» по прошлому, о котором ничего или почти ничего не знаем и не помним, явилась бы прямым доказательством того, что, да, у славянства была своя великая культура, своя (альтернативная хищничеству) зарождавшаяся великая цивилизация, свои святые или священные для нас памятники, частью обращенные в прах толпами диких орд, прокатывавшихся с востока на запад по нашей земле, частью разрушенные в результате военных, экономических и духовных экспансий, направ-

лявшихся (от фараоновского стержня господства и рабства) с «просвещенного» Запада с еще более дальновидно продуманными поработительскими целями. Запад искал обетованные земли, они были у него под боком, были славянскими, а проживавшие на них народы и племена — единой, но затем разрозненной на отдельные сообщества славянской ветвью человечества, и, мне кажется (в чем позволю себе повториться), нет никаких оснований полагать, чтобы самая, может быть, многочисленная, по европейским масштабам, разумеется, ветвь человечества не создала или, вернее, не дала бы миру никаких материальных или духовных ценностей. Что касается материальных, то они, как уже отмечалось, оказались настолько надежно (прежде обращенные в пепел и прах) упокоенными под наслоениями веков, что при нынешнем небрежении «отечественных» археологов и историков к отечественной истории и явном нежелании иерархов мировой археологической и исторической наук восстановить хотя бы частично славянскую культуру и славянскую цивилизацию («А была ли вообще таковая?») — вот и весь так называемый научный ответ, как выстрел, с одной стороны, вроде бы холостой, а с другой — укладывающийся наповал жертву, дабы ни у кого впредь не возникало искушение претендовать на ведущую в становлении общественного бытия роль древних «египтян» или, скажем, античных — свободных — греков), — да, что касается материальных ценностей, которые явились бы прямым доказательством существования древнеславянской культуры, древнеславянской цивилизации, то они, эти ценности, возможно, и в самом деле (вековыми усилиями фараоновской державности) оказались теперь уже навсегда утраченными как для нас, так и для мировой общественности; но ведь должен же быть духовный эквивалент тех достижений, того состояния общественной жизни, ибо, как признается всеми, дух бессмертен, и если соединить или, вернее, сличить прошлую и нынешнюю характеристики славянства вообще и восточного, в частности, насколько они изменились или не изменились в своей усвоенной (от корневых основ) заданности, то эквивалентом таким окажется наша несломленная, несмотря на многовековые и жесточайшие испытания хищничеством, духовность, наши исконные (и губительные по нынешним временам, да, именно губительные, поскольку хищничество требует беспощадности и бездушия) миролюбие, добронравие, доверчивость, сердечность. Мы и сегодня предстаем такими же доброжелательными, великодушными, сдобольными, склонными к прощению, даже ко всепрощению, какими увидели и описали нас Геродот и Тацит (о чем в первой книге я достаточно уже говорил и приводил примеры для сравнения) и какими, как можно предположить, мы были задолго до геродотовского и тацитовского писаний. Древнеегипетская, как, впрочем, и древнегреческая, целиком почти основанная на древнеегипетской (ближневосточной, иногда употребляется и такой термин), — это культуры и цивилизации, рожденные во дворцах и храмах, и, будучи плоть от плоти правителей, изначально уже находились в их подчинении, тогда как древнеславянская культура и древнеславянская цивилизация, не знавшие государственности (фараоновской, уточним, со стержнем господства и рабства, ныне уже повсеместно угнетающим человечество), — древнеславянская культура и древнеславянская цивилизация, базировавшиеся не на основах державности, то есть не на основах захватов, грабежей, поборов и поработчений, а на основах миролюбия и добронравия (ну как тут опять не вспомнить свидетельств Геродота и Тацита), возникали скорее из потребностей народной жизни, чем только из потребностей обитателей дворцов и храмов, а потому и несли в себе не заряд ублажения правителей, а заряд общенациональных духовных проявлений. Трактовка эта, я понимаю, противоречит общепризнанной схеме развития человечества, в которой все, как в образцовом амбаре, разложено по полочкам и помечено бирками: век пещерный, век варварства, родовые и племенные сообщества как начало государственности и затем возникновение государственности как шаг к цивилизации и культуре (лишь одно предстает здесь странным, а то именно, что означенная схема чаще всего прилагается к таким народам, как славянский, лишенным своей самобытности и отторгнутым от своей истории, — унифицированная система, видимо, как раз и призвана подменять им и их само-

бытность, и национальные корни, и историю,— тогда как действие ее сейчас же сводится на нет, едва речь заходит о прародителях нынешней хищнической цивилизации, будто древние египтяне и античные греки родились и в самом деле в рубашках); но я так же понимаю, что официально канонизированная история человечества настолько односторонне (в пользу стержня господства и рабства, в пользу тронов) искажена, что ее скорее можно назвать историей вымысла, чем историей реального бытия, и это, во-первых, дает мне право на поиск истины и, во-вторых, опираться в этих поисках не на тронногодническую изоэтрность иерархов «от знаний», а на хотя и недостаточные, но все же подлинные свидетельства истории, как это вполне очевидно с разбираемым мною здесь примером исчезнувшей, а по официальным источникам будто бы никогда не существовавшей древнеславянской культуры и древнеславянской цивилизации. Что ж, предки наши действительно-таки не оставили миру каменных или каких-либо еще пирамид, этих экспонатов беспредела царской власти и жесточайшего бесправия простолюдинов, не создали для «восхищения» потомков обнаженные — в граните и мраморе — тела своих современников, как древние греки и римляне, обставлявшие дворцы, святилища, храмы этими изваянными фигурами для улаживания будто эстетических, а по сути развратных потребностей (чем-то же в конце концов надо было занимать время, ибо нет ничего скучнее и бессмысленнее для человека, чем проводить дни, годы в усадях и неге, тогда как простолюдином, добывающим в поте лица хлеб насущный, было не до подобных ваяний, как не до подобных ваяний трудовому люду и теперь), не разбивали предки наши и «садов Семирамиды», поскольку ни среди родовых, ни среди племенных, то есть общинных, старшин, не было ни богов, ни полубогов, стремившихся или, вернее, самонаделивших себя беспределом власти, дабы улаживать (небесно улаживать) на истощении сородичей свои божественные или полубожественные прихоти, как нет и древнеславянского «чуда» среди тех семи «чудес света», которые, если поддаться официальным историческим оценкам, являются величайшим плодом и гордостью их первородных (по фараоновскому стержню господства и рабства) создателей, а если с позиций действительного предназначения — представляются лишь маяками или символами превосходства и бессмертия абсолютистской (древнеегипетской, исшедшей на обетованные земли) державности; на этом же основании полагаю, что не было у славянства повода или нужды в сочинительстве своего Талмуда или иных каких-либо рукописных памятников, подобных Старому и Новому библейским заветам, поскольку ни в народе, ни среди родовых, племенных или общинных старшин не возникала (опять же по Геродоту и Тациту) мысль о захвате чужих земель и порабощении сопредельных народов и славянство не задавалось целью навязывать миру свое мировосприятие, свое самобытное мироустройство (пусть даже и из благородных намерений, ибо подобное навязывание есть не что иное, как духовная экспансия, за которой обычно следуют политическое и экономическое закабаления), да, да и еще раз да, славянство, как ветвь от древа жизни мирового сообщества людей, не причастно ни к чему, что основывалось и продолжает основываться на хищнических началах как абсолютное, если не сказать больше, зло, развращающее человечество и подвигающее его к обнищанию, истощению и самоубийству; нет таких доказательств (кроме оголтелой риторики Запада, которому славянство — то ли по многолюдству, то ли по нравственной несовместимости, ибо добро и зло действительно-таки несовместимы — как кость в горле), да, нет таких доказательств, коими была бы кроваво испещрена наша древнейшая и новейшая истории, не считая, разумеется, имперских замашек правивших нами чужеродцев, и факт этот, вернее, эта вытекающая из фактов историческая непогрешимость — разве она ни о чем не говорит нам, преемникам этой непогрешимости, и разве мировое сообщество (прежде всего в лице иерархов от знаний, берущих на себя право выносить окончательные суждения по вопросам первородства и непервородства культур и цивилизаций), — разве мировое сообщество, если бы оно не было повязано тронногодничеством, могло бы обойти вниманием эту кричащую истину?

LVII

Но что же в таком случае представляли собой древнеславянская культура и древнеславянская цивилизация, и какое наследие, тем более великое, могли оставить мировому сообществу эти две составляющие суть человеческого бытия сферы материального и духовного проявления? Хищничество, которое мы видим вокруг себя, самовыразилось как в вышеназванных памятниках державности (ведь и нынешние небоскребы Нью-Йорка суть те же египетские пирамиды, символизирующие всеохватное могущество власти, хотя власть сегодня — это уже власть не от Бога, а от «золотого тельца», какой, впрочем, она была всегда, обряжавшаяся лишь в одежды новых и новейших потребностей), так и в сфере духовного порабощения, и в этом плане — чего стоит только религиозный фанатизм, привнесенный христианским и мусульманским учениями, на который как опирались в прошлом, так продолжают опираться и теперь правители всех рангов, словно на столпы вековой неуязвимости (тут, пожалуй, следует заметить, что фанатизм, оборачивающийся безумством масс, может вызываться и навязыванием всякого рода социальных идей или программ, открывающих будто бы людским сообществам путь к скорому или скорейшему оздоровлению, тогда как факты истории говорят лишь о том, что за всеми, да, за всеми без исключения провозглашавшимися «оздоровительными» идеями и программами всегда стояли, как стоят и сегодня, интересы все того же непревзойденного по живучести фараоновского стержня господства и рабства). Главный же заряд хищнической цивилизации, который она (в нарастающем темпе) несет людям, это растение человеческих душ; растение через порабощительские войны, в которые втягиваются массы простолюдинов, через грабежи, в том числе и государственные, как способ скорого и легкого обогащения, через разжигаемую в людях страсть к обретению богатств, славы и власти, через коварства, обманы, подлоги, ложь, в том числе и ложь духовную и политическую, через прелюбодеяния и, наконец, через узаконенность рабства, бесконечного, со сменой форм и раздаваемых обещаний, так что сколько бы иерархи от тронноугодничества ни восхваляли торжествующий ныне миропорядок, в какие бы демократические и супердемократические короны ни облачали его, стержневая суть хищничества как была, так и остается неизменной, человечество не живет той полнокровной жизнью, какая изначально предназначалась ему (да, я смею так полагать, поскольку цель гармонии, к которой во все времена была устремлена природа, не могла и не может заключаться в страданиях, ибо — каков же тогда смысл ее стараний?), но в подавляющем большинстве своем тяготеет к ней, не находя, куда и к чему преклониться, и если подобную «цивилизацию» можно назвать «великой», тогда следует признать, что не добро, а зло есть ведущая сила жизни (по крайней мере мы стали бы искренними сами с собой), что не проявление добра, а проявление зла есть высшее выражение достоинства человека, народа, государства или кланов личностей, народов, государств. Такое откровение, во-первых, привело бы в соответствие жизнь, как она протекает в реальности, с ее канонизированным (тронноугодным, продиктованным фараоновским стержнем господства и рабства) толкованием, но, приученное жить во лжи, человечество вряд ли сегодня готово на подобное откровение, зло, как и прежде, провозглашается добром, развращение и растление — свободным проявлением духовности; грабежи, насилия, убийства — правом на жизнедеятельность государства; ростовщичество — неотъемлемым правом личностей на свободу действий, а цивилизация в целом — великим достижением человеческого ума и человеческой воли. Да, мы настолько привыкли к такому толкованию исторической и текущей жизни, что всякое новое слово в этом вопросе не просто представляется нам неприемлемым, но мы принимаем его в штыки, как посягательство на святые деяния предков, столь милостиво преподнесших нам и государственность (хищническую государственность), и культуру (тронноугодническую культуру), и цивилизацию (хищническую цивилизацию, подвигающую всех нас к разорению и самоубийству), и столь усвоенно существовавших машину массового внушения, одурачивания и психоза (в повседневной жизни мы почти не замечаем воздействие этой машины), что нам

дано только заглатывать в поколениях эту тронно-церковно-божественно изготовленную наживку, эту блесну с крючком рабства, которую мы и заглатываем по нашему историческому и сиюминутному нежевесту и затем удивляемся жестокости и несправедливости жизни. А ведь любая ложь, как и любое спрavedливое дело, в сути своей просты и распознаваемы, если с позиций беспредвзятости и реализма рассматривать их: вся наша нынешняя «цивилизация» есть не что иное, как расслоение наций и государств на господствующие (их меньшинство, возможно, даже единицы), и зависимые, то есть поставленные в кабальное положение (их называют еще сырьевыми придатками супердержав), и расслоение это, если поглубже заглянуть в историю, имеет свое хотя и странное, но вполне вроде бы научное обоснование, дескать, одни нации и народы развивались быстрее как в сфере общественных, так и в сфере государственных отношений (правда, нет пока надлежащей ясности, что же в конце концов лежит в основе подобного ускорения, просто ли некая родовитость или «богоизбранность», или что-либо еще, что ведомо только Творцу, и не должно и не может быть ведомо людям), тогда как другие, а их подавляющее большинство, шли к этому же «прогрессу» с отставанием на столетия, а иногда и на тысячелетия. Так-то оно, может быть, и так, да немножечко не так, если, отбросив все преподнесенные и преподносимые академические и церковные каноны, посмотреть на это же явление с иной стороны и задаться вопросом, почему одни народы и государства, которые в меньшинстве и которые сегодня верховодят миром, чувствуют себя в хищнической системе бытия как рыбы в воде, а другие, представляющие девять десятых человечества, — сколько ни гнет, ни ломает их фараоновский стержень господства и рабства, никак не могут приспособиться к этой чужеродной, навязанной им среде обитания? Обращает на себя внимание и еще одно немаловажное и тоже относящееся к явлениям исторического порядка обстоятельство, а именно, что стихия хищничества приемлема, главным образом, лишь тем личностям, кланам личностей и людским сообществам, которые связывают свои корни с фараоновским первородством господства и рабства, то есть с тем стержнем абсолютистской державности, который, сойдя с обглоданных нильских берегов на новые обетованные земли, как раз и принес миру пожинаемые теперь нами (человечеством в целом) плоды так называемой «великой цивилизации», и неприемлема для тех, чье самобытное развитие не знало ни государственности в том варианте насилия и подавления, в каком она позднее была силой навязана им, ни «цивилизации» с ее беспределом прав для избранных и абсолютным бесправием для простолюдинов, с ее захватническими войнами, экономическими и духовными экспансиями, коварствами, устраними, пытками и убийствами, которые не просто творятся людьми над людьми (правителями над народами), но творятся под буфторским покровом грядущего благоденствия. Конечно, можно сказать, что всякий народ достоин своей истории, а человечество — столь неординарной (по силе и продолжительности трагизма) своей судьбы; но ведь подобная оценка, несмотря на всю свою лаконичность и красоту, не соответствует действительности, ибо самобытный путь развития у большинства народов оказался прерванным, а навязанная им фараоновская система бытия со служанкой культурой, служанкой государственностью, служанкой цивилизацией (как ни крути, а история беспощадна в своей реалистичности), — навязанная им фараоновская система, лишившая их национальных корней, обезоружила их. Наверное, я не открою ничего нового, если скажу, что нынешнее расслоение или, вернее, раздвоение мира на тех, кто навязывает хищничество (под каким бы предлогом ни производилось это), и тех, кто страдает от этого миропорядка и не приемлет его, является самым что ни на есть прямым зеркальным отражением тех давних веков, той неподъемной уже будто бы древности, когда человечество, не подвергшись еще исходу стрежня господства и рабства на обетованные земли, имело перед собой по меньшей мере два пути самобытного развития: жить в войнах, разбоях, грабежах и жить в миролюбии; и соответственно народ или народы, чьи общественные отношения и общественное бытие вырастали на столпах хищничества (Древний Египет, «век Богов», фараоны и рабы), обрели, что вполне естественно, паразитическую нравственность, тогда как народы, чья зарождавшаяся

ся цивилизация была обращена к добру, сердечности, состраданию и дружелюбию (и была затем задавлена на корню нашествием хищничества), могли вынести из той своей старины только то, что было состоянием их жизни, было для них выражением человеческого достоинства и укрепляло их в этом достоинстве.

LVIII

Историки и философы восемнадцатого и девятнадцатого столетий, задавшись целью найти причину неприспособленности славянства, особенно восточного, российского, к хищническим условиям бытия, прежде всего обратили внимание на нравственно-историческую характеристику этого народа, на неистребимые в нем доброту, доверчивость, миролюбие и сердечность (в сравнении, скажем, с рационалистичными до фанатической жестокости немцами, на что указывали еще Геродот и Тацит, да и не только, вернее, не столько с немцами, сколько с кланом личностей и людских сообществ, вставших ныне во главе супердержав и правящих миром), но вывод, к какому пришли сии отечественные исследователи исторической и текущей действительности, основываясь на своем «открытии», сделанном, правда, спустя много веков вслед за Геродотом и Тацитом, — вывод настолько нелеп, одиозен, наконец, антиисторичен и антинароден, что его не только нельзя признать хоть в какой-то мере научно обоснованным, работающим на возрождение славянства, его самобытной культуры, цивилизации, на укрепление славянского достоинства и углубление славянского самосознания, но трудно даже поверить, чтобы эти иерархи от исторических и философских знаний были не то чтобы плоть от плоти народа, судьбу которого взялись рассмотреть и решить, но хоть с какой-либо стороны были причастны к его трагической повседневности; их (по их деяниям) скорее можно было бы окрестить подставниками, готовыми ради своих чужеземных пристрастий (чужеземной, от фараоновского стержня господства и рабства, фараоновской заданности) навязать славянству, особенно, повторно замечу, восточному, российскому, некий вроде бы даже почетный, но совершенно несвойственный ему ярлык богоизбранности, то есть придать черты народа-мессии, призванного своими неисчислимыми страданиями принести мировому сообществу, погрязшему в беспробудном хищничестве, очищение и спасение. После легенды о «призвании» Рюрика с братьями и «со всей русью» на княжение — «земля наша богата, народ добр, трудолюбив, покладист, приходи и владей нами», — которая обернулась для нас тысячелетним чужеземным правлением (семьсот лет — Рюриковичи, триста — Романовы), этот второй вымысел, вымысел о народе-мессии, сдобренный понятием «богоизбранности», есть не что иное, как новый грандиозный обман, чреватый для нас растянутым на века медленным и необратимым самоубийством, а по сути, полным вымиранием нации, и — вряд ли будет пристойно здесь отделаться лишь упоминанием об этом (опять же навязанном нам) могильном явлении и решительнейшим образом не высказать свое к нему отношение. Возможно, историки и философы, разрабатывавшие теорию славянской (российской, русской) избранности, славянского (российского, русского, под эгидой православия и самодержавия, а проще, под крылом византийского двуглавого орла, олицетворявшего собой одновременно и двуединство светской и церковной власти и хищническую суть этого двуединства) мессианства, действительно хотели приподнять славянство с колен и пробудить к активной жизни, однако то, что сочинили и что сразу же, вернее, почти сразу же получило официальное признание как в России (особенно среди либеральствовавшего дворянства, искавшего, чем бы заглушить совесть и оправдаться перед народом за крепостничество), так и на Западе, сравнимо разве что (в образном выражении) с тщательно отреставрированным в тронноугодной заданности и позолоченным для убажания глаз все тем же вековым — простолыдину от властителей — ярмом, от которого благодаря позолоте на нем, то есть мете «богоизбранности» и мессианской предначертанности (чем не возвеличивание!), невозможно или, вернее, не просто будет освободиться. По-моему, есть в этом нечто кощунственное, когда столетиями пребывавший в крепостничестве

народ пытаются представить «богоизбранным»; подобным возвеличиванием мы, по существу, выставаемся на посмешище перед миром — этикие безземельные и бесправные «носители великой духовности», разменявшие (причем предполагается, что вполне добровольно, осознанно) благо на страдания и до потемнения упоенные теперь этим своим разменом, этим благообретенным будто бы и благовоспринятым с подачи чужеземцев обманом; выставаемся, как некие фанаты от нищеты, убожества и безграничной терпимости, некий народ, помеченный в спасители человечества перстом Божиим и настолько уверовавший в эту свою «великую» миссию, что готов до конца, до полного исчезновения нации нести этот взваленный на спину мученический крест. Думаю, нет нужды говорить, что такая характеристика славянства ничего общего не имеет с жизнью, какой оно живет сегодня, жило вчера, позавчера, всегда; да, мы доброжелательны, терпеливы, покладисты, доверчивы, но ведь эта наша национальная особенность никак не связана ни с «богоизбранностью», ни с возложенной будто бы на нас спасительной миссией, мы всего лишь дети своей древнеславянской цивилизации (духовности, культуры), развивавшейся на началах добронравия и миролюбия, альтернативных хищническому миропорядку, и если за века испытаний стержнем господства и рабства славянство не утратило, не растеряло этих качеств, а, напротив, только укрепилось, как свидетельствуют история и современность, в изначальных идеалах своего общественного бытия, то это лишь доказывает (исторически доказывает), что, во-первых, древнеславянская цивилизация действительно-таки существовала как явление, противостоявшее исшедшей из Египта фараоновской державности, и что именно она, а не торжествующее ныне хищничество, имеет право не по присвоенному тронным произволом эпитету, а по сути своей называться великой. Итак, мы дети своей великой цивилизации, отнятой у нас и задавленной на корню; задавленной настолько, настолько выветренной из памяти человечества, что даже простое упоминание о ней, звучащее на фоне нашей «особой роли в истории» и приписанной нам «богоизбранности», — даже простое упоминание о древнеславянской культуре и древнеславянской цивилизации, которых вроде бы и не было вовсе, вызывает лишь недоверие и усмешку у высокопросвещенных, как-выми они мнят себя, стоящих будто бы над всем остальным «мусором человечества», европейских и заокеанских — из Нового Света — народов. Что ж, есть просвещение и «просвещение», если углубиться в содержание этого однозначно, к сожалению, воспринимаемого нами понятия, то есть когда на стол познания подается истина и когда — тронугодные измышления вместо нее и я не думаю, чтобы те, кто, трясь о троны и кормясь от них, сочиняет и увековечивает эти измышления, — чтобы иерархи сии не понимали, в угоду каким силам они творят свой чудовищный обман; измышления эти, обращенные в святость, подаются затем в академических, просветительских и религиозно-церковных упаковках народам: одним, сумевшим захватить (духовно присоединившись к фараоновскому стержню абсолютистской державности) господство над миром, — на благо, ибо господство всегда стояло и может стоять только на насилии и обмане, и чем глобальнее насилие и обман, тем надежнее защищены троны, тогда как другим, отвергающим хищничество и не умеющим приспособиться в нем, как это на глазах у мирового сообщества происходит не только со славянством, но и с народами Индии, Африки, Азии, Северной и Южной Америки да и коренными западноевропейцами, вряд ли сегодня ясно представляющими себе, какой была их древняя, до захватнических походов Юлия Цезаря, и древнейшая история — для еще более полного забвения своей изначальной культуры и изначальной цивилизации, так что, да, есть просвещение и «просвещение», одно, по которому «просвещают» нас, простолудинов, да и все человечество, заводя его в непролазный тупик, и другое, которое как было, так и остается недоступным для народов, помеченных некой печатью второразрядности, печатью вековой отсталости, а по сути, приговоренных фараоновским стержнем господства и рабства на пожизненную безысходность. Чтобы осознать это, не нужно далеко углубляться в историю, а достаточно только взглянуть реалистически взглядом на нынешнее состояние жизни людских сообществ; мы ли выгядим смешными в глазах «просвещенных» европейцев, мнение которых фор-

мируется точно так же, как и наше, тронноподаваемыми (разумеется, из своих верхов) скрижальными установками, они ли перед нами с этим своим попугайным высокомерием, но не смешными, конечно же, а зловещими по известной нам перманентности коварства и неуменно проявляемой двуличности,— это еще вопрос, ответ на который может дать только, с одной стороны, обнародование истинной истории человечества в разрезе не завершенной еще схватки двух противостоящих друг другу жизненных начал — хищничества и добронравия, а с другой — безоговорочное признание прав любого народа на самобытное развитие. Я готов бессчетно повторять, что, да, мы всего лишь дети своей древнеславянской культуры, своей древнеславянской цивилизации, которая хотя и не может похвастаться тем, что «подарила» миру величественные вроде бы, но бессмысленные с точки зрения народного бытия символы могущества богатства, славы и власти (награбленного богатства, следует добавить, кровавой славы и тиранствующей власти), а заодно и ввергла мир (на что только и способно хищничество) в бесконечные войны, разбои, физическое, экономическое и духовное порабощение (обглаживания и исходы, исходы и обглаживания), но она велика тем, что, развиваясь в пределах гармоничных начал общественного устройства жизни (во втором разделе книги я еще вернусь к этому высказыванию, чтобы оно не осталось только утверждением, лишенным исторической обоснованности), сумела настолько основательно закрепить в нашем геном восприятия величие, силу и значимость добронравия, миролюбия, добрососедства, что мы, по сути (если применительно к нынешнему состоянию мира), стали заложниками этой своей великой, да, великой и чуждой хищничеству нравственности, заложниками нашего доверчивого и покладистого национального характера, нашей натуры, готовой скорее на сердоболие, чем на озлобление, наконец, заложниками самой нормальной, если по объективным природным меркам, человеческой сущности, а проще, человечности, которая в условиях хищнического мироустройства, как это теперь уже очевидно и нам, равна пороку национального самоуничтожения. Но вместо того, чтобы понять, что же на самом деле происходит со славянством (откуда и что за ностальгия у этого народа по утраченному великому прошлому), и, поняв, поддержать его в его проявлениях человечности, иерархи от исторических и философских наук, как «отечественные», так и закордонные, ставят нас, и не случайно, конечно же, в положение богоизбранного народа (хотя к таковому в действительности следует отнести не нас, а тех, кто правил и правит миром, присоединившись к фараоновскому стержню господства и рабства еще при первом его исходе из Египта на обетованные земли и приняв или признав хищнический уклад своим национальным духовным достоянием), в положение народа-мессии, призванного принять страдания человечества на себя и, поправ смертью смерть, как это сделал Христос, принести человечеству очищение и спасение; иначе говоря, согласно этой славянофильской теории, которой не одно уже столетие бодрят и усыпляют нас, используя, как трамплин для обретения и укрепления исконно чужеродной на Руси, да, с полным правом можно сказать и так, власти,— согласно этой теории славянство, по сути, должно исчезнуть с лика Земли как одна из великих ветвей древа человеческой жизни, преодолев при этом тысячелетний путь мученичества, восходя на глазах и в сопровождении ротозействующего мирового сообщества на предначертанную судьбой Голгофу.

LIX

Ученые, подвизающиеся на исторической и философской ниве, с настойчивостью продолжают делить человечество на высокоразвитые, ведущие нации и народы и нации и народы отсталые, пребывающие будто бы все еще чуть ли не в пещерном веке, выдавая тем самым правителям этих «высокоразвитых» наций и народов, а в некотором роде и самим этим нациям, народам, государствам вполне легитимный мандат если и не на мировое господство, то по крайней мере на неоспоримо пожизненное диктаторство. Случайно это или не случайно, и чего тут больше, обычного ли предательства интересов народа или народов, что было и остается характерным для всех времен и режимов, ибо подоб-

ное деяние, тем более если оно носит глобальный характер, всегда с щедростью оплачивалось и оплачивается властителями тронов, или определенной (опять же тронной) заданности, когда ни о каком научном подходе нечего и говорить, а все сводится лишь к палаческому, в данном случае именно к палаческому исполнителству, — не личностям, а человечеству в целом следовало бы судить об этом; ложь, во всех сферах жизни пронизавшая нас, я убежден, не может оставаться незамеченной, и если говорить о возникновении лжи в области исторических познаний, то первопосыл этого явления следует отнести еще к фараоновским временам, временам процветания «века Богов», когда властители монополизировали или, вернее, узурпировали право исследовать, излагать и комментировать (научно комментировать, если по нынешним понятиям) ход исторических и текущих событий; с точки зрения тронов и тронных особ, это было величайшим достижением, поскольку открывало правителям перспективы не только силой или волей управлять закабаленными и закабаляемыми народами, но и воздействием исторических примеров, изложенных с нужной назидательной и оправдательной (царские одежды не могут оставаться запятнанными) заданностью, удерживать массы простолюдинов от исторического и сиюминутного прозрения. Ведь цивилизация, которую мы сегодня провозглашаем великой, это цивилизация зла, насилий, коварств и обманов, и если все содеянное ею против человечества можно было бы разложить по степени тяжести на культуру, религию, искусство, науки, на этих неизменных прислужников хищнического мироустройства, то самая большая вина так ли, иначе ли пала бы на иерархов от исторических и философских наук. Именно иерархами от этих наук, возведенными в ранги академиков и профессоров, ранги величайших мыслителей всех времен и народов, фальсифицируется история, выкладывается на просветительский стол человечества то ложное представление об исторических и текущих событиях бытия, которое затем, канонизированное светской и духовной властью, как раз и приводит людские сообщества ко всем тем заблуждениям, из коих веками, да, веками, эпохами, народы не могут выбраться на истинную дорогу человеческой жизни; да если бы только к заблуждениям, что можно истолковать как нечто невинное, совершенное без какого-либо умысла, а лишь по глупости, невнимательности или недоумию, — да, если бы только к заблуждениям, из которых, пока они не обращены в неприкосновенную и непререкаемую святость, всегда можно найти выход, но дело в том, что, принимая запрограммированный тронами глобальный обман за обыкновенное, невинное заблуждение, мы впадаем во вторичное и еще более оглуляющее нас заблуждение, вторичный обман. Аристотель, поделивший мир на господ и рабов, то есть на носителей духа, а дух будто бы уже сам по себе предполагает господство, и обладателей плоти, которая для того и создана, чтобы быть в подчинении, не просто изрек друг открывшуюся ему истину, как это представлялось многим прежде и продолжает представляться теперь, дескать, гении потому и гении, что могут одаривать мир истинами, не нуждающимися в доказательствах, но — это далеко не так; он обобщил и возвел в абсолют лишь то, что видел вокруг себя, что было злом, было позором, лежащим и ныне на человечестве, и в то же время было той единственно приемлемой для тронов (для исшедшего из Египта фараоновского стержня господства и рабства, начавшего уже основательно к тому времени утверждаться на «облюбованных» им обетованных землях) системой общественных отношений и общественного бытия, которую властители жаждали обратить в нечто бессменное и бессмертное, должное до истечения веков обслуживать и питать их, и хотел ли, не хотел ли заглавный философ Греции, но, по сути, аксиоматичным высказыванием своим как раз и выдал тронам искомый ими мандат. Как властители воспользовались этим мандатом — убедительнее всего говорит сама история; отмежевавшись от Аристотелевой прямоты, Аристотелева реализма, когда жизнь в действительности и жизнь в описании соотносились как один к одному (и что делало троны обнаженными и уязвимыми в их истинных замыслах и свершениях), монархи Земли, обитавшие под дланью Бога, приняли или, вернее, взяли за столь глобальное фарисейство, подключив, как опорные факторы, к этому фарисейству безотказно и ныне функционирующие механизмы воздействия на духовное состо-

яние людей — науки (имеются в виду гуманитарные), искусства, литературу, религию, зодчество, — что то, что едва ли удалось бы сделать устрашением и насилием, с легкостью, можно сказать, играючи, удалось осуществить именно с помощью глобального фарисейства; ведь суть рабства, если посмотреть на все в разрезе веков, оставаясь неизменной, лишь подвергалась переодеванию во все новые и новые социально-нравственные понятия, сбивая с толку затюканных, удерживавшихся в полном историческом невежестве простолюдинов (едва истрепывалась одна одежда, как срочно шили другую, чтобы поддержать видимость перемен), да и суть господства, оставаясь неизменной, лишь фасадно демократизировалась от Божьего помазания до помазания от народа; ничто в стержневой своей основе не менялось и не изменилось за века, господа и рабы, то есть две эти составные человечества (составные фараоновской заданности), как имели, так и имеют каждая свой статус: одни производят благо, другие его потребляют, и хотя, я понимаю, не Аристотель предложил миру эту позорящую человечество систему общественного бытия, но, разглядев и изложив ее в своих нетленных творениях, он не восстал против узаконенно-чудовищной несправедливости, а, напротив, придав ей характер естественности (что будто бы так повелось от роду — господа и рабы, — и так будет вечно), возвел это «изобретение» человеческого ума, иезуитское, тиранское изобретение, в разряд стихийных, то есть самовоспроизводящихся, а потому и неподвластных людской воле природных явлений. Ведь мы и сегодня, если говорить откровенно, находимся под пресом этих Аристотелевых суждений и благоговеем перед «носителями духа», коих видим в каждом стоящем над нами чиновнике, не говоря уже о тех, что восседают в президентских и премьерских креслах и трутся возле этих кресел или, работая локтями, пробиваются к ним, а в простолюдине видим или, во всяком случае, невольно подразумеваем «носителя плоти» (как ни прискорбно констатировать это) и соответственно относимся к нему. Можно, конечно, как говорится, с колес отвергать это суждение, но можно, заглянув в свою не до конца еще исчерпавшую себя совесть, признать, причем без каких-либо оговорок, что, да, мы смотрим на мир через призму Аристотелевых откровений, хотя и не осознаем это; однако правда всегда такова, какова есть, и если говорить об обстоятельствах или причинах, порождающих это явление, то есть побуждающих нас вне Аристотеля мыслить и воспринимать мир по-аристотелевски, то искать их, как мне кажется, следовало бы, во-первых, в самой жизни, что окружает нас, в которой, стагнировавшись еще со времен возведения пирамид, общественные отношения, как и суть общественного бытия, не претерпели или почти не претерпели никаких изменений, и, во-вторых, в той духовной обработке, какой из тысячелетия в тысячелетие подвергались людские сообщества (и главным образом простолюдины в них), попадавшие под диктат фараоновской державности. Именно через контролируемые и направляемые правителями механизмы духовного воздействия — науку, литературу, искусство, религию, зодчество — заряд Аристотелевой тронугодности настолько прочно обосновался в нашем историческом сознании, что мы теперь уже, можно сказать, машинально, то есть автоматически или полуавтоматически, воспринимаем мир с его хищническим устройством бытия не в реальной его действительности, как все было и есть на самом деле, а в той «научной обоснованности», вернее, в тех рамках глобально задуманного и осуществляемого тронного фарисейства, в каких, обретая форму пособий и наставлений, он нравоучительно подается нам. В конце концов, разделив человечество на высокоразвитые и отсталые нации, народы и государства, иерархи новейших знаний, по сути, лишь повторили, только уже на другом уровне, то есть не на уровне отдельных личностей, но на уровне народов и государств (и с тем же, если хотите, бездоказательным, тронугодным апломбом), Аристотелево суждение о предначертанности господства и рабства: народы — носители духа (высокоразвитые, а значит, и господствующие по праву) и народы — обладатели плоти (отсталые, пригодные лишь на подневольный труд, рабство); в чем тут научная обоснованность, не знаю, но написано, как припечатано, и никому вроде бы уже не дано ни оспорить, ни тем более опровергнуть этот вошедший в исторический и текущий официоз академический канон жизни. Можно, конечно, ска-

зять, что наука наукой, а жизнь жизнью, ибо она развивается по своим законам бытия и не подвержена или мало подвержена каким-либо посторонним влияниям, особенно если эти влияния противоречат ее сути и заданности; что ж, не спорю, такая закономерность есть, но действие ее, четко просматриваемое в рамках природных (материальных) явлений, не распространяется на рукотворные деяния человека и человечества, к коим относятся общественные отношения и общественное бытие; эти духовные ипостаси жизни, должны создаваться разумом людских сообществ в русле их самобытных культур и самобытных цивилизаций, но создающиеся лишь произволом властителей и в интересах тронов, связанных единым родством с исшедшим из Египта фараоновским стержнем господства и рабства, давно уже обросли своей закономерностью, которая, кстати, как и все, что касается древа власти, находится за семью печатями и не подлежит разглашению; так ли это, не так ли, но человечество, не раз уже пытавшееся изменить социально-нравственную систему бытия и всякий раз лишь возвращавшееся на круги своя, мне кажется, даже не заметило, как при нынешней всеобщей демократизации вновь наложило на себя позор рабства, заведя кабальные грамоты уже не на отдельные личности, а на целые народы, зачисленные (с помощью «научных обоснований») в отсталые, дикие, недоразвитые, и творится это не в век египетских пирамид (хотя, как сказать, если обратить взор на стойбище нью-йоркских небоскребов), а в век «прогресса» и «просвещения».

LX

Аристотель утверждал то, что хотели утвердить как нечто богоположенное и непрерываемое правившие народами властители античного мира; нынешние историки и философы, видя мир в его общественных отношениях точно таким же, каким видел греческий духовный стратег, и желая, в подражание стратегу, подыграть современным тронным особам и их высокольстивым приспешникам, кои обычно табунами трутся вокруг властителей, не нашли ничего лучшего, как только опереться на готовую формулу, слегка при этом изменив ракурс видения и масштабность обобщений и выставив против Аристотелевых господ-личностей господствующие (высокоразвитые) народы, а вместо различностей — загнанные в беспросветную нищету, а по сути, в рабство, народы и континенты; и в первом, и во втором случаях мы имеем дело с одним и тем же явлением, которое можно назвать тронугодничеством, а если вникнуть в подробности этого тронугодничества, то с тщательной разработанной за века системой завуалированного прислуживания, когда в изложении исторических и текущих событий вполне вроде бы сохраняется видимость объективности (что как раз и ставит этих историков и философов в независимое будто бы от правителей положение), но «объективность» их в то же время настолько сочетается с интересами торжествующего в веках (тиранствующего в веках) фараоновского стержня господства и рабства, то есть настолько служит этим антинародным замыслам и свершениям, что остается лишь удивляться, каким образом этот очевидный обман, являющийся, как можно предположить, столпом вышеупомянутого тронноглобального фарисейства, — каким образом этот очевидный обман пребывает и ныне неразоблаченным и неотвергнутым. Ложь не в том, что мир разделен надвое, а в том, что разделен не по принципу носителей духа и обладателей плоти, как предпочел объяснить это постыдное для человечества явление древнегреческий философ, и не в том, что одни народы в результате будто бы своего исторического развития, а по сути, непрекращающегося и ныне разбоя, оказались «высокоразвитыми», богатыми — от награбленного, — могущественными и великими, а другие, не сумевшие в силу своей альтернативной хищничеству духовности защититься от поработителей, оказались в списке отсталых, недоразвитых, нуждающихся в поучительстве и присмотре, как неустанно твердят нам нынешние «отечественные» и закордонные пастыри от исторических и философских наук, но разделен единственно по принципу: дворцам и храмам — все, хижинам — ничего. Ни стихия, ни Божий промысел, ни природная заданность, на которую так любят ссылаться разработчики

официальных историографий, а произвол человеческого разума, амбициозный и болезненный монарший произвол, начиненный идеалом фараоновского (из «века Богов») хищнического миропорядка, — вот основа, она же и первопричина всех сопровождающих человечество (главным образом простолудинов, составляющих поголовное большинство мирового сообщества) кровавых катаклизмов и повседневных бед и страданий. Но если бы люди всем миром решились обнажить истину и тем более признать и принять ее, то и Аристотелева изощренность, и тронноугоннические усилия всех новейших иерархов от знаний показали бы нам мелким (в масштабах лишь шкурных интересов) жульничеством по сравнению с деяниями властителей (деяниями исшедшего из Египта фараоновского стержня господства и рабства), приведших мир или, вернее, продолжающих вести мир к глобальной и необратимой катастрофе. Сам по себе, то есть естественным путем, мир не мог разделиться на высокоразвитые, достойные процветать и властвовать, и отсталые, способные лишь на нищенство, народы и континенты, я не верю в это «научное» измышление, какими бы географическими, то есть природными, факторами оно ни обуславливалось, но твердо убежден, что народы различались и различаются не по принципу умных и глупых, процветающих и отсталых, а по самобытности взрастивших их культур и цивилизаций, от которых (кроме торжествующей ныне хищнической) остался только не вытравимый в людских душах след добронравия, покорства, доверчивости и миролюбия. Из этого можно сделать вывод, что господствующие народы и государства (державы, супердержавы, если по нынешним временам) господствуют не по праву некой своей «высокоразвитости», но по праву насильников, вышедших на захват мира и одержавших (возможно, еще не до конца, то есть не над всеми народами, чем и вызвана их нынешняя почти болезненная суетливость в насаждении всюду своего миропорядка, и жестокость, с какой осуждаются непокорные на участь некогда стертого с лица земли Карфагена), — да, по праву насильников, вышедших на захват мира и в соответствии со своим хищническим пониманием бытия (что, впрочем, и предопределило их успех) одержавших верх в исторической схватке с добронравными и миролюбивыми началами жизни. Эта близящаяся к завершению схватка двух противоположных стержневых основ людского бытия как раз и составляет суть всей нашей всемирной истории, которую как ни пытаются вроде бы приблизить к истине, но сочинительская преемственность высших светил «науки» такова, что ничего, кроме как настольного властоучебника для царей и царедворцев, пока не выходило и не выходит из-под их пера. Я не беру частности, но обращаюсь лишь к обобщенному итогу веков, соотнося устоявшиеся в общественном сознании каноны жизни с самой жизнью, то есть беру то, что определяло ход человеческого развития и признавалось, как, впрочем, признается и сегодня единственной и неоспоримой истиной; частности же, с какой бы степенью прозрения ни появлялись на свет, увы, остаются лишь частностями, наподобие искр, взлетающих над костром и угасающих прежде, чем упасть на землю, и к подобным частностям, к сожалению, я вынужден отнести и этот свой труд, противостоящий фараоновскому официозу и кричащий о правде, ибо те, кому он адресован, вряд ли снизойдут взять его в руки, и, даже не полистав, предадут забвению (методом умолчания, какой уже не раз и не два применялся к моим творениям), как предаются забвению все, что способно пробудить достоинство в задавленных нищетою массах простолудинов, и особенно если это касается национального пробуждения и возрождения славян, разумеется, я говорю о том, что мне ближе, что исторической болью сжимает сердце и грудь, хотя далеко и далеко не только славянство, но и множество других больших и малых народов, некогда успешно усвоивших (на ранней стадии развития) уроки своих самобытных — на началах добронравия и миролюбия — культур и самобытных цивилизаций, находятся в положении рабской, да, почти рабской зависимости от «высокоразвитых», то есть по праву будто бы воссевших на трон господства (трон мирового господства) народов и государств; мы отторгнуты от своей истории, мы не знаем ее, а потому и вынуждены верить тому, что говорят нам, и с благоговением взирать то на древнеегипетские пирамиды, как на символы могущества прошлых веков, то на нью-йоркские небоскребы, подав-

ляющие нас могуществом нынешних предрержателей власти. Как высшее достижение человеческого разума преподносятся нам хищническая культура и хищническая цивилизация, безжалостным катком прокатывшиеся по самобытным (альтернативным хищничеству) национальным культурам и цивилизациям людских сообществ, но ведь справедливость меча, поднятого на другие народы, есть только торжество силы, а не торжество правды и разума, а потому и все величие ныне повсеместно господствующей цивилизации является не больше, не меньше, как только торжеством именно силы, причем силы злой, порабощительской, не терпящей ни пререканий, ни возражений относительно своих антинародных, античеловеческих деяний. Ведь уничтожение альтернативных культур и альтернативных — на началах добронравия и миролюбия — цивилизаций уже само по себе есть величайшее против народов преступление, о заданности, размахе и значении которого можно судить даже просто по нынешнему состоянию жизни; однако трагизм, в каком пребывает сегодня все или почти все человечество, — это лишь видимая часть тех пережитых поколениями насилий и потрясений, которые, если бы мы действительно задалась целью познать прошлое и текущее бытие, как раз и должны стать обнаженным стержнем истории как науки о происходивших и происходящих событиях и философии как науки о формировании общественных отношений и становлении общественно-го бытия. Только в таком случае и, возможно, без каких-либо излишних усилий мы смогли бы прийти к простому и ясному заключению, что правители и народы, провозгласившие, как, впрочем, и продолжающие провозглашать свою хищническую культуру и хищническую, порожденную фараоновским абсолютизмом государственность явлением уникальным, высоконравственным, неповторимым, великим, и вышедшие (из Египта) «одарить» мир этим своим «благоизобретением», названным позднее «великим прогрессом» и «великой цивилизацией», — что сии правители и народы, обаянные будто бы порывом благодеяния, совершили и совершают это свое «благодеяние» далеко не с бескорыстными целями; история свидетельствует, что итогом подобных «благодеяний» обычно оказывалось экономическое и духовное порабощение, народы не просто лишались самобытности развития, но отрывались от самых что ни на есть корневых основ своего бытия и, подпав не только под чужеземную духовную, но и чужеземную светскую власть, превращались в усредненную, одномерно-серую и однозначно бесправную массу исполнителей чужой воли.

LXI

Историю человечества, если рассматривать ее с точки зрения насаждения хищничества, а иной подход просто-напросто немислим, ибо способен привести только к ложным результатам, — историю человечества в этом названном аспекте действий можно, на мой взгляд, подразделить на два довольно ясно очерченных периода: период, или эру, черных (грязных, можно и так охарактеризовать) и период, или эру, обеленных кровавых деяний одного и того же, то есть единого, эстафетно передававшегося правителями от поколения к поколению фараоновского стержня господства и рабства; причем отсчет черного периода, или черной эры, следует вести от времен первого исхода стержня из Египта на восточно-присредиземноморские обетованные земли, включая и последовавшие за ним на территорию Северной Африки и в собственно Европу, а отсчет второго периода, или второй, обелительной, эры, когда суть закабалительных приемов и мер оказалась настолько надежно прикрытой тогами благонравия, что за ними уже при всем старании не разглядеть ее, — отсчет второй, обелительной, эры справедливо было бы начать от века открытия и «освоения» Америки как новой, богатейшей, главное же, никем еще не тронутой, не разграбленной, девственной, обетованной земли, на порабощение которой отягченные многовековым опытом в подобных делах и ринулись в очередной и пока что последний по счету «исход» преемники и хранители хищничества как основы, а точнее, первоосновы самоубийственных (сказано не ради красного словца) для человечества общественных отношений и еще более самоубийственного устройства общественного бытия. Представители этой первой волны правителей, начавших схватку с народами на обетованных землях за

свое безоговорочное над ними господство, можно сказать, и в самом деле поделили самую грязную, черную работу, взявшись подавлять и истреблять самобытные культуры и самобытные цивилизации закабаленных народов, выставляя взамен как неоспоримый, часто божественно-неоспоримый идеал свою фараоновско-державную культуру и свою (с абсолютизмом власти) государственность как великий образец жизни; они, по сути, если перевести все на язык современных понятий и образов, проводили так называемую политическую, экономическую и духовную «деактивацию» территорий, подготавливая их, с одной стороны, для своего безграничного господства, а с другой — как резервации для народов, обрекаемых ими на пожизненное бесправие, нищету и рабство; эра эта, или этот период черных кровавых деяний, высокопарно поименованный в официальных историографиях «утром» и «зарей» человечества, проходил под знаком непрерывных захватнических войн, разбойно-поработительских нашествий, когда в кровавые разборки правителей, восплававших страстью к мировому господству, втягивались массы простолюдинов (этот период принято еще называть «великим переселением народов»), словно действительно все исходило из стихийных потребностей масс, а не творилось по воле и произволу правителей, орудовавших, однако, в рамках своих тронных закономерностей), и именно в этих войнах, нашествиях, грабительских походах обращались в пепел и прах ценнейшие памятники культуры поработенных народов, то есть шел процесс отторжения этих народов от их исторических достижений, сравнивались с землей города, селения, подвергались мученическим казням виднейшие представители поверженных людских сообществ, дабы, обезглавив эти сообщества, лишить их возможности организовываться и сопротивляться. Я понимаю, не всем придется по вкусу подобный взгляд на историю развития человечества, поскольку существует и другой взгляд и другое академически узаконенное деление на век пещерный, эпоху варварства и эпоху прогресса, что, кстати, выглядит вполне правдоподобно и с чем можно было бы согласиться, если бы за этим ступенчатым восхождением не просматривалась самая, может быть, завуалированная из всех известных тронноугодных тенденций тенденция ко всемерному оправданию властителей, истреждавших самобытные культуры народов, их альтернативные хищничеству цивилизации и вгонявших эти народы в систему своего миропорядка, в котором если что-то и ожидало поработенных, так только бесправие, нищета, беспросветное рабство; ступенчатое восхождение к прогрессу — что ж, человечеству преподносится лишь то, во что более всего хотелось бы ему верить: будто жизнь и в самом деле не стоит на месте, а постоянно и, главное, поэтапно движется вперед и что усилия поколений, направленные на достижение общих благ, должны же в конце концов в чем-то проявляться; и хотя усилия эти именно деяниями правителей из века в век сводились на нет, мир безумствовал в бесконечных войнах и конфронтациях, как безумствует и ныне, масштабы насилий уже не поддаются измерению, народы бедствуют, в хижинах их гнездятся лишь голод и нищета, но если верить так называемому научному официозу, а точнее, иерархам от исторических и философских знаний, которые, сообразив однажды на досуге, что путь развития человечества есть путь ступенчатого восхождения к прогрессу (что, собственно, и должно было бы происходить в идеале, но чего не происходило и не происходит в действительности), настолько изумились простоте этого, с одной стороны, льстившего людскому самолюбию, а с другой — подыгрывавшего тронам объяснения исторических и текущих явлений бытия, что вместо того, чтобы отказаться от пустой, вредной и, по сути, ничего общего не имевшей и не имеющей с жизнью теории, лишь веками усердствовали, как усердствуют и до нынешних дней над ее совершенствованием,— если верить этим историкам и философам, то все мы и сегодня пребываем в стремительном движении к заветной мечте людских сообществ, к прогрессу и процветанию. Так ли это, теперь уже мне хочется задать вопрос оппонентам, подтверждается ли такой вывод ходом прошлой и текущей жизни? Или же суть «ступенчатого восхождения» заключена лишь в том, чтобы, «научно» обосновав эту достаточно правдоподобную теорию, тем самым как бы автоматически снять историческую вину с правителей, загнавших и продолжающих загонять людские сообщества в тупик (будто и в самом деле никогда не было и не могло быть других общественных отношений и другого устройства общественного бытия, кроме как воз-

росших на началах хищничества, началах фараоновской державности), и, представив их как кумиров и двигателей прогресса, оправдать их канонизированную (в церковных да и не только церковных пределах) святость, их гранитно-пьеDESTальную и иконостасную жизнь? Я же разделил историю человечества, да и то условно, лишь для удобства восприятия, как уже было сказано выше, на период, или эру, черных, и период, или эру, обеленных кровавых деяний, подчеркнув при этом их различие, и преемственность, то есть единство в методах достижения целей, и если все же кому-то покажется неправомерным или даже непростительным такой вроде бы упрощенный, но в действительности глубоко продуманный и основанный всецело на исторических свидетельствах, фактах и документах подход к исследованию общественных отношений и устройству общественного бытия, а я признаю, что такое возможно, ибо любое совершенствование никогда не ограничивалось только одним поиском и тем более одним выводом, то и этому смельчаку, если он решительно устремится к истине, придется так ли, иначе ли столкнуться с канонным изложением всемирной истории и войти с этим изложением в конфронтацию, а не опираться на заведомо ложные, тронноугоднические послылы и утверждения. Ведь история в реальной ее действительности — это не история развития и становления человечества, а история становления хищничества как социальной и духовной основы бытия и сколько бы ни старались явные и скрытые под академическими облачениями тронноугодники облагородить ее вымыслом в движении к прогрессу и процветанию, но она такова, какова есть, правители от фараоновского стержня господства и рабства только и делали, что со свирепостью насаждали повсюду свой хищнический миропорядок, а народы, не умевшие (в силу альтернативных идеалов) защититься от этой агрессивной силы, нация за нацией, чтобы хоть как-то выжить, взваливали на себя крест покорства, нищеты и рабства, и вся эта трагическая панорама событий, коими до тесноты, до удушья насыщены прожитые человечеством тысячелетия, — вся эта трагическая панорама, гордо именованная теперь становлением «великой культуры» и «великой цивилизации», на мой взгляд, не только не заслуживает подобного высокого звания, но и вообще несовместима с понятиями «культура» и «цивилизация», какими пирамидами и небоскребами, символизирующими лишь могущество власти, и кто бы ни пытался заслонить от народов историческую истину происходивших и происходящих деяний.

LXII

О Римской империи, особенно времен ее расцвета, не принято говорить с ужасом, осуждением и отвращением, но обычно принято говорить всегда возвышенно, с восторгом и восхищением, как о стране, давшей миру великую (хотя и скопированную с греческой, которая, в свою очередь, уходит корнями в древнеегипетскую) культуру и привнесшей в европейский мир, мир варварства и невежества, как надо полагать, великую цивилизацию. Мнение это утвердилось настолько прочно, бесконечно повторяемое и внушаемое официальной историографией (да и с церковных амвонов и академических кафедр), что сперва Византия, зараженная вирусом державности, а затем и Россия, не сумевшая уберечься от этого вируса (соответственно Константинополь и Москва), считали за честь провозгласить себя Вторым и Третьим Римом. Более того, даже теперь, на пороге третьего тысячелетия от Рождества Христова, когда, казалось бы, мир вступил в новую для себя фазу развития — фазу демократических преобразований, — в России раздаются вроде бы безвинно-ностальгические, но, по сути, восторженные голоса о возрождении Третьего Рима. Кому-то, как видно, очень хочется извлечь из кладезя нашей недавней истории подслащенный патриотизмом яд державности, и если русские люди, россияне, ослепленные блеском золотых с бриллиантовыми вкраплениями подносов и изумленные тяжестью литых серебряных кубков, в коих обычно преподносится народам сия обольстительная отравка, в очередной раз обманувшись, примут ее, то о последствиях можно уже не рассуждать, ибо русская земля, да, прежде всего именно русская земля, вновь устелится костями добрых, доверчивых и неразумных в своей доверчивости и доброте славян. Эстафета власти, корни которой уходят к истокам древнеегипетской истории, к «веку Богов», веку пирамид, — эстафета

эта (я беру лишь определенный период в развитии человечества), переходившая от Рима к Риму, то есть от Рима к Константинополю и от Константинополя к Москве, никогда не означала преемственности величия, как преподносилось и преподносится вещунам-троноугодниками, но являла собой лишь преемственность трагизма, каким заканчивались судьбы всех объявлявших себя тысячелетними и вечными империй; они, как звезды, вспыхивающие и гаснущие на вечернем небосводе, или кометы, удаляющиеся в небытие времен (сравнение, может быть, и не вполне уместное здесь, но зато более чем проясняющее суть процесса), и если природные явления, как мы знаем, происходят лишь в рамках определенных закономерностей, то и явления духовного порядка, к которым в первую очередь следует отнести устройство общественных отношений и общественного бытия, заключенные в понятия «государственность», — явления духовного порядка тоже имеют свои закономерности, в рамках которых и происходит их развитие. «Век Богов» завершился для фараонов, как известно, исходом на обетованные земли, поскольку своя была уже доведена до полного и почти необратимого истощения; расцвет, пик расцвета, упадок и исход — это и есть, по сути, первоценарий трагизма фараоновской державности, определивший трехступенчатую жизнь всех возникавших на базе этого первоценария империй, и в этом плане, да, империи, как звезды, вспыхивали, светились и угасали, и точно так же, наверное, как и в природе, взрывы и умирания звезд и галактик не проходили бесследно для окружающей их среды, какой бы безбрежной ни представлялась нам она, — взрывы и умирания империй оборачивались (что, впрочем, характерно и для нашего времени) неохватными катаклизмами для людских сообществ. Я понимаю, что из сказанного можно сделать лишь близкий к безысходности вывод, будто как в мире природных явлений, так и в мире явлений духовного порядка господствует одна и та же система естественных закономерностей, неподвластных ни воле, ни разуму человека, и что мы можем только констатировать, что и как было, а не управлять ходом развития; но это будет ошибочный вывод, ибо закономерности в природе — это естественные закономерности, они возникли и действуют вне зависимости от человека и неподвластны ему, тогда как закономерности, по которым выстраивались и продолжают выстраиваться общественные отношения и соотносываться общественное бытие, — это уже плоды усилий человеческого разума (в конце концов фараоны — те же люди и не более того), а то, что создается человеком, столь же успешно может совершенствоваться, исправляться и отменяться им. Римская империя, как это было и остается свойственным всякой империи, обрела могущество в кровавых завоевательских походах; причем уже во времена этих походов считалось, что железные римские легионы, огнем и мечом прокатывавшиеся по чужим землям и закабалившие и обращавшие в рабство чужие народы, совершали едва ли не самое благородное из благородных на земле просветительское дело, уничтожая самобытные культуры и самобытные цивилизации тех людских сообществ, на которые нападали, и навязывая им свою (с древнеегипетскими и древнегреческими корнями хищничества), единственно будто открывавшую дорогу к прогрессу и процветанию культуру, свою, основанную на фараоновском абсолютизме цивилизации. Римляне, если верить канонам всемирной истории (слепо верить, разумеется), грабившие и повергавшие в нищету и бесправие народы, всего лишь боролись с варварами, осложнявшими будто бы человечеству жизнь (как, видимо, в свое время Карфаген осложнял «жизнь» Риму); но если углубиться в историю вопроса, то ведь римские легионы, по сути, выполняли определенную (в рамках эры черных кровавых деяний правителей от фараоновского стержня господства и рабства) миссию, лишая народы их неотъемлемого права на самобытность развития и подчиняя монопольному праву на диктат одной (хищнической) культуры и одной (хищнической же) цивилизации. Здесь, как видим, нет и намека на стихийность развития, и если обратиться к Платоновой «высшей идее», которая, гнездясь на вершине «пирамиды жизни», дает понятие вещам и явлениям, оставаясь в то же время непостижимой для человеческого разума, и руководит миром, то не заключена ли эта «высшая идея» в оболочке фараоновской (по первоначальному) державности, в том самом стержне господства и рабства, который, выйдя на просторы обетованных земель для захвата мира и представленный в истории личностями властителей-кумиров, властителей-богов и полубо-

гов,— выйдя на эти девственные просторы, населенные столь же девственно-наивными по отношению к хищническому бытию племенами и народами, принялся насаждать среди этих племен и народов свой миропорядок? А если это так, с чем, впрочем, бессмысленно спорить, то Платонова «высшая идея» — не что иное, как фараоновская державность в действии, фараоновский стержень господства и рабства, выступающий как творец (он же сеятель и блюститель) тех самых привносимых человеком в естественную жизнь природы, жизнь людских сообществ рукотворных закономерностей, которые, с одной стороны, создают правовую (легитимную вроде бы) базу для насилия и господства, а с другой — правовую же (и столь же будто бы легитимную) базу для рабства; и этот-то процесс легитимизации зла, процесс насилия над природой, людьми, наконец, над здравым смыслом, как раз и является тем тронноугодным процессом исторического развития, который, виртуозно перенаряженный тронноугодниками в торжество справедливости, подается и ныне нам как нечто научно обоснованное, доказанное, неопровержимое, что должно прояснять, но что только сильнее запутывает и затемняет наше представление о действительности минувших и текущих эпох. Все мы, по сути, являемся заложниками своей неразумности, как можно было бы сказать о человечестве, если трагизм веков соединить в единую картину страданий, пережитых и переживаемых людскими сообществами; но я не сторонник ни самобичевания, ни огульного охаивания этих без конца применяемых в официальных историографиях приемов, когда вина за деяния правителей перекладывается на народ или народы и с помощью этой нехитрой в общем-то подтасовки перевирается история, правда заменяется ложью, зло получает мандат справедливости, а оклеветанное добро нарекается злом, и по логике исторической безнаказанности тронных деяний остаются безнаказанными и кровавые преступления текущих веков,— нет, нет, я не сторонник ни самобичевания, ни огульного охаивания, ибо неразумность, продиктованная мечом, страхом смерти, в какой только и можно упрекнуть народ или народы,— это не та естественная неразумность, которая проистекает от лености духа, недомыслия или невежества и в которой действительно могут быть повинны все; массы неповинны ни в сотворении зла, ни в неразумности, если вообще подобная характеристика приложима к ним, поскольку их, то есть неохватный и несправедливый люд, просто-напросто вгоняли, как продолжают вгонять и сегодня, в такие условия бытия, лишая при этом каких-либо прав на самобытность развития, в каких они не живут, но лишь борются за выживание, а руководит всем и дает понятие вещам и событиям — если по толкованию Платона, то высшая «идея-благо», если же в живой реальности, то фараоновская хищническая державность, деяния которой можно сравнить разве что с мясорубкой, присоединенной приводом к «вечному двигателю» — «веку Богов» с его неистощимым и неистребимым арсеналом «нектара власти», — и кто бы и что бы ни говорил по этому поводу, каким бы витиеватым фарисейством ни пытался прикрыть творимый властителями мира беспредел, но мясорубка, через которую прогоняют человечество, чтобы величественное и неповторимое явление природы превратить в однородно-безликую массу физически и духовно надломленных существ, не помнящих родства и не способных уже претендовать ни на что,— мясорубка эта, доведенная ныне до безболезненного почти совершенства и провозглашенная «механизмом прогресса и процветания», безудержно продолжает скрежетать лопастями-ножами, втягивая в горловину, под вал, пытающиеся еще сопротивляться могущественному монстру власти людские сообщества.

LXIII

От каких истоков произошло понятие «рай» и от каких «ад», историки и философы времен, как, впрочем, и религиозные учения, не дают сколько-нибудь приемлемого объяснения; их формулировки — это не больше, не меньше как тенденциозный вымысел, направленный, с одной стороны, на обман масс, то есть простолюдинов, которых издревле принято держать в рамках кнута и пряника (вечное блаженство в потустороннем мире за земное безгрешие, равное принужденному рабскому аскетизму, и вечные муки, причем большей частью не в загробном, а в земном мире за желание или стремление, да, всего лишь

за желание или стремление познать истинную ценность бытия и предназначение человека (в нем), а с другой — на поддержание тронов в их закабалительных целях; есть оружие физического и есть духовного подавления людских масс, и, думаю, я не ошибусь, если скажу, что мы настолько привыкли мыслить внушенными трафаретами, что все, что не укладывается в эти усвоенные (в поколениях, за века) трафареты, либо сейчас же подвергаем сомнению, либо (что ближе к истине) принимаем в штывки и отвергаем как посягательство на промысел Божий; однако, несмотря на святость понятий «рая» и «ада» и на то, что вряд ли кто согласится с их новым толкованием, хочу все же рискнуть и выставить на суд свою версию об их происхождении, которая, кстати, может пролить свет и на более важную историческую реальность. В первой книге этого повествования мне уже приходилось говорить о том, что человеческое воображение неограничено, и приводить в пример писателей-фантастов (кому, кому, а им-то уж никак не откажешь в воображении), которые как ни стараются вырваться в своих сочинениях за пределы земных форм жизни, то есть известных им общественных отношений, но ничего нового, что хоть как-то выходило бы за рамки земного бытия (рамки человеческих отношений, рамки противостояния добра и зла), придумать не могут, и этот-то более чем убедительный по силе воздействия пример дает основание предположить, что во всех исторических, философских и религиозных сочинениях (главное, в религиозных, что важно уяснить) авторы их не по преимуществу, а однозначно и неоспоримо опирались на реалии земного бытия. Все в их сочинениях столь же воображенное, сколь и земное, а если так, но не только в трудах летописцев, историков и философов, но и в продиктованных будто бы Творцом Талмуде, Библии и Коране следует прежде всего искать проявления (детали, подробности) земной, а не некоей неведомой никому мифической, небесной жизни. Рай и ад — это не растасочные анклавные блаженства и мук потустороннего мира, как трактуют их церковники по своим канонам, но реальное отражение вполне реально существовавших явлений; в конце концов ведь все, о чем писалось на протяжении веков и что затем возводилось в святость (человечеством, если придерживаться официальных источников, фараоновским стержнем господства и рабства, если исходить из действительности), — все основывалось на прототипах земных явлений, и я не исключаю, что возникновение понятий «рая» и «ада» как раз и восходит к началу противоборства двух альтернативных — на базе хищничества и базе добронравия и миролюбия — культур, и альтернативных, на тех же базовых основах, цивилизаций (чем, в сущности, хотя и косвенно, но подтверждается и сама теория изначальной альтернативности в развитии общественных отношений и устройстве общественного бытия). Да, две культуры, две цивилизации, два начала человеческого бытия — от истоков хищничества и истоков миролюбия, взаимопонимания, добрососедства, две извечно противоборствующие силы — добро и зло, причем все, что мы и сегодня относим к понятию добра, зарождалось будто бы только в сообществах, не знавших государственности как системы насилия и строивших общественные отношения и общественное бытие именно в рамках миролюбия, взаимопонимания, добрососедства (вот он, «рай»!), а все, что относим к понятию зла, исходило и исходит от фараоновского стержня господства и рабства, вышедшего из Египта на захват мира (и что в сознании людей однозначно ассоциируется со словом «ад», то есть с представлениями о вечных муках), — что ж, такой вывод вроде бы напрашивается сам собой, и кому-то, вижу, хочется уже с ехидцей потереть руки: дескать, ага, вот и сам автор засветился в тенденциозности; но давайте не будем торопиться, ибо в чем, в чем, а в однобоком или одностороннем подходе к исследованию и освещению явлений истории, если даже односторонность эта и оправдывалась бы народным противовесом властителям, вряд ли отыщется повод упрекнуть меня, я далек от наклеивания каких-либо осуждающих или обеляющих ярлыков как на исторические события, так и на личности и народы, творившие (в согласии с тронотребностями своих эпох), или, вернее, торившие для человечества путь к аду, — нет, дело не в частностях, и мы не перед Высшим Судом в ожидании приговора; если нынешнее состояние жизни есть результат деяний веков, то естественно возникает вопрос, каковыми же на самом деле были эти деяния, совершались ли под знаком добра, как подается в официальных источниках, или все же под знаком зла, и чтобы уяснить это (ведь какими бы мифическими ни

казались нам понятия «рай» и «ад», но они вычленились из явлений человеческой жизни, а значит, и корни их, как и корни всего нашего бытия, уходят в пласты истории), давайте не будем торопиться с выводами, а лучше последуем за ходом выдвигаемых здесь предположений и доводов. Для человечества жизнь на Земле никогда не была раем, но всегда сопрягалась с трудностями; человек добывал пищу, строил кров, защищался от нападения диких животных и боролся со стихийными бедствиями; все это происходило, как принято говорить теперь, на заре становления людских сообществ, когда девственными были леса, степи, горы, реки, моря, как девственно чистым, не обремененным еще приемами коварств и обманов был человеческий ум, девственными были чувства, откровенность возможность для непосредственного восприятия как окружающего мира, так и мира души, ибо нельзя же всерьез полагать, что на том этапе развития люди не прислушивались к себе, не имели желаний и не испытывали удовлетворение или досаду и разочарование от свершенных или несвершенных деяний, — нет, отчего же, испытывали, было; было все, что от тех веков и тех поколений перешло к нам, но уже во многом извращенным и опошленным, как это только и бывает при отступлении от естества жизни; люди если и испытывали какую-либо физическую или духовную зависимость, то разве что от родовых и племенных устоев, господствовавших в том или ином сообществе, но зависимость эта, не имевшая еще или, вернее, не преобразованная в систему государственного насилия, не отягчала членов общин и не сковывала их в жизненных устремлениях; они были свободны, были наивны, были полны веры в себя, свои силы, что делало их мужественными, красивыми и духом, и плотью, жизнелюбивыми и радостными, да, да, именно жизнелюбивыми и радостными творцами своего бытия, и я говорю об этом не из желания облагородить ушедшие от нас поколения, а единственно из желания приблизиться к истине, которая, как мне кажется, не просто пребывает в забвении, но в забвении целенаправленном, злостном, продиктованном неприкосновенностью тронов и святостью их деяний, а точнее, святостью деяний властителей, преемственно возлагавших на себя бремя тиранств. Из кладезя всеобщего просветительства мы усвоили только одно, что мир прошлого — это мир диких, пещерных людей и что потребовались века, чтобы человечество смогло достичь «светлых» вершин цивилизации, то есть приобщиться к «великой» культуре и «великой» цивилизации, подаренным будто бы миру выходцами из Египта и светочами античной Греции, то есть народами восточного афро-азиатско-европейского Присредиземноморья, которым мы и обязаны нынешним «прогрессом» и «процветанием»; но ведь подобная трактовка истории — это трактовка вымышленная, она не имеет ничего общего ни с действительностью прошлого, ни с действительностью настоящего, но зато, с одной стороны, полностью обеляет деяния царствовавших, поводырствовавших особ, приведших мир (в чем каждый может легко убедиться, оглянувшись вокруг себя) к состоянию безудержной вражды наций, народов, государств, к бесконечным противостояниям, войнам, грабегам, насилиям, к обнищанию, закабалению, обращению в рабство целых континентов, а с другой — подыгрывает массам, льстит им, как если бы людские сообщества, перебравшись из пещер в благоустроенные жилища и сообразовавшись в государственные анклавы (скорее военизированные лагеря, и не столько для защиты, сколько для агрессивных действий, о чем говорят и факты истории, и факты современной жизни), и в самом деле прошли путь очищения от дикости, то есть от диких до цивилизованных форм общения. Однако если прибегнуть к элементарному сравнению прошлого и настоящего (в данном случае я беру только область духовного становления), то такое сравнение покажет лишь, что люди в массе своей не только не очистились от некой предполагаемой в них дикости, а, напротив, за века навязанного им хищничества так набрались, но уже не предполагаемой, а реальной дикости, что речь следует вести здесь не о взлете, а о падении нравственности и разрушении тех ограничительных барьеров — не церковных, нет, но естественных, вбиравшихся человеком из его тогдашней среды обитания, а потому и действенных, — которые были буквально сметены и растоптаны под напором хлынувшей на историческую арену действий жестокости, хлынувших бездушия, глобальных коварств и глобальных насилий. В образном выражении ситуация эта напоминает мне некий эпохальный ураган бедствий, который, вырвавшись с берегов Нила на простор

обетованных земель, пронесся с такой разрушительной силой по мирно, безмятежно жившим городам и весям, что уцелевшие от него остатки людских сообществ до сих пор не могут сообразоваться с устоями своего прежнего бытия; не могут не столько даже потому, что из века в век едва залатывались ими одни раны, как тут же ураганом хищничества наносились другие, еще более глубокие, а для многих наций, народов, государств вообще смертельные, сколько потому, что расколотое на трононенавистников и тронопоклонников и угодников человечество, бесконечно страдающее от произвола властителей, до сих пор так и не сумело найти или не решилось выработать сколько-нибудь действенных мер защиты от этой «рукотворной» стихии зла. Есть, конечно, нечто странное в таком поведении простолюдинов, их небрежении к себе, обустройству своей жизни и отстаиванию своих национальных интересов, но в то же время факт остается фактом, и он имеет свое объяснение, которое, с одной стороны, упирается в людскую доверчивость, а с другой — в использование властителями этой доверчивости в своих троннокорыстных целях. Думаю, что в рамках этого обмана как раз и таится загадка столь устойчивого очернительства прошлых (с нравами дикости) и возвеличивания новейших (от цивилизации Древнего Египта, цивилизации со стержнем господства и рабства) времен; всеми возможными и невозможными средствами нам стараются внушить, что насилие в век дикости — вот это было насилие, но что нынешнее — так, не насилие, а лишь издержки прошлых веков (ГУЛАГи, бухенвальды, крематории — ничего себе издержки!), и что нечего задумчиво коситься на иконостасные лики «великих поводырей» и возбуждаться сомнениями, останавливаясь перед монуменстами их будто бы нетленной славы.

LXIV

Да, слава нетленна: и та, что венчает свершения добрые, и та, что венчает свершения злые, лишь обращенные с помощью бутафорских одежд, как это в большинстве случаев и происходит в действительности, в «желанные» и «богоугодные»; причем нетленность доброй славы поддерживается единственно лишь памятью поколений, то есть той ностальгией по старым и добрым временам, когда в мире еще господствовала справедливость и когда творец своего счастья — человек, — как бы мы ни унижали его пещерностью его быта, по состоянию души и возможности созидания чувствовал себя истинным творцом своего бытия (между прочим, заряд этого прошлого величия, я убежден, каждый сегодня несет в себе, редко когда осознавая, но чаще не осознавая, какие тревоги, сомнения, какие упущенные возможности и невосполнимые утраты томят и угнетают его), тогда как нетленность навязанной, то есть преступной, но возведенной в ранг святости славы, когда прав тот, кто с мечом, а не тот, кто со справедливостью и согласием, — нетленность такой, с позволения сказать, славы — это допинговая нетленность, ибо она живет не в памяти народов, а в каменных изваяниях эпох и апостольских или равноапостольских ликах святых, заключенных в золотые и серебряные оклады и ризы. Именно такой, да, такой, предстает передо мной многовековая, в целостности и разрезе веков, жизнь людских сообществ с их духовными проявлениями, и менее всего мне бы хотелось что-либо голословно утверждать здесь, тем более навязывать свое вполне определенное, разумеется, видение истории, поскольку еще Козьма Прутков говорил, что объять необъятное никто не может (правда, не все историки, философы, а паче теологи придерживаются такого мнения); чтобы приобщиться к истине, думаю, следовало бы непосредственно обратиться к свидетельствам веков, сочленив их со свидетельствами текущих времен, и тогда общая картина человеческого бытия, то есть вселенского обмана, коим как было, так и остается пропитанным все наше бытие, — картина эта сама скажет за себя, если, конечно, ничего не дорисовывать и не притушевывать в ней. На таком неохватном полотне жизни без труда можно заметить, а затем и прийти к выводу на основе замеченного, что людские сообщества, строившие свои национальные (самобытные) культуры и свои национальные (самобытные) цивилизации не на началах хищничества, но на началах добронравия и миролюбия, не спешили увековечивать свои деяния; видимо, они искренне, исходя из своего мировосприятия, полагали, что добрые дела, если они действительно добрые, не нужда-

ются ни в особом толковании, ни в допинговом возвеличивании, поскольку уже по сути нетленны (да и есть ли вообще что-либо бессмертнее народной памяти); наивность и простодушие подталкивали наших пращуров на эту высоко-нравственную беззаботность, которая в итоге оказалась не столько даже прочной, сколько самоубийственной в пришедших на смену добронравию условиях хищнического мироустройства (хотя отдадим должное и скажем: кто же мог предвидеть или предугадать тогда, что все самобытные культуры и самобытные цивилизации будут поглощены одной, нахлынувшей с берегов Нила, и что народы, исповедовавшие добронравие и миролюбие, окажутся нравственно обкраденными и беззащитными перед этим «монстром от пирамид»?), но прошлое необратимо, его можно только исследовать и выносить из него уроки, и главный урок, если бы мы обратились к нашему историческому прошлому, должен был бы стать для нас уроком беспечности, с какой и сегодня, мня себя великой нацией, не фиксируем или почти не фиксируем то, что могло бы действительно стать национальной, а не попугайно заимствованной от Запада гордостью и объединить нас. Однако вернемся к повествованию. Потому-то предки наши не оставили миру ни «величественных» пирамид, ни других свидетельств могущества власти, но, почтята свободную, безнасиленную жизнь высшим достоянием человека, творили эту жизнь и добрые дела в ней, не деля и не приписывая заслуг личностям, что вступило бы в противоречие с сутью их устоявшихся общественных отношений и устройством общественного бытия; можно сказать, они были детьми природы — не в смысле детской или юношеской незрелости ума, но в смысле непосредственности восприятия, свойственного лишь молодости, когда мир, открывающийся перед нами, предстает лишь единым, приветливо распахнутым и готовым принять нас пространством жизни и когда кажется, что все вокруг одухотворено величием добра и что если где-то и таится за этим величием зло, то оно тотчас будет задавлено заложенной всюду, во всех проявлениях материального и духовного бытия справедливостью; в такое видение прошлого, разумеется, я понимаю, трудно или даже почти невозможно поверить, особенно после известных тысячелетних внушений, но на чем-то же в конце концов основывалось и из чего-то вытекало мировосприятие наших пращуров, возводивших свои самобытные культуры и самобытные цивилизации на началах столь ныне непопулярного, униженного, а по сути, растоптанного хищничеством добронравия, и если мы признаем первичность слова, то есть духа, то какие тут еще нужны доводы? Теперь мы знаем, что если мир действительно в чем-то велик, то лишь в сотворении зла (и что зло это не от стихийных возмущений природы, а от алчных потребностей человека); но было время, и как бы мы ни хотели перечеркнуть его, оно зафиксировано историей, когда людские сообщества, народы, еще не зараженные подозрительностью, не враждовали друг с другом, слова не произносились во лжи и единственной мерой бытия была мера привносимых добрых деяний; я не превеличиваю и не идеализирую, нет, а лишь опираюсь на исторические свидетельства, которые доказывают, что у народов, исповедовавших добронравие и миролюбие, действительно-таки не возникало сомнений в том, что мир равно-един в своих естественных устремлениях, и потому никому и в голову не приходило считать свою самобытную культуру и цивилизацию явлением уникальным и тем более навязывать свой образ жизни ближним или дальним соседям (что явилось бы шагом к порабощению); войны, насилия, грабежи и убийства — все это лежало за пределами их мировосприятия, жизнь их текла не в русле завоевательских походов или революционных, с целью захвата и перзахвата власти бурь, особенно характерных для новейшей истории, но в русле эволюционных закономерностей, и в чередующихся закономерностей не было места для возвеличивания одних и принижения и изничтожения других устоев бытия, а потому и не возникало потребности ни переиначивать для истории ли, для памяти ли поколений, то есть прикрывать ложной трактовкой совершавшиеся деяния, ни ваять — в словесах ли, в письменах ли, в каменных ли нагромождениях — кумиров, которые затем по своему династическому уже произволу могли бы перекраивать и закабалить мир, — нет, нет и нет, такого стремления не было у людских сообществ, возводивших культуры и цивилизации на основах добронравия и миролюбия, они были далеки от понятия национального превосходства и богоизбранности, им чужда была сама мысль о символах могущества

(символах поработительства, если посмотреть взором простолюдинов на эти так называемые «достояния культуры», «достояния цивилизации»), и в этот-то мир людских сообществ, живших по естественным законам эволюционного развития и веривших в силу добра, добрых начинаний и дел, в одночасье, да, можно сказать, что в одночасье, как вихрь, ворвалась всепоглощающая фараоновская, хищническая державность. Фараоны, время царствования которых то именуется «веком Богов», то веком доведенного до абсолютизма господства и рабства, загнавшие в кабалу свой народ и народы соседних стран, присоединенные к своей империи, вряд ли имели хоть какое-либо понятие о добре как о благе для общества; познания их в этой сфере, как можно предположить из фактов истории (и такое предположение будет неоспоримым), начинались и заканчивались удовлетворением своих тронных потребностей, а потому все, что они творили с народом (народами, совершенствуя аппарат насилия, названный позднее историками государственностью), воспринималось ими не как зло, обречавшее массы простолюдинов на нищету, страдания, смерть, но как добро, вернее, как деяния, способствовавшие обогащению и наращиванию могущества власти. Но нельзя, однако, исключать, что они все-таки сознавали суть того, что совершали; сознавали не в том плане или не в той степени, чтобы начать раскаиваться, но в плане возможных возмущений масс, и, чтобы упредить эти возмущения, стали придавать своим деяниям видимость естественных и благородных поступков. Так начал рождаться тот первый обман, который, приняв затем вселенский размах, сумел (или ему помогли) обратиться в самую заурядную и неотъемлемую будто бы уже от нас повседневность, так что ничего странного нет в том, что, воспевая первородство «великой» культуры и «великой» цивилизации, забываем о первородстве обмана, пришедшего вместе с «культурой» и «цивилизацией» все с тех же берегов Нила, да и о многих других атрибутах, отдающих как явным, так и завуалированным тронугодничеством. А ведь истина проста, если она истина, и я не могу взять в толк, отчего историкам и философам почти всех поколений фараоновский абсолютизм власти представлялся загадкой; их поражали не столько пирамиды, рассматривавшиеся ими то как царские усыпальницы, то как образцы научных, технических и культурных достижений, каких человечество (Господи, да сможем ли мы когда-нибудь отказаться от этого ставшего уже шаблоном исторического популизма!) будто бы добились на заре своего становления (исключением можно считать лишь Платона, сумевшего разглядеть в пирамидах закодированную формулу жизни и раскодировать ее), сколько равная Богам неохватность власти, удерживавшаяся фараонами на протяжении веков; философская, историческая и вкуче с ними археологическая науки до сих пор, если судить по интенсивности и целям раскопок, проводимых на древнеегипетской земле и землях восточного Присредиземноморья (словно человечество все еще не насытилось плодами хищничества, плодами вышеозначенного первородства), бьются над разгадкой фараоновской тайны, заключенной во взлете власти, в непостижимом будто бы для тех времен взлете человеческого духа, не замечая, что тем самым вольно или невольно отождествляют не просто несовместимые понятия, но несовместимые начала людского бытия вообще (власть — зло, насилие, дух — не только творец зла, вернее, не столько творец зла, хотя и в этом «заслуги» его неумолимы, сколько творец добра, если соизмерять это проявление человеческого ума и воли с народным мировосприятием и миротолкованием, творец всей нашей, по крайней мере пребывающей в хижинах, жизни), но ученость на то и ученость, чтобы позволять себе и не такие еще отождествления, да и дело не в отождествлении, как и не в фараоновской загадке времен, а в загадке самих этих ученых мужей, которые в очевидном никак не могут (за тысячелетия усилий) открыть очевидное и продолжают перелопачивать «священную» по их понятиям землю и пополнять книжные хранилища тоннами своих новых и новейших сочинений. Фараоновская власть — это власть, поднявшаяся на насилии и обмане простолюдинов, и если что-то и следовало бы исследовать здесь, то истоки и методы претворения в жизнь этого неостановимого, да, теперь уже неостановимого зла (в конце концов ведь мы, как надо понимать, преемники древнеегипетской цивилизации и должны хотя бы элементарно представлять себе, с чем и для чего на заре становления повязала нас историческая судьба); но сию правду как раз и несподручно открывать тронугодникам, ибо в таком случае

будет развенчан миф о величии фараонов и их дарованной миру «великой» цивилизации.

LXV

На свете нет двух правд, а есть только одна, всеобъемлющая, не подлежащая ни пересмотру, ни разделению; по крайней мере так подсказывают здравый смысл и обычная житейская логика. Но жизнь людских сообществ, если посмотреть на нее в разрезе истории и современности, говорит о том, что человечество живет не по законам здравого смысла и уж никак не по житейской логике, поскольку как в деяниях, так и в оценках деяний, кем бы и с какой бы целью они не совершались — правителями ли вкуче с народом и тайными закабалительскими планами относительно этого же народа, добывавшего им власть, народом ли под водительством выдвинувшихся в вожди личностей, которые, добравшись до власти, тут же, как правило, оборачивают ее против народа,— жизнь людских сообществ говорит о том, что у человечества, вставшего на путь господства и рабства, есть как минимум две правды, равнопретендующие, но неравно влияющие на процесс становления и развития: правда народная и правда тронных и околотронных особ. Что касается правды народной, то она как пребывала, так и пребывает в загоне, о ней только без конца рассуждают, на нее ссылаются, но с ней никогда не считались и не считаются при решении насущных проблем бытия (проблем олигархических элит, обычно лишь подаваемых как общие и насущные), тогда как правда тронных и околотронных особ являлась и является господствующей, словно некая канонизированная Творцом святость, которую надо только принимать и не рассуждать о ней. Такое положение в общественных отношениях и общественном бытии длится века, корни его уходят к древнеегипетским фараонам, к тому исшедшему на обетованные земли стержню господства и рабства, который, расколов человечество на властей предрержащих и бесправных, обеспечил этому будущему бессмертному злу постоянную, если так можно выразиться, прописку во всех принявших хищнический миропорядок людских сообществах; вместе с хваленой культурой и хваленой цивилизацией мы получили как довесок или скорее как основу предполагавшихся «прогресса» и «процветания» двойственное восприятие и толкование общественного бытия — свое, народное, которое все еще остается с нами и продолжает удерживать нас в рамках добронравия, миролюбия, доверчивости и покорства (не лучшее, надо сказать, качество в условиях хищничества), и привнесенное, дворцовое, хотя ни с какой стороны не приложимое к быту простолюдинов, но которое мы должны признавать как некое божественное предначертание и работать, работать на торжество этого предначертания, чтобы у правителей не иссякала возможность пирамидо-небоскребно утыкать землю все новыми и новейшими символами (так называемыми «памятниками культуры») могущества власти. В предклассовый период развития человечества, когда только-только закладывались основы самобытных национальных культур и самобытных национальных цивилизаций (думаю, что как народы Древнего Египта, так и народы позднейшей, античной Греции нельзя выносить за скобки этого процесса), на Земле господствовала только одна правда, и мир людских сообществ не знал таких кровавых катаклизмов, какие обрушились на него с возникновением системы господства и рабства; но с началом противостояния правды народного бытия с правдой тронных и околотронных особ, когда правда правителей стала одолевать правду народной жизни, в становлении общественных отношений и устройстве общественного бытия произошел перекос, который так и не позволил и не позволяет человечеству возвести для себя храм всеобщего благоденствия; здравый смысл (тут я вынужден вторично прибегнуть к этому термину) продолжает и сегодня говорить нам, что правда народная, исходящая из жизненных интересов простолюдинов, должна, если по справедливости (по составляющему большинству), быть ведущей и направляющей; но в действительности миром правит не большинство, с мнением которого вроде бы по всем божественным и небожественным законам нельзя не считаться, а меньшинство, трущееся у тронов и восседающее на них; разумеется, у этих персон своя жизнь и своя, исходящая из их великосветских потребностей, правда жизни, и тут, пожалуй, не в чем было бы упрекнуть их, поскольку каж-

дый имеет право на свое мировосприятие, если бы сии облаченные во власть персоны не взялись бы навязывать большинству свои условия бытия и не объявляли бы свою дворцовую правду единой, общей и непререкаемой святостью. Мировое сообщество не без продуманных властителями (стержнем господства и рабства) усилий настолько утвердилось во мнении, что нынешняя цивилизация есть великое достижение народов и что дали ее миру древние египтяне и античные греки (как видите, я даже не закавычиваю этот исторический популизм), что никому и в голову не приходит, что существовали иные цивилизации, взраставшие на других основах, и что оттого, что они были уничтожены и преданы забвению, человечество ничего, дескать, не потеряло, но, напротив, открыло для себя скорейший путь к прогрессу и процветанию (?!?!), и настолько убеждено, что историки, философы, археологи, обращающиеся в силу своей научной заданности к Древнему Египту и античной Греции (и к Риму, естественно, как к самому могущественному преемнику этих первородных культур и цивилизаций), обращаются к общим истокам развития человечества, и не важно, что в результате их бесконечных раскопок и исследований наше представление о тех временах не продвинулось ни на шаг от общеизвестных, достаточно искаженных за века (с перекосом в сторону возвеличивания фараонов и обожествления их могильно безмолвствующих пирамид) и отлакированных для народного потребления истин, не важно, что научная мысль тысячелетиями топчется на месте, как слон на привязи, обладающий силой, но не умеющий или не желающий применить ее, а важно лишь, что слон есть, что процесс познания существует, что он непрерывен, что академические звания попусту не присваиваются и что в конце концов ничто так не умиротворяет души простолюдинов, как подогреваемые в них (бесперывно и независимо от результатов) надежда и вера. Мы привыкли именно к такой картине жизни, в которой все не просто расставлено и разложено по местам и объяснено, но расставлено и разложено со смыслом, со значением, словно недостаточно подлинности, что подается для обозрения и восприятия, и ее как ловко сработанное правдоподобие нужно непременно чем-то подтвердить — стечением ли обстоятельств, создавших тот или иной прецедент, то есть непредсказуемостью стихии (в данном случае слепой стихии масс), или «промыслом Божиим», то есть этим всегда на подхвате теологическим шаблоном, или штампом, коим с давних времен припечатывается все, что либо недоступно, либо не подлежит по высочайшему запрету тронных особ оглашению и познанию; да, мы привыкли, чтобы вокруг нас было все истолковано и объяснено — хотя бы и «промыслом Божиим», а уж коли объяснено (не важно кем и для каких целей), то за внушенную нам «правду жизни» мы готовы стоять насмерть, какими бы перманентными бедами эта «правда» ни оборачивалась для нас. Подобную стойкость можно было назвать неразумным, а если резче — глупым поведением народа или народов, что звучит обобщеннее и реалистичнее, если бы глупость эта не распространялась на все человечество, представленное ликом простолюдинов (девяносто девятью и девятью десятymi населения Земли, о чем выше уже упоминалось, и что достойно несчетного повторения), и если бы в основе ее проявления не лежал тронно-заложенный вселенский обман; ведь то, что мы принимаем за правду жизни, на самом деле не является таковой, а скорее напоминает ее художественно и политически смонтированное правдоподобие; этим сотканым и размалеванным красками полотном жизни, по сути, прикрыта жизнь подлинная, наполненная совсем иным, если отвернуть хотя бы даже уголок холста и заглянуть за него, смыслом и значением. Мы полагаем, что историки, философы, археологи, обращающиеся из века в век к древнеегипетской и древнегреческой культурам и цивилизациям, озабочены лишь тем, чтобы, накопив знания, решить наконец насущные проблемы нашего бытия, которых за тысячелетия пребывания людских сообществ в хищничестве накопилось более чем достаточно; но если, отойдя от этого укоренившегося шаблона, повнимательней присмотреться к их «ученому подвигу», то окажется, что они работают вовсе не на народ и не на науку, а на троны, на власть как таковую, заряженную насилем и порабощительством, а если еще обобщенней, на весь тот фараоновский миропорядок, навязанный человечеству исшедшим однажды из Египта стержнем господства и рабства, который мы, страдая в нем и ругая его, тем не менее продолжаем признавать «великой цивилизацией», а древнеегипетское первородство этого ми-

ропорядка, то есть зло, — великой зарей или благословенным, сказочным взлетом человеческого духа (видимо, и от произвола властителей до взлета человеческого духа, как и от великого до смешного, всего лишь шаг); так что, да, вольно или невольно, но исследовательская деятельность историков, философов, археологов, по крайней мере в том виде, в каком она зафиксирована в разрезе веков, — деятельность их не только не выпадает из руслу тронных интересов и потребностей, но, напротив, является стержнем в этом обременяющем человечество русле насилия, произвола и кабалы. Чтобы укрепиться во власти на обетованных землях, стержню господства и рабства нужно было как минимум уничтожить все, что связывало завоеванные народы с их самобытными культурами и самобытной цивилизацией (как это делалось, какими военными, духовными, экономическими экспансиями сопровождалось, думаю, нет необходимости расшифровывать здесь, поскольку все это достаточно подробно изложено в исторических главах повествования); но чтобы внедрить в их быт свою, хищническую, мало было только обратить в пепел и прах национальные реликвии тех культур и цивилизаций, но и духовно, если так можно выразиться, уничтожить их, то есть оклеветать и очернить их базовую (добронравие и миролюбие) суть, чтобы у носителей этой сути рано ли, поздно ли, но возникло полное до отвращения неприятие к своим национальным верованиям и традициям, к «темной и невежественной» (на фоне хищнического «процветания») жизни предков, а уже когда целые людские сообщества превращаются в «иванов, не помнящих родства» (какими, кстати, не одно уже тысячелетие пытаются сделать славян, главным образом восточноевропейских), то над такими сообществами можно уже безнаказанно и неостановимо чинить произвол. Подобная задача, естественно, была не под силу одному, двум, трем, даже если цифры эти обратиться в десятки и сотни, поколениям властителей, принимавших друг от друга эстафету фараоновской державности, на осуществление этого грандиозного замысла, связанного с притязаниями на мировое господство, ушли века, тысячелетия (однако процесс этот, как мне кажется, и поныне еще не завершен и по приемам и методам его осуществления, очевидным для всех, вполне, впрочем, можно представить, как все протекало в древности, да и не только в древности, но и в новейшие — открытие и освоение Америки — времена), и на этом пространстве веков, как гильотина, отсекающая духовные корни народам, властно работала машина национальных удушений, машина духовного оскопления целых континентов, и параллельно с ней и тоже неостановимо вырабатывалась и нагнеталась хвалебная ложь о «великой цивилизации» и величии народа, причастного к ее первородству. Да, такова реальность вопреки сотканному полотну жизни, вопреки смонтированной для нас (картинно смонтированной) бутафорской действительности, в которой все расставлено и объяснено в ключе самого неподдельного будто бы правдоподобия; но правда, если, конечно, мы хотим узнать и поверить в нее, — правда заключена в том, что троны никогда и ни в чем не поступались своими интересами и что вопрос освещения истории был и остается для царствующих персон главнейшим вопросом их пребывания у власти и вообще жизнестойкости власти как таковой с ее до безотказности отработанными за века методами безграничного насилия и беспредельного господства; усвоив (за эпохальное противостояние народам, все еще пытающимся отстаять свою самобытность и независимость в развитии), что дух (то есть мировосприятие, традиции, нравы), живущий в людских сообществах, бессмертен, что сколько ни убивай и ни обращай его в прах, он все равно находит опору и почву, оживает и прорастает и что единственным методом борьбы с этим вызывающим неудобство явлением может быть только встречный поток той напускной, ложной, троннофабрикованной духовности, который, пенно наслаиваясь (под знаком «великой» культуры и «великой» цивилизации) на поколения простолудинов и зомбируя их, способен не только придавить, заглушить любую противостоящую, то есть способную к возрождению, правду, но и вообще на века закупорить ее. Чтобы народы не оглядывались назад и не искали свои задущенные на корню самобытные культуры и цивилизации, вернее, чтобы не пробуждалось в их сознании национальное достоинство, которое для тронов в целом, а для тронов с чужеродными правителями особенно, чревато непредсказуемым, если не сказать больше, последствиями, как раз и был пущен на человечество этот так называемый встречный поток духовности, поток лжи о

«великой» (и величии первородства) хищнической культуре и «великой» (и столь же величественной в своем первородстве) хищнической цивилизации, научно, то есть ватно, если точнее, обкладывающий, умиротворяющий и безмерно оглупляющий нас.

LXVI

В предыдущих главах я уже говорил, что люди, исповедовавшие добронравие в противоположность хищничеству и творившие добрые дела, не были обременены заботой об увековечении своих дел, во-первых, потому, что уважительные отношения, базировавшиеся на миролюбии и взаимопонимании, и добрые, исполненные справедливости и человечности дела являлись настолько привычными, повседневными, составлявшими основу общественного бытия, что их просто-напросто не было нужды фиксировать и выставлять как образцы для подражания, и, во-вторых, что всякое доброе деяние, если оно действительно доброе, без каких-либо принуждений остается в сознании людских сообществ, обростает со временем легендами и обретает через народную память бессмертие (характеристика эта прежде всего относится к тем альтернативным хищничеству самобытным культурам и цивилизациям, которые в силу именно своих добрых начал оказались в самом почти зарождении разрушенными и задавленными), но что люди, положившие идеалом жизни постулаты насилия, господства и порабощения и творившие и продолжающие творить (в согласии с этими постулатами) зло, завоеывая, разоряя, грабя и закабалия соседние народы, что люди сии, а к ним прежде всего относятся представители фараонского стержня господства и рабства, чтобы не выглядеть нелюдьми, то есть антилюдьми, должны были так ли, иначе ли прибегнуть к фальсификации своих человеконенавистнических тронных деяний, с одной стороны, облагораживая их покровом святости, будто людская кровь так просто не проливается и тем более не проливается за интересы тронов, но всегда только во имя «правды» и «справедливости», а с другой — стремились закрепить эту ложь как примеры величия и славы народа в монументальных и летописных памятниках. Фараоны, установившие на берегах Нила жесточайший режим господства и рабства, чтобы поставить себя в положение великих благодетелей, на коих только и может держаться жизнь, обозначили устами доморощенных, разумеется, оракулов эпоху своих тиранских деяний «веком Богов», а чтобы увековечить в благородных чертах это божественное предназначение, принялись возводить достойные своего «небесного» высокородства усыпальницы, уже позднее, думаю, названные пирамидами, и мумифицировать столь же смертные, как и плоть простолюдинов, испускавшие дух свои телеса. Они стремились придать своей земной жизни божественное начало, которое бы раз и навсегда отделило их от простых смертных, призванных лишь работать на них и обслуживать их, а чтобы эта простейшая схема насилия и порабощения не открылась бы вдруг и не обнажила суть их заgrimного кровопийства, ткали вокруг своих замыслов и свершений тот нимб тайны и святости, который, сработанный на тысячелетия из нетленных понятий духа (нетленных слов, нетленной риторики), продолжает и сегодня манить к себе своей будто бы неразгаданностью самых разных персон власти и представителей людских масс; персон власти — за уроками искусства владеть и управлять миром, и в этом плане древнеегипетское первородство господствующей ныне цивилизации есть для них бездонный кладезь поучительных примеров и истин, прошедших проверку жизнью на прочность и обладающих беспспорной надежностью в применении (по сути, тайна фараонов есть тайна профессионалов насилия, и правителями всех эпох и всех поколений не принято выпускать ее за стены дворцов), представителей же людских масс, то есть простолюдинов, кто отправляется или хотел бы отправиться поглядеть на стойбище пирамид и охраняющего их сфинкса, в каменном чреве которого в свое время заточали рабов, черепа и кости коих и поныне пребывают в этом каменном чреве, как некое словно бы напоминание о страданиях «века Богов», то есть о чудовищных злодеяниях, совершавшихся одними людьми, власть предержащими, над другими, бесправными и закабаленными, — представителей людских масс, кто отправлялся или хотел бы отправиться поглядеть на эти символы могущества былой власти, законсервировавшие в себе (вместе со скелетами

в чревах, костями и черепами) беспримерное барство и беспросветную нищету тех минувших веков, влечет, однако, не идентичное или по крайней мере близкое к идентичности сходство жизни, а лишь бездумное ротозейство или, вернее, тот бездумный зрелищный интерес, которым человечество, зарядившись однажды (по простодушию и невежеству еще на заре своего становления), грешило затем века, как грешит и сегодня, поддаваясь искушению внешней занимательности в ущерб глубокому осмыслению происходивших с предками и происходящих с нами событий. А между тем если бы мы позволили себе хоть немного углубиться в историю (ведь древность не может представлять только в зримых образах и картинах, но у всего, что творилось в прошлом, в данном случае творилось фараонами, как и у событий текущего времени, есть изначальная духовная подоплека, то есть то самое слово, если по Священному Писанию, которое хотя, возможно, и не было прилюдно оглашено, но которым, положив его в основу своих поработительских деяний, руководствовались и продолжают руководствоваться правители всех поколений, обращая направленность и заданность своих монарших свершений в стихийную потребность масс и прикрываясь от осудительных взглядов современников и историков этой будто бы естественной, но бездумной и непредсказуемой потребностью), — если бы мы, взирая на стойбище пирамид, коими фараоны утыкали египетскую землю, действительно позволили бы себе углубиться в историю, то все сказанное доньше о пирамидах и забальзамированно покоящихся в них хозяевах поразило бы нас не первородством «культуры», не первородством «цивилизации», которая, дав миру государственность, привела вроде бы народы к «прогрессу» и «процветанию» (прогрессу и процветанию господства и повсеместному, да, почти повсеместному утверждению рабства), но первородством зла и первородством обмена, с помощью которого это фараоновское державное зло, окропленное блестками благородства, давно и небезуспешно подается под видом великих благодеяний мировому сообществу. Стойбище пирамид — это та разделительная, межевая черта в развитии и становлении человечества, когда с эволюционного, то есть с вполне естественного, пути развития оно вынуждено было перейти на путь так называемых революционных, если говорить языком современности, насильственных преобразований, а ведь любое насилие — это кровь, войны, разорение, нищета, бесправие и порабощение как зловещий итог, каким только и могут «kozyрнуть» все известные в истории подобного масштаба революционные преобразования (да и как еще могли воспринимать людские сообщества происходившее с ними, когда у них отбиралась не столько самобытность, сколько свобода на ее проявление, и навязывалось хищническое мироустройство, то есть, по сути, бесправие и рабство?); то, что было оставлено по ту сторону разделительной черты, всячески и сегодня охаивается и предается забвению, а первородноегипетское, что было привнесено и навязано силой, да, именно силой, и получило затем наименование «великой цивилизации», напротив, с помощью искусства внушения (искусства зомбирования) вознесено до вершин непревзойденных, неповторимых и беспорочных, конечно же, «ценностей», на коих стоит и коими движется современный мир «прогресса» и «процветания». А между тем все эти привнесенные духовные, нравственные, культурные «ценности», включая, разумеется, и государственность с ее хребетной основой господства и рабства, сравнимы лишь с кандалами, наглухо сковавшими человечество по рукам и ногам в его физических и духовных проявлениях. Весьма возможно, сравнение это кому-то покажется предвзятым, глупым, чудовищным или, мягко говоря, необъективным, и на это, наверное, найдутся и соответствующие доводы; однако каждый волен думать, что думает, и писать, что пишет, если продуманное и написанное оставляется для собственного потребления; но, чтобы работа получила признание не в дворцах и храмах, где канонизируется лишь то, что служит или готово служить иерархическим интересам, а в народе, она должна как минимум основываться на достоверных, а не на подделанных под правдоподобие фактах минувшей и текущей действительности, и если что-то и можно было бы назвать здесь чудовищным, то не сравнение с кандалами фараоновских (государственных) институтов насилия и закабаления вкупе с «ее величеством» культурой, а то, что, будучи скованными не столько даже в возможности физического, сколько в возможности духовного проявления, мы до сих пор так и не уяснили для себя, что же на самом деле произошло с нашими

предками и с нами, если мы не в состоянии уже даже просто заговорить о национальном достоинстве и национальных интересах. А произошло то, что произошло, но никак не то, что «научно» преподносится нам в упаковке всемирной истории с ее древнеегипетским первородством «ценностей»; ведь не только мы, но и большинство народов со сходной с нами судьбой далеко не все знают о своей истории и своих ушедших в небытие национальных культурах и цивилизациях, поскольку разрушение этих культур и цивилизаций сопровождалось тщательно продуманным процессом нивелирования (унифицирования) исторической памяти, и можно только диву даваться проявленной исшедшим из Египта стержнем господства и рабства прозорливостью в защите своих тиранских интересов, положившим святой обязанностью тронов следить за формированием сознания людских масс. Ни одна или почти ни одна из национальных историй поработанных фараоновской державностью стран не составлялась национальными кадрами; в официальной историографии явление это объяснено элементарной отсталостью и безграмотностью народов, не сумевших вовремя подключиться к «благам» цивилизации с ее древнеегипетским первородством, и такое объяснение, пожалуй, имело бы смысл, если бы отставание и безграмотность не являлись прямым следствием тех кабальных условий жизни, в каких правители, особенно чужеземные, «призванные», как было и остается у нас, держали народы и континенты. Фараоновской абсолютистской властью, по сути, был взят под контроль весь пласт исторической духовности народов, и взамен подлинных историй, на основе которых народы эти могли бы с основательностью и достоинством обустривать жизнь, им стали навязывать оскопленные, то есть до предела искаженные и обедненные (с помощью приглашенных и наезжавших «светил знаний», готовых за мзду, разумеется, «учреждать» любые академии и «развивать» любые науки среди недорослей-аборигенов) так называемые национальные и даже вроде бы национально-патриотические с восхвалением подвигов монархов и полководцев истории, в которых, кроме попугайного, мягко выражаясь, подражательства западным образцам, то есть канонам определенной направленности, ничего-то, в сущности, обнаружить нельзя.

LXVII

Возьмем, к примеру, нашу историю, историю восточноевропейского славянства, историю России, которая вся насквозь, а не только по главным своим параметрам пронизана варяжско-норманнским духом, в ней тщетно искать собственно славянскую историю, то есть историю коренных народов и, если конкретной, русского народа, и явление это не стихийного порядка, нет, и не надо лукавить хотя бы перед собой, что, дескать, так сложились обстоятельства и кому что написано на роду, тот то и получит; первая глобальная духовная экспансия началась задолго еще до «призвания» Рюриковичей, когда территория будущей России (в первой книге я достаточно подробно уже писал об этом) была объявлена в Константинополе Шестидесятой Восточной епархией и когда миссионеры от православия, а по сути, от византийской императорской власти, двинулись на добронравных, мягкосердечных, доверчивых наших предков с хомутом Божьего рабства; спустя столетия, когда с помощью великих князей хомут рабства все же был надет на шею народа, духовная экспансия не только не завершилась, но вступила в новую стадию углубленного проникновения в сознание простолюдинов, дабы ничто, кроме этой чужеземной веры, и никто, кроме чужеземных иконостасных поводырей, вещавших о Царствии Божьем, не насаждавших столь же чужеземное (и чужеродное нам по фараоновскому духу хищничества, заложенному в нем) царствие земное, обращавшее коренной люд в крепостных, а наезжий, служивый — в дворян, — чтобы ничто, кроме этих двух ориентиров жизни, молясь на которые мы так и не можем выбраться из колеи бесправия и нищеты, не трогало наш ум, наши чувства и не побуждало к поискам перемен и действий. С искоренением язычества искоренена была, по существу, и вся наша исконная (национальная) духовность, то есть обращены в тлен еще теплившиеся тогда в памяти уголки самобытной, взрастающей на началах добронравия и миролюбия культуры и самобытной, жизнерадостной и жизнеутверждающей цивилизации, чего как раз и добивался фараонов-

ский державный абсолютизм, только-только еще начавший утверждаться у нас; во главе русской Церкви стояли греческие (константинопольские) митрополиты и, как подтверждает историческая и текущая действительность, блюдя чистоту веры или, точнее, поучая нас жить в аскетизме, смирении и послушании, они, эти греческие (константинопольские) митрополиты и наставники, блюли и интересы своей империи, и хотя как наша, так и константинопольская Церкви отрицают возможность подобного экономического диктата, экономического порабощения (но ведь известно, что с принятием христианства киевские, а затем и московские великие князья были зачислены стольниками при византийском императорском Дворе, и это стольничеству, а по-современному — вассальство, то есть светская, политическая, если хотите, зависимость длилась на протяжении почти шести столетий и была отменена только после женитьбы Ивана III на Софье Палеолог, когда великий князь вместе с супругой получил все атрибуты византийской императорской власти), — да, хотя Церкви, и наша, и константинопольская, отрицают какую-либо корысть, кроме корысти веры, в своих взаимоотношениях, однако греческое (византийское, константинопольское) засилье оказалось столь откровенным и обременительным, что терпеливые российские духовные пастыри вынуждены были при содействии великих князей, а затем и царского Дома Романовых вступить в борьбу с константинопольскими иерархами веры за российский святительский престол. Схватка, длившаяся не одно столетие, была наконец выиграна, чужеземство отгеснено, однако торжество это не принесло облегчение коренному российскому народу и не позволило ему освободиться от пресса чуждых (хищнических) идей; обрели самостоятельность (относительную, конечно, то есть видимую) все те же Рюриковичи, те же князья, обделенные светской и нашедшие пристанище в духовной власти, и поскольку чужеземно-канонное наставничество, как и иконостасные свято-канонные поводыри с их призывами к спасению через страдания, через истязания плоти и отречения от земных благ, не были для них ни чужеродными, ни обременительными, ибо не отменяли и не разрушали благоустановившийся фараоновский (державный) миропорядок, а, напротив, были для него главной духовной опорой, то и сменившие греков отечественные блюстители веры только еще больше ужесточили церковное (чужеродное) влияние на народ, придав религии угнетения и оскопления национально-судьбоносный характер, так что все мы и по сей день несем на себе изготовленный еще византийскими спецами духовных экспансий хомут «Божьего рабства». Что же касается государственной (политической) и культурной жизни, то с воцарением Рюриковичей коренной славянский люд (по крайней мере более чем на тысячелетие, если оглянуться на прошлые века, на века крепостничества, да и если повнимательней, не греша перед совестью, присмотреться к текущим событиям), — коренной славянский люд был самым жестоким и решительным образом поставлен в положение бесправных, обездоленных, в положение изгоев на родной земле; мало того, что «призванный» будто бы владеть и править нами Рюрик с братьями и «со всей русью» уже через месяц обезглавил всех «призванных» его на княжение славянских старшин, а ведь мы знаем на примерах истории, что такое обезглавить народ, нацию; мало того, что первыми же преемниками Рюрика были узаконены на захваченных (застолбленных для дани) территориях два устава жизни: для варягов и смердов, соответственно для господ и рабов; мало того, что положение это было подтверждено затем трехсотлетним правлением Романовых и семидесятилетним режимом пролетарских вождей, но, как показывает действительность, его не собираются отменять и нынешние, пришедшие на волне демократизации правители, вновь призывающие Церковь как духовную наставницу державности в неотъемлемые союзники власти. Если верить историческим событиям, а не тронноугодным версиям, коими до краев наполнены официальные историографии, и прежде всего наша, отечественная, то можно прийти к однозначному выводу, что нет и никогда не было политики в чистом виде, не увязанной со всеми другими проявлениями духовной жизни людских сообществ, как нет и не было чистого искусства или чистой, не сопряженной с политикой монарха или государства, культуры, ибо любое творческое проявление духа есть прежде всего проявление воли, а проявление воли — прямое, а не опосредованное, нет, проявление власти или, во всяком случае, посягательство на нее; стержень господства и рабства, исшедший из Египта (ра-

зумеется, он был представлен в лицах), уже тогда придавал первейшее, если не сказать больше, значение этой связке, этому единству, способному подпирать могущество тронов, и не случайно потому Рюриковичи, а затем Романовы и последовавшие за ними тронозахватники, оттеснив коренной российский люд от политического участия в обустройстве жизни страны, отстранил его и от созидательных начал в развитии национальной культуры; второе тысячелетие мы (я имею в виду массы, народ, простолюдинов) остаемся замороженными на уровне матрешек, частушек и так называемых девичьих (времен крепостничества) хороводов на лужайках перед барским крыльцом, превратясь из творцов самобытной национальной культуры в потребителей чужеземных «великих» (но большей частью развращающих нравственность) образцов «литературы», «живописи», «музыки», «театрального искусства», «зодчества»; все, что имеем, что вошло, как принято считать, в сокровищницу культурных ценностей мирового сообщества, сотворено, во-первых, не русским народом, а дворянами, то есть людьми, в свое время помещенными на кормление к русским людям и получившими затем в наследное крепостничество этих людей вместе с их семьями, имуществом и землей, и, во-вторых, поскольку сотворено дворянами, то и несет в себе не народное, а дворянское понимание и видение мира. Разумеется, я вовсе не собираюсь здесь умалять значение дворянской литературы, дворянского искусства; творения этих достаточно просвещенных (относительно простолюдинов) личностей по-своему велики, но они никакого отношения не имеют к народу и называются русскими, французскими, немецкими лишь по месту пристанища создававших их знаменитостей, которые, по сути, если без предвзятости заняться сличением их трудов, работали и продолжают работать в едином ключе древнеегипетского (древнегреческого, древнеримского) первородства фараоновского стержня господства и рабства, и все, что согласуется с целями и потребностями этого исшедшего с берегов Нила на захват мира стержня абсолютистской державности, получает признание, возвеличивается и увековечивается, а что противоречит властным домогательствам этого стержня, осмеивается, оскверняется и предается глухому забвению. Национальное, самобытное — да может ли вообще быть что-либо национальное и самобытное, когда есть единая «великая» культура, единая «великая» цивилизация с общепризнанным древнеегипетским первородством? Незыблемый авторитет этой единой для всех культуры и единой цивилизации есть залог незыблемости установившегося повсюду фараоновского (хищнического) миропорядка, и любым тронам, при каких бы социальных формациях они ни возводились, и персонам, восседающим на них, всегда сподручней иметь дело с массами, исповедующими единые ценности, чем с людскими сообществами, тяготеющими к самобытности развития, а потому и первейшей заботой сих властных персон, их приоритетной политикой является политика унифицирования (в нужном для них древнеегипетском первородстве) всех сфер человеческого бытия. Есть потребности в национальном проявлении у славянских народов и есть у германских (этот пример я беру только потому, что он ближе, доступней и понятней мне, хотя можно найти и более выразительные и на африканском, и на азиатском, и на американском континенте), что же, будет одна, подчиненная закабалительным канонам потребность; миролюбие, добронравие и доверчивость россиян и экспансионистская несдержанность, если выразиться помягче, соседних азиатских и западноевропейских народов и государств, что ж, с помощью вековых риторик можно и эту истину превратить в очернительство славян, противостоящих хищничеству и не желающих принимать его, и прикрыть тогой благородства насильничества и порабощительства сторонников хищнического мироустройства; о русских людях на Западе знают только то тенденциозное, что о нас в разные времена написали наши достославные соотечественники-дворяне и всякого рода закордонные «путешественники», для которых правда заключалась и заключается в том, что в России все плохо, все не как у людей и что есть глубочайшая несправедливость в том, что такому «никчемному», дескать, народу «упала» в руки столь огромная и богатейшая территория Земли; к сожалению, нет такой отечественной книги, такого отечественного спектакля или кинофильма (я уж не говорю о телевизионных передачах), в которых русский человек не был бы искажен и унижен как в бытовом, социальном, так и в духовном плане, а мы не в состоянии достойно ответить на эти психически подавляющие народ

выпады, ибо как были, так и остаемся отторгнутыми от созидания национальных культурных (духовных) ценностей; но если во времена Рюриковичей или Романовых можно было еще чем-то объяснить такое отторжение (великокняжеским, монаршим беспределом и беспримерными притеснениями масс), то сегодня за этим еще более обнажившимся явлением уже четко просматривается целенаправленная политика тронноугодных «светил» от фараоновского стержня господства и рабства. Такой же процесс борьбы двух направлений — исконно русского и привнесенно-чужеземного немецкого — происходил и в стенах Российской академии, где и сегодня во многом чувствуется подобное же засилье, как, впрочем, и в других научных заведениях, особенно работающих в сфере гуманитарных знаний, то есть в сфере духовности, превращается в «иванов, не помнящих родства» русская нация, и о какой истинно отечественной истории в таких навязанных обстоятельствах может идти речь?

LXVIII

Сегодня каждый здравомыслящий человек, решивший хоть частично ознакомиться с ходом исторического развития человечества, не может не озадачиться вопросом, что обрело и что потеряло мировое сообщество за века в кровавых схватках за богатства, славу и власть, положив на алтарь этой безумной бойни миллионы ни в чем не повинных жизней, и можно ли признать прогрессом и процветанием это, к чему пришли, если, конечно, за единицу измерения брать не технические достижения, то есть не величие пирамид, на которых, кстати, представляя их туристическому миру, паразитируют сегодня, наживая капиталы, как отдельные личности, так и государство в целом, не головокружительную высоту небоскребов, способных лишь повторить по человекоотчужденности и уникальности явления судьбу своих каменных собратьев (в конце концов все империи уходили в небытие, уйдет и эта, жестко диктующая современному миру условия бытия, и символы ее сиюминутного могущества, как и стойбища пирамид, предстанут унылыми и жалкими призраками бессмысленных насилий и порабощений), — да, можно ли признать прогрессом и процветанием это, что в лучшем случае оборачивается телесными убожествами, да и то для обитателей дворцов и храмов, но никак не для обитателей хижин, которые, что следует подчеркнуть здесь, составляют не больше, не меньше, как хребетную основу человечества, и подавляет духовно как личности, так и народы, то есть создает атмосферу неустойчивости, метаний, как если бы жизнь, дающаяся человеку, давалась ему и в самом деле не для радостей свободного, созидательного труда, а для испытания нищетой, страданиями, рабством. Готов еще и еще раз повторить, что каждый здравомыслящий человек сегодня не может не озадачиться вопросом, насколько историческая и текущая действительность соответствует толкованиям и оценкам, какие внушаются нам о нашем прошлом и текущем бытии, и не скрывается ли за периодизацией развития (сменой формаций, как сменой вывесок над одной и той же сутью) нечто не поддающееся дроблению, целостное, что, составляя нашу историю, одновременно составляет тайну властных особ, соткавших для себя покров избранности и святости и не разрешающих никому даже просто притронуться к нему. Реальным, если говорить откровенно, то есть соответствующим исторической действительности, в официальных историографиях можно считать лишь то, что в них четко разграничены два периода в развитии человечества — доклассовый (родовой, общинный) и классовый, именуемый цивилизацией, когда общественные отношения и общественное бытие начали обретать форму государственности (следовало бы добавить, с фараоновским державным абсолютизмом, вышедшим на захват мирового господства и захватившим его); на этом делении, собственно, весь реализм официальных источников и завершается, ибо одно дело — констатиро-

вать явление, оказавшееся, может быть, самым крупным, поворотным и определяющим в истории мирового сообщества, положившим начало всем и донны не прекращающимся обрушиваться на нас бедам, и совсем другое — правдиво или по крайней мере с доступной объективностью и правдивостью объяснить его; я не хочу сказать, что официальная историография не пытается дать такое объяснение и что в представленных ею толкованиях нет ничего или почти ничего правдивого, во что нельзя было бы поверить,— нет, отчего же, напротив, как и во всяком четко сработанном правдоподобию, в толкованиях, предлагаемых ею, есть и ссылки на вполне вроде бы достоверные факты, и железная (житейская) логика в подборе посылок и доказательств, и, главное, то, что ставит этот период развития человечества однозначно, то есть по всем статьям, на низшую, первобытную ступень развития, тем самым оттеняя благородство пришедшей на смену первобытности цивилизации (естественно, со значением древнеегипетского, древнегреческого и древнеримского первородства), и с таким утверждением, наверное, можно было бы вполне согласиться, если бы оно не грешило формулой стихийности; стихийно будто бы лишь из недр изживавших себя родовых и общинной систем бытия родилась потребность классового расслоения (?!?!), стихийно же явление это распространилось на все человечество (отступление только в том, что шло неравномерное «созревание» народов к принятию новых форм общественного мироустройства), тогда как история свидетельствует, что в навязывании единой (хищнической, с древнеегипетским первородством) культуры и единой (хищнической, все с тем же древнеегипетским первородством) цивилизации не только не было ничего естественного, стихийного, но мир получил пример первого и самого грандиозного революционного, то есть насильственного, преобразования, и, как отброшенного в воду камня, от эпицентра этого первого взрыва насилия, первого революционного (от произвола человеческого разума) вмешательства в мирную, эволюционную жизнь людских сообществ, до сих пор продолжают растекаться волны больших и малых насилий, порабощений и грабежей. Суждение это, разумеется, можно оспорить, как можно (путем риторических хитросплетений) оспорить все, что бы ни выдвигалось в противовес тронноутвержденным канонам бытия, но факты истории всегда будут оставаться фактами, если даже кому-то очень бы захотелось отменить или изменить их; предклассовое состояние жизни людских сообществ — это был единственно приемлемый эволюционный путь развития, когда процессы материального и духовного развития, согласуясь и дополняя друг друга, как они согласуются и дополняют друг друга в природе, протекали в естественной своей заданности, и нет никаких оснований сомневаться в том, что они, эти процессы, не привели бы человечество к прогрессу и процветанию, к достижениям культуры и к цивилизациям, которые базировались бы не на основах человеконенавистничества, то есть не на основах фараоновского хищнического мироустройства, а на основах, как уже говорилось выше, человеколюбия (и с государственностью, обращенной к людям и для людей, а не ко дворцам, коронованным особам и к их холопствующей высокородной челяди), и мир человеческого бытия обрел бы совсем другое лицо, чем он имеет сегодня, да, да, обрел бы совсем другое лицо, если бы не фараоновский стержень господства и рабства, исшедший из Египта на захват мира, и последовавший за этим исходом не одномоментный, нет, а растянувшийся на тысячелетия и все еще набирающий силу взрыв насилия и порабощения. В доклассовый, а точнее, предклассовый, период развития человечества, когда в людских сообществах только-только начинали зарождаться самобытные (национальные) культуры и самобытные (национальные) цивилизации, которые, если бы не бульдозер фараоновского господства и рабства, прошедший по ним и придавивший их, могли бы сегодня представлять собой изумительнейшее поле самых разнообразных и неповторимых духовных проявлений естественной народной жизни,— в тот доклассовый, или, точнее, предклассовый, период люди не имели представления о понятиях ада и рая, а знали только, что есть жизнь и есть смерть как потустороннее (загробное) ее продолжение и что между двумя этими ипостасями человеческого существования только одна связь: чего каждый сумеет добиться в земном пребывании, точно то же получит в загробном; по сути, это была система достаточно реалистических, наполнявших человека энергией деятельности взглядов, ему не надо было пугать и оскоплять себя ни

карами ада, ни благоденствием рая, и с тем, что он совершал (благовидное ли, неблагоприятное ли), ему и предстояло затем пребывать в потустороннем мире, и, мало сказать, что подобная система взглядов, а ее только так и можно назвать, составлявшая мировосприятие наших пращуров (на основе этих взглядов как раз и родилось затем всемирно известное, огульно осужденное и искорененное затем язычество), заключала в себе как стимулирующие, так и сдерживающие начала в проявлениях человеческой воли, но она изначально уже отвергла самую возможность как физического, так и духовного насилия, человек творил жизнь, он сознавал себя создателем, хозяином и распорядителем своей судьбы, и это, на мой взгляд, являлось величайшей ценностью, утраченной человечеством за века господства фараоновской абсолютистской державности. Теперь давайте зададимся другим вопросом и попытаемся ответить себе: возможно ли, чтобы в недрах такой духовности, вернее, в людских сообществах с подобной жизнеутверждающей системой взглядов возникла потребность классового расслоения? Нет, ибо народ, каким бы неразумным в общей массе ни представляли его, вряд ли способен на бездумные (если его не подтолкнут к этому тронногодники или рвущиеся к власти претенденты), подрывающие основы своего бытия поступки, а значит, остается одно — насилие, с каким фараоновская державность обосновывалась и продолжает обосновываться на облюбованных ею обетованных землях. Именно ей, этой державности, чтобы господствовать, нужно было повсеместно унифицировать самобытные духовности народов под единую (с древнеегипетским первородством) культуру и единую цивилизацию; раслоив общество на господ и рабов, носители фараоновской державности прежде всего должны были кардинально изменить языческое представление о мироустройстве, основывавшееся на реалиях доклассового бытия, и преподнести новое, хотя вроде бы и сотканное из божественных предначертаний, но, по существу, столь же один к одному отражавшее теперь уже новопривнесенный, поделивший людей на властей предержавных и бесправных миропорядок. Можно представить, каким болезненным был этот процесс насилия, который продолжается и сегодня, — перманентная революция фараоновских державников, добивающих последние карфагены перед полным захватом мирового господства; новое (с древнеегипетским первородством) мировоззрение, или, сказать иначе, классовое, пришедшее на смену первобытнообщинному, было изначально уже (по тронноугодному замыслу) не жизнеутверждающим, не заряжавшим людей энергией созидательной деятельности, а жизнеподавляющим, рассчитанным на привитие покорства, смирения и терпения массам простолюдинов; вместо реализма осознанности действий, то есть вместо свободного выбора творить жизнь, им был дан реализм осознанного страха перед возможностью вечных мучений; жизнь земная была объявлена пристанищем преходящим, загробное бытие — вечным, а потому человек не должен ничего добиваться на земле, кроме одного — быть покорным судьбе, ибо только праведники, терпеливо переносящие невзгоды и тяготы земного бытия (скажем, рабство, которое вроде бы тоже от Бога), достойны претендовать на место в раю. Думаю, глубоко ошибаются те, кто полагает, что метод кнута и пряника есть метод воздействия властителей на массы; нет, это не метод властителей, а состояние жизни, устроенной ими, начиная со времен пирамид; жизнь такова, что она уже самой своей сутью являет кнут и пряник, поскольку, пугая простонародие муками ада, правители своим произволом и карами раз за разом создают наглядную картину вечных страданий, а воздвигая дворцы и храмы и являясь перед народом в блеске и роскоши, словно бы приоткрывают или, вернее, выносят на всеобщее лицемерие образцы райского благоденствия.

LXIX

С исходом стержня господства и рабства на обетованные земли к жителям этих земель не просто явилось новое или обновленное восприятие и толкование земного и загробного бытия, но людям предлагалось теперь видеть и понимать не то, что они видели и понимали прежде (и что в полной мере можно назвать реализмом, поскольку было прямым отражением действительности), а то, что отныне и на века продиктовывалось им видеть и понимать в окружающем их мире (и что было великим, да, именно великим обманом, заgrimирован-

ным под божественные предначертания и защищенным этой же возведенной в святость ложью); между богатством дворцов, храмов и нищетой и бесправием хижин образовалась настолько несвойственная для нормального человеческого бытия пропасть (с устойчивой, впрочем, тенденцией к расширению и углублению), что без определенной легитимизации этого сложившегося или, вернее, складывавшегося в общественных отношениях и общественном бытии положения ни троны, ни простолюдины уже не могли пребывать в спокойствии, и поиски такой легитимизации, которая бы надежно и устойчиво служила в веках, то есть безотказно воздействовала на мировосприятие масс, как раз и привели светских и духовных поводырей (светских и духовных правителей) ко всеохватному, заключив его в нимб святости, обману, в каком все мы благопреемаем и сегодня, когда нищая, исполненная страданий и рабских тягот жизнь простых людей преподносится нам же, простолюдинам, как предначертанный Творцом образец смирения и покорства, гарантирующий вечное потустороннее блаженство, а царская, княжеская, святительская жизнь, протекающая в нравственной и физической пресыщенности, нарекается (во ублажение простолюдинов, да, опять же простолюдинов) порочной, открывающей ее носителям прямую дорогу к вечному аду. Принято считать, что интеллект современного человека, включая правителей, да, пожалуй, правителей в первую очередь как пастырских преемников мироповодительства, по меньшей мере на десять порядков выше интеллекта людей (правителей) древних веков; но я глубоко сомневаюсь в этом, поскольку ни нынешние держатели и хранители фараоновского стержня господства и рабства, восседающие в президентских и премьерских кабинетах, ни современные «светила знаний», не говоря уже о простом люде, который и никогда-то не брался в расчет, не привнесли в сферу общественных отношений и устройство общественного бытия ничего нового со времен пирамид, времен первого исхода фараоновской державности на обетованные земли, а только иногда с большим, иногда с меньшим успехом развивают и пользуются теми гениально заложенными для угнетения масс и увековечения тронного господства методами военного, экономического и духовного насилия, методами посулов и обманов (обльстительных посулов и коварнейших обманов), какие, словно наворованные банковские капиталы, достались нашим постфараоновским держателям власти, устремленным, как никто прежде, к короне мирового господства. Мне кажется, что человеческий (поводырский прежде всего) интеллект не только не углубился и не расширился, хотя бы и в сфере античеловеческих, злых деяний, но, напротив, если не пошел еще, то по крайней мере явно наметился обратный процесс, процесс как дворцовой, так и хижинной деградации, мельчают народы, теряя иммунитет национальных достоинств, а по сути, иммунитет жизнестойкости и жизнеспособности, мельчают правители, с одной стороны, от пресыщенности властью, которую уже не знают, на что употребить, поскольку пирамиды давно построены, небоскребы, высясь, поражают обывательское воображение, а на третью подобную бессмыслицу относительно народного бытия, которая символизировала бы этап единогодержавного на Земле могущества власти, пока еще, попросту говоря, не хватает интеллекта, а с другой — какой смысл изобретать новое, когда в делах порабощения масс устойчиво, надежно и безотказно работает проверенное и отшлифованное в веках старое? Обман, изобретенный фараоновской державностью и поданный на потребительский стол жизни, как это ни покажется странным, до гениальности прост: всякое доброе ли, злое ли дело, совершаемое на земле личностями или народами, должно по заслугам либо вознаграждаться, либо караться (посыл, впрочем, вполне верный и приемлемый); жизнь в труде, смирении и покорстве — вот добродетель, которой должно следовать человечество (разумеется, и в этом посыле много приемлемого и верного), а жизнь во власти, в барстве, стяжательстве и накопительстве — это образец разврата, подлежащий всеобщему и полному осуждению (с чем, естественно, тоже нельзя не согласиться); но за этими канонами, отражающими вроде бы главную суть бытия, как за червячной наживкой, натянутой на крючок, как раз и скрывалась смертоносная суть, вернее, тот кабальный, порабощительский, рабский капкан, в каком из-за недалекости наших пращуров, не сумевших за приманкой распознать истину, мы пребываем и сегодня, бедствуя, страдая от вонзенного в плоть крючка и не находя способа (по нераспознаваемости истоков сего зла) освободиться от не-

го. Бедность, возвеличенная до небесного благонравия, так, по сути, ничего и не дала людям, кроме разве что обещанного в загробной жизни вечного благоденствия (да есть ли рай, кто и что может засвидетельствовать по этому поводу, и не тот ли это случай, когда желаемое выдается за действительное, ибо известно, что земля равно приемлет всех в свою могильную тишину, как и равно сохраняет лишь костные останки, может быть, для общего исчисления); обитатели же дворцов и храмов, обремененные пороками власти, сколько бы ни осуждалось в обывательских пересудах их порочное бытие и не устрашалось с церковных амвонов карами вечного ада, никогда не отрекались, как не отрекаются и в наши дни (я имею в виду добровольно, по собственной воле) от своей дворцовой пресыщенности, но всегда только цепко держались и держатся за троны как за источник власти и благ и с такой решительностью продолжают вершить свои закабалительные деяния, будто никакого ада, по крайней мере для них, никогда не было и быть не может, и что если загробная жизнь и существует как таковая, то она являет собой лишь продолжение земной, в которой если кто нищенствовал, тот и получит нищенство, а кто поводи́рствовал — поводи́рство, роскошествуя во дворцах и храмах, и что так вельсь и будет вестись от века. Они, то есть князья, герцоги, графы, бароны, ханы, кыры, коганы, короли, цари, императоры, президенты и премьеры, более чем осведомленные (исторически осведомленные) об обмане (нравственном обмане), каким из века в век потчевали и не прекращают потчевать простолюдинов, подтасовывая «святость» религиозных учений под современные нужды тронов (что следует считать традицией эпох, а не традицией новейшей истории), — эти разнокалиберные, но одинаково снедаемые жаждой мирового господства князьки и монархи, более чем осведомленные о сфабрикованном ими обмане для масс, сами предпочли остаться в язычестве, то есть в вере от реального восприятия жизни (что каждому она дается однажды и дается не для аскетизма, ибо параллельно с истощением плоти истощается и способность к здравомыслию, а для созидания и счастья), в какой, как уже упоминалось здесь, пребывали предки всех сохранившихся донныне людских сообществ и которая несла в себе заряд жизнеутверждающей духовности. Да, они, все эти властвующие личности, кланы личностей и народы, не просто исповедуют, но свято чтут каноны языческого реализма, которые для них являются эликсиром вечной власти и вечного благополучия, а если сказать доступнее, поклоняются, как высшим предначертаниям Творца, этому (предклассовому) реализму жизни, отнятому у народов и упрятанному от них в лабиринты тронных хранилищ. Чтобы подтвердить сказанное, хочу обратить внимание лишь на одно, но чрезвычайно важное и перманентно заполонившее века явление. Раскопки древних могильников свидетельствуют, что как знатных, так и незнатных покойников хоронили со всеми атрибутами их земной жизни; по крайней мере многие народы, и прежде всего строившие свои культуры и цивилизации на добронравных и миролюбивых началах, придерживались этого ритуала, который сам по себе, возможно, не представлял бы значимости, какая придается ему, если бы сквозь призму этого дошедшего до нас свидетельства эпох не просматривалась вся социальная и нравственная система тогдашнего бытия, в которой человек был, во-первых, творцом своей судьбы, а во-вторых, возникавшая в нем энергия созидания, энергия жизни не подавлялась никакими посулами и устрашениями; да, так было в доклассовый, или, вернее, предклассовый, период развития человечества (вспомним: предтеча языческого реализма), пока разрушительным вихрем не ворвалась в это не окрепшее еще мироустройство фараоновская (хищническая) система господства и рабства и, решительно приступив к переоценке духовных ценностей (ведь духовный мир личности, народа, нации есть не больше, не меньше, как свод определенных представлений и понятий о жизни), узаконила, с одной стороны, прижизненную поляризацию общества, расколовшегося на богатых и бедных, а с другой — поляризацию загробного мира (рай и ад), получившего значение кнута и пряника для живущих; был, в сущности, совершен революционный переворот в социальной и нравственной жизни людских сообществ, переставивший нас с тропы реального восприятия бытия на тропу мифов и домыслов, и как следствие или подтверждение этих перемен не мог не измениться, если следовать логике, и ритуал похорон, по которому те, кто в нищете и со смирением переносил тяготы жизни и обретал право на вечное бла-

годенствие, должны были предаваться земле с соответствующими почестями, а те, кто, властвуя и роскошествуя во дворцах и храмах, ублажал плоть вместо того, чтобы думать о спасении души, предаваться земле без почестей, и тогда за святостью (реальностью) слова последовала бы святость (реальность) дела.

LXX

Но в истории нет столетия (если исчислять со дня первого исхода стержня господства и рабства на просторы обетованных земель), когда бы высказанное правителями слово сочеталось с понятием святости дела; все, все — и слова, и дела их,— все вкладывалось ими в русло обмана, укреплявшее их фараоновскую державность и снижавшее иногда до нуля способность к самозащите масс. Утверждение это, думаю, не требует каких-либо особых доказательств, ибо вся история, по существу, буквально пестрит подобными доказательствами, и если я обращаюсь к похоронной обрядности, то только потому, что самыми волнующими вопросами для людей всегда были и остаются вопросы духовного состояния общества, вопросы смысла жизни и смысла смерти (скорее смысла смерти или, вернее, бессмертия, как это трактовалось и трактуется Церковью), и от того, какие ответы общество найдет или примет из рук Божьих служителей, историков, философов, воспретендовавших на трон духовных наставников, и откроют ли эти ответы реализм общественных отношений или, напротив, сильнее затуманят его, будет зависеть, как зависело всегда, во все времена текущее и грядущее бытие наций, народов, государств. В конце концов, если вернуться к ритуалу похорон, суть ведь не в том, как и где упокоен человек, на тихом ли деревенском погосте, столь же недолговечном, как и крестьянские бревенчатые избы, на полях ли войны в братских могилах, куда стаскиваются трупы погибших безвестных солдат, в степи ли, на лесной опушке или у дороги, где застает насильственная или ненасильственная смерть, или на городских кладбищах, напоминающих галереи скульптурных ваяний, в персональных или фамильных склепах, облицованных мраморными плитами, дабы выглядели дворцами и стояли нетленно века, в пантеонах, храмах или под кремлевской стеной, что следует отнести к нововведению пролетарских вождей (мне кажется, что мы до такой степени допреклонялись древнеегипетскому первородству, что, подобно фараонам, начали уже бальзамировать тела своих усопших правителей),— нет, нет, суть не в этой зримой, то есть очевидной для всех, несправедливости, подчеркивающей высокородство и подлорождение (хотя, если по Библии,— все люди братья и у Господа нет любимчиков, то есть избранных личностей и избранных народов), ибо внешне есть только отражение тех глубинных процессов, которые далеко не с сегодняшнего и не со вчерашнего дня начали терзать человеческое сообщество, сортируя его на властей предрержащих и бесправных и прибавляя властителям власти, нищим нищеты, рабам рабства. Когда-то, в предклассовый период развития, люди с полным правом могли называть себя строителями своей жизни; с явлением стержня господства и рабства, главное же, с внедрением новой (на фараоновских, хищнических началах) и новейшей (на началах религиозных учений) духовности людские массы оказались, по существу, отстраненными от всех и всяческих созидательных основ бытия, направление развития общественных отношений перешло под диктат тронов, и жизнь получила настолько несвойственный ее естеству перекосяк, что уже не могла, как не может и теперь, называться народной; из составной согласия людских сообществ она перешла в составную согласия дворцов и храмов, до мозабления, как пишется в официальных историографиях, проникавшихся пастырским рвением, и метод кнута и пряника как метод прижизненного воздействия на массы, облаченный в понятия рая и ада и оттого стократно усилившийся в главном своем предназначении, то есть в воздействии на те же массы простолудинов,— метод этот, как мера спаренных наручников, надеваемых на потенциального слушника, стал тем державным или, точнее, державно-духовным рычагом управления, с помощью которого правители (носители фараоновского стержня господства и рабства) как раз и осуществляли и продолжают осуществлять свой троннопоработительский диктат. Мир простолудинов оказался словно бы опущенным в лоно безволия и застоя, а мир правителей, напротив, получил простор для своей тронносозидательной и троннопроцветающей

деятельности, и, чтобы не ходить далеко за наглядным примером, обратимся к нашей российской действительности, в которой на протяжении тысячелетий если что-то и преобразалось в государственным устройстве бытия, да, в государственном, я не случайно употребляю здесь это слово, то такое преобразование касалось лишь дворцов, храмов, монастырей, или святых обителей, как их называют еще, и дворянских поместий, но никак не задавленного крепостничеством крестьянского, а по сути дела, народного быта. Как ютились, так и продолжают ютиться на просторах славянских земель деревни и деревеньки с подслеповатыми бревенчатыми избами, одновременно вызывающими в нас и умиление, и сострадание, и боль за долю отцов, дедов, прадедов и пращуров, но даже самыми благородными эмоциями вряд ли можно постичь всю драматическую суть минувшего и текущего бытия. А суть эта, несмотря на всю свою вроде бы странную, но в то же время и вполне вроде бы закономерную нераспознаваемость (для чего, собственно, и выкристаллизовывался в веках щит божественных предначертаний), до предела проста: народы, убоясь вечных мук ада и оболстившись вечным благоденствием рая, оказались духовно разоруженными (духовно оскопленными) перед наплывом хищнического мироустройства, а правители, получившие оружие духовного подавления, причем такой силы воздействия, что с ним несравнимы даже нынешние накопленные ядерные арсеналы, если еще и не навечно, то почти уже навечно укрепились в могуществе своих тронов. Держа в руках кнут и пряник и от земного, и от потустороннего мира, они создают только видимость, что эта сотворенная ими ложь одухотворена дланью Творца и принародное отправление ими церковной и светской обрядности является всего лишь еще одной формой нравственного воздействия на психологию масс: лицедеи и фарисеи по сути, они и сегодня живут двойной жизнью, одна из которых показная, для народа и истории, другая, деловая и царская, для себя, для укрепления личных и династически-тронных интересов, и если в первой, что для народа и истории, они обычно предстают глубоко верующими, даже более верующими, чем народ, данный им будто бы свыше для управления, то во второй, которая для себя и для тронов, пребывают в языческом реализме, о котором хотя и предпочитают умалчивать, но суть которого, неуловимая вроде бы в повседневных деяниях, ни в чем так предательски не проглядывала и не проглядывает, как в неизменной в веках для правителей обрядности похорон. Ведь фараоновские пирамиды — это всего лишь заимствованный и усовершенствованный до троннонедосягаемой значимости раннеязыческий (периода доклассового развития) вариант упокоения, и как и «великая» (древнеегипетского первородства) культура и «великая» (того же первородства) цивилизация, обрядность эта, став тронной традицией, не претерпела, в сущности, с исходно-фараоновских времен никаких (разве что за малым исключением) преобразований; века шли за веками, рождались и умирали империи, сменялись кланы царствовавших династий и вывески социальных систем, возникали и укреплялись в схватках за господство над людскими душами новые и новейшие религии, но суть и церемонии похорон царствовавших особ оставались неизменными как нечто существовавшее и существующее само собой, обособленно, вне разгоравшихся в мире социальных и нравственных страстей и кровавых их разрешений; рядом с дворцами и храмами столь же мраморно-основательно, мраморно-нетленно, то есть с расчетом на века, эпохи, эры, высятся, поражая красотой, величием и могуществом, усыпальницы полководцев, царей, святителей, и что-то незаметно, чтобы за свою протекавшую в пресыщенности и барстве дворцовую жизнь сии усопшие персоны терзались положенными им (скажем, по постулатам христианской веры) муками ада; в конце концов ведь не случайно же в Священном Писании говорится, что любая власть уже потому, что сопряжена с насилием, есть зло, заслуживающее неотвратимого наказания; но, видимо, либо у Бога не доходят до всего руки (главным образом, когда дело касается наказания властителей), либо каждый правитель действительно-таки (в отличие от простолюдинов да и вопреки всем религиозным и нерелигиозным канонам) сам себе и царь, и Бог и волен выбирать, быть ли ему в потустороннем мире при регалиях власти или пустить по ветру, как говорится, все свои земные обретения. В «век Богов» такой проблемы не стояло перед правителями, рабы обеспечивали им достаток и власть, сами же фараоны, восседая на тронах, думали о бессмертии и строили (разумеется, согласно со свои-

ми думами) величественные для себя усыпальницы, и пример их тронного и посттронного бытия, когда за очевидно содеянное зло, то есть за введенное на земле рабство, получили вместо проклятия ореол мудрых и великих поводырей, выведших будто бы человечество на стезю «прогресса» и «процветания», стезю «великой» цивилизации, — пример этот, по сути, оказался настолько заразительным, если позволительно будет воспользоваться здесь подобным житейским выражением, что едва ли на историческом пространстве веков найдется полководец, монарх, святитель или даже просто поместный князек, который в той или иной доступной для себя мере не приобщился бы к сей святой (от фараоновского, конечно же, первородства) традиции тронов. Среди простонародия бытует понятие, что смерть уравнивает людей; что ж, по логике или в согласии с природной заданностью утверждение это имеет смысл, против которого трудно что возразить; но ведь человечество, принявшее со времен пирамид поводырство за основу общественного бытия, если и следует какой-либо логике или закономерностям, то лишь логике и закономерностям фараоновской державности, по усилиям которой все мы от пращуров до новорожденных младенцев давно и безвозвратно погружены в обман, обставляемый церковными и светскими ритуалами, и, думаю, вряд ли нужно повторно расшифровывать здесь суть деятельности полководцев, монархов, святителей на пространстве веков; кровавый след их тянется через тысячелетия, и если бы история писалась не тронугодниками, а представителями из народа, то едва ли все наши «бессмертные кумиры» удосужились бы такого посмертного почитания, какое по своему невежеству (насильственному, принудительному) люди предоставили и продолжают предоставлять им. Чем кровавее тиран, тем выше и нетленней его слава в веках; могилы простолоудинов, кто по предначертаниям Бога заслужил вечное благоденствие, предаются забвению, распаиваются, отводятся под строительство городов, склепы же, мраморные усыпальницы, пантеоны, храмы, церкви, принявшие под свои купола останки знатных особ, родовые, фамильные захоронения, — они защищены не только святостью сложенных вокруг них легенд, но и тронным надзорным оком. Каким же образом, я задаю себе вопрос, все это согласуется с религиозными да и светскими (о равенстве и братстве) учениями? Парадокс или трагизм бытия? Те, кто на себе пронес через века тяготы жизни, безвестны, а кто обратил и продолжает обращать свободных людей, свободные народы в рабство — в ореолах прижизненной и посмертной славы; нет, мир не просто расколот на богатых и бедных, властей предержавших и бесправных, но раскол этот закреплен почитанием кровавых кумиров, кровавых поводырей и наставников, отовсюду с пьедесталов и иконостасов взирающих на нас, и если кто думает, что у нынешних правителей — преемников исшедшего из Египта стержня господства и рабства — изменились цели их тронных притязаний или методы насилия и самовозвеличения, тот глубоко заблуждается, преступно повторяя ошибки отцов, дедов, прадедов, пращуров; история человечества с рубцами ее кровавых катаклизмов должна быть написана заново, и не с оглядкой на указующий перст тронов, а с позиций восстановленного в правах языческого, да, я позволяю себе сказать так, то есть народного, реалистического мировосприятия и миротолкования.



От редакции. Второй раздел книги будет опубликован в следующем году.

Татьямба

РАССКАЗ

Как прекрасен был наш город, особенно при тихой погоде, да еще если в летний солнечный вечер: у пивного ларька собирались почти все мужчины, кто не приходил сегодня, обязательно приходил завтра, больше одного дня не пропускал никто, и это при полном отсутствии пьянства — две вещи у нас в городе отсутствовали полностью: пьянство и национализм, зато раков завозили в ларек ежедневно, мы ими славились; завод из соседнего района когда-то спустил в реку что-то такое, отчего раками она буквально закишела, чуть ли не полуметровыми, а к пиву лучше раков пока еще ничего не придумано, — словом, все в чудеснейшем настроении, у каждого в одной руке кружка, в другой — огромный рак; веселый гомон стоит над ларьком: кто о том судачит, кто о сем, иногда о чем-либо все вместе, — жили мы так радостно, что и не хотелось узнавать, за чем. К переменам мы не стремились, мы были им враги.

Но в год Всемирной Олимпиады к нам заехал погостить один негр, и после него родилась девочка, которую весь город сразу очень полюбил — сначала за цвет, настолько черный, будто негр гостил у негритянки же, а он гостил у нашей обыкновенной десятиклассницы; а позже — за выдающиеся хореографические способности: в пять лет она уже потрясала нас своим талантом. Ни одного концерта самодеятельности не проходило без того, чтобы она не выпорхнула на сцену, вызвав своим появлением бурю оваций, — я уже говорил: национализм в нашем городе не было и в помине.

Его настолько не было в помине, что, когда живущий у нас еврей — единственный, но такой типичный, что даже никогда не видевшие евреев догадывались, что он еврей, — когда этот типичнейший еврей, не найдя в магазине рубашки с воротом в сорок шесть сантиметров — шея у него была в сорок шесть сантиметров, — стал орать у ларька: «В этой паршивой стране никогда ничего не найдешь!» — никто не осадил его, никто даже не сказал: ты же, мол, главный закройщик нашей швейной фабрики, что же не вставил в ассортимент свой сорок шестой? — наоборот, все бросились его успокаивать, хлопать по плечу и говорить: «Не горячись, Абрам (его Абрамом звали), а купи свитер. Он твоему пузу больше личит». И Абрам, успокоившись, пошел и купил свитер.

Этого Абрама вообще все считали своим человеком, говоря, что у него только рожа еврейская, а душа — русская. Такому мнению не мешал и тот факт, что, горячась, Абрам восклицал: «Азохен вей!» — а на непонравившегося человека мог закричать: «Мешигине!» — и еще несколько еврейских слов он частенько вставлял в оборот, нет, это не мешало. Во всяком случае, разговаривая с ним, никто не думал: «Я разговариваю с евреем», — а думал: «Я беседую с Абрамом». О его национальности вообще вспоминали только в специфических случаях, например, когда сионисты собирали в Гааге свой конгресс и всем прогрессивным евреям мира следовало возмутиться и подписать протест против этого провокационного шабаша, — Абрама тогда вызвали в райком партии, и сам первый секретарь, протянув авторучку, сказал ему по-доброму: «Подпиши, Абраша». Абрам подписывал с таким выражением лица, что секретарь райкома потом на бюро говорил: «Я им залюбовался». То есть даже секретарь райкома у нас не был антисемитом.

Абрама не только еврейством не попрекали, но даже одергивали, когда антисемитизм проявлялся в нем самом. Например, говорили однажды на партактиве, что главными противниками сталинского плана построения в стране счастливой жизни были Троцкий, Зиновьев и Каменев, и Абрам в сердцах воскликнул: «Ну что за нация такая, прямо палка в колесе русского счастья! Даже неохота к ей принадлежать!» — он так говорил: «к ей» — не потому, что был евреем, у нас все так говорили.

Парторг тогда целую лекцию Абраму при всех прочитал, сказав: «Нет, нация не виновата, ты к ей не придирайся. Виноват царизм, создавший евреям такую невыносимую, путем черты оседлости, погромов и притеснений жизнь, что они все ринулись в революцию. Ринуться-то ринулись, а специальной пролетарской подготовки не имели, поэтому в подавляющем большинстве, кроме, пожалуй, одного Кагановича, сбились с правильного пути и причинили революции огромный вред. Но виновата в этом не нация, а объективные социальные условия ее жизни».

Так он пресек попытку Абрама развиваться в сторону ненависти к еврейскому народу.

Но на Абраме интернационализм нашего города не замыкался. Вторым примером может служить живший тогда у нас некий Чен. Разговаривая с ним, никто не думал: «Разговариваю с китайцем», — хотя китайцем он был даже слишком, ему, я думаю, и в самом Китае сказали бы: «Ну и китаец же ты!» — глаза у него заканчивались буквально за ушами, настолько были продолговатыми. Но никто у нас на это внимания не обращал.

Работал Чен главным пекарем хлебозавода и ежедневно ни свет ни заря уходил в поле за городом собирать какую-то траву. Он подмешивал ее в тесто. Хлеб с нею получался вкуса отвратительного, и Чен это объяснял: в Китае данная трава обладает редчайшим ароматом, а у нас из-за других климатических условий и почвы она вонючая. Казалось бы, вонючая, так не клади в хлеб, но он клал, и мы из интернационализма, уважая чужую традицию, терпели.

И еще терпели его страсть свой Китай восхвалять. Он им тыкал нам в глаза, как каким-то укором. Например, сидят мужики за столиком возле ларька, пьют пиво, а он ни с того ни с сего: «У нас в Китае есть медведи, которые едят один бамбук». И смотрит гордо, потому что у нас ни таких медведей, ни самого бамбука нет. Или режут свежий огурец на закуску, а он: «У нас в Китае огурцы не режут, а разбивают», — и хватъ по огурцу деревянной ручкой ножа. Огурец, конечно, вдребезги, все ползают, собирают осколки, чтоб все-таки закусить, но никто не кричит: «Что ты натворил, сволочь желтожопая?» — а, наоборот, спрашивают: «И что, потом, как и мы, собирают?» Он отвечает: «Нет, не собирают». И хотя непонятно, чем же тогда закусывают, никто на него не злился, а с улыбкой все говорили: «Во, какой интересный китайский обычай! А мы, русские, до него не додумались».

Как-то он, сильно в своей пекарне порезав палец, мчался через весь город в поликлинику, оставляя за собой кровавый след и крича: «Ой-ей, сейчас вся вытечет!» Но, когда медсестра в поликлинике, обработав ранку йодом, стала туго палец бинтовать, он, перестав видеть кровь, успокоился и сказал: «У нас только и умеют что перебинтовывать, а у нас и совсем отрезанные пальцы пришивают обратно, а с недавних пор и вообще руки».

Он даже на святую святых любого народа — на язык — осмеливался подымать руку, говоря: «У нас для полдевятого вечера специальное слово есть, потому что именно в это время начинают повсеместно петь соловьи. А у нас хоть соловьи тоже есть, а все равно — просто полдевятого. Бедный язык».

За такое можно было бы и в морду дать, но при нашем интернационализме ни у кого на это дело руки не чесались, все только дивились богатству китайского языка, правда, спрашивая: «Как же это, интересно, соловьи согласовывают? Китайская страна ведь большая, на одном конце у нее уже полдевятого, а на другом — и восьми нет. Как же соловьями достигается синхронность?»

И хотя китаец отвечал: «Наши соловьи умнее ваших», — ему все равно морду не били.

Как ни странно, но в нашем городе проживали еще и турок с турчанкой. Рассказывать о них почти нечего. Он, будучи мусульманином, пиво с нами у ларька не пил, поэтому ни с кем по душам не разговаривал. Он даже с женой, с которой всегда ходил, почти не общался, такой был человек. Да и она не была любительницей точить ляды, ходила с непроницаемым лицом, как в чадре. Оживлялась только на базаре: нюхала у всех подряд овощи и зелень и плевала в сторону продавцов сала.

Но дух интернационализма побеждал и здесь: обтирая сало чистой тряпочкой, продавцы говорили: «Такой у них обычай».

И еще жил в нашем городе чех.

Когда-то он был ефрейтором чехословацкого пехотного корпуса. Этот корпус еще до революции попал к нам в плен, но в восемнадцатом году восстал и, воюя то за красных, то за белых, стал пробираться на родину, немало зверствуя по дороге.

Наш чех был выведен из строя на середине этой дороги, но не большевистской или белогвардейской пулей, а ковшиком студеной воды, который, упарившись, выпил слишком крупными глотками.

С этого ковша он заболел крупозным воспалением легких и был оставлен выздоравливать в той самой избе, хозяйка которой излишне студеной водой его как воинскую единицу и нейтрализовала. Возможно, она по этому поводу испытывала угрызения совести — ведь русский народ совестлив! Во всяком случае, лечить врага взялась очень напористо: ежедневно таскала в домашнюю баню, где парила до общей потери сознания, то есть и своего тоже. Так она выгоняла из ефрейторского организма простуду.

Изнуренный лечением чех сначала чуть не отдал концы, но потом вдруг в один день выздоровел и, нацепив на бок саблю, побежал было к своим, однако тех уже и след простыл. Чеху ничего не оставалось, как жениться на выходящей его женщине и счастливо с нею в нашем городе зажить.

Еще в Чехословакии он кормился изготовлением кадок под солонья, поэтому поступил на наш завод бочкотары, где проработал главным бондарем лет сорок, потом его на этом посту сменил сын. Выйдя на пенсию, чех стал проводить все свое время у ларька, произнося по разным поводам длинные монологи. Обрусел он лишь отчасти — ходил в косоворотке и умел сморкаться вбок от себя метра на два-три. Ассимилироваться в большей степени он себе не позволил, свой русский сдабривал сильнейшим чешским акцентом и про Россию говорил: «У вас». Хвалился тем, что чехам хватило ума перенять латинский алфавит, а русским не хватило. Кириллицу он критиковал нещадно, особенно такие буквы, как «ц» и «щ» — за их хвостики, а «ы», состоящую из двух не связанных друг с другом частей, вообще ненавидел. «Иероглиф, а не буква», — говорил он об «ы».

Но коньком его была критика русских людей за расточительность. «Это не экономиско», — то и дело говорил он по самым разным поводам, в том числе, между прочим, и о написании буквы «ы». «Она за один раз не пишется», — констатировал он. — А только за два. Не экономиско».

Этим «не экономиско» он орудовал, как шпагой, уязвляя ею страну своего вынужденного пребывания во славу полузабытой родины.

«Что бы сделал чех из такой дубины? — спрашивал он, закурив после пива и вертя перед глазами обгорелую спичку. — Чех сделал бы из нее две спички или даже три. А русский — только одну. Не экономиско».

«А не врешь? — высказывал сомнение кто-либо из слушателей. — Две — куда ни шло. Но три и чехи б не сделали».

«А может, и сделали б, — вступался за рассказчика кто-нибудь другой. — Когда в девятнадцатом они у нас красноармейцев расстреливали, так по двое в ряд ставили, чтоб одной пулей. Патроны жалели. Чехи лишнее не потратят, это верно».

«Да, позверствовали они у нас», — ударялся тут кто-нибудь в воспоминания, и все соглашались: позверствовали уж. Но зверствовал ли лично наш чех — не спрашивали. Из деликатности и интернационализма.

Наших замечательных раков он уплетал с аппетитом не меньшим, чем у других, но повод для критики находил и здесь. Время от времени, пиная гору обсосанных и вылизанных хитиновых панцирей, он говорил: «Были б в Чехословакии раки, мы бы этому придумали пользу. А они не придумывают, выбрасывают. Не экономиско».

Ни разу никто не сказал ему: «Заткнись!» — ни разу не спрошен он был: «Что ж ты не уматываешь на свою родину, а присосался к нашей, как клещ к заднице?» Наоборот. Послушав, мы одобрительно говорили: «Эти чехи даже сопле применение найдут, оттого и жизнь у них такая хорошая. Выдающаяся нация!»

То есть у нас процветала настоящая дружба народов в лице, с одной стороны, русских, с другой — вышперечисленных еврея, китайца, турок и чеха. А позже к ним добавилась и наша негритяночка.

Я уже говорил: полюбили ее сразу. Не было в городе человека, который бы ее не полюбил. Сердечное внимание ей все оказывали буквально с рождения. Помню, ползала она еще голышом у калитки — не было прохожего, который не остановился бы, чтоб похлопать ее по черному задку и угостить конфеткой. Когда же ее в пятилетнем возрасте записали в детский танцевальный кружок Дома культуры, то его руководительница — дама очень добросовестная и образованная — специально ездила в областной центр, чтоб разыскать там в библиотеках хореографию какого-нибудь негритянского танца.

То есть у нас не было такого: мол, раз ты сало русское ешь, то, будь хоть и негром преклонных годов, под дудку нашу пляши. Нет! Руководительница танцевального кружка очень возмущалась тем, что ни в одной из областных библиотек не нашлось ни одного негритянского танца. Весь наш город возмущался вместе с ней, говоря: «Не иметь сборника африканских танцев — в какой еще стране такое возможно? Нас просто заставляют быть самовлюбленными! Власти как бы нам говорят: наслаждайтесь только собой, а в сторону остальных народов не поглядывайте».

Некоторые по этому поводу с горечью вспоминали старинную пословицу: «Зашоренная лошадь ходить-то ходит, а вот скакать — не скачет...»

Вынужденная к грубому великодержавному прессингу руководительница кружка робко предложила негритяночке русский танец «Во поле березонька стояла». «Не возражаешь, если я научу тебя ему?» — смущаясь, предложила она.

Пятилетняя кроха с еще слабо развитым национальным менталитетом радостно отозвалась: «Хочу!» — и уже через неделю сплясала эту «Березоньку» так, что все городские власти единодушно выдвинули ее на смотр лучших сил художественной самодеятельности района.

На этом смотре наша юная танцовщица и прославилась. Как слушалось музыки ее черное тельце! Как покачивалось оно тоненькой во поле березонькой, которую некому заломати! Шквал аплодисментов обрушился на талантливое дитя, едва танец закончился. Зрители стоя приветствовали рождение новой «звезды»... Нет, не было в нашем городе национализма! Никогда не было!

Посетивший наш город академик, специально занимающийся дружбой народов, не уставал восторгаться именно отсутствием у нас национализма. Он собственными глазами видел, как жена турка плюет на русское сало, собственными ушами слышал русофобские высказывания еврея, китайца и чеха и просто любовался тем добродушием, с каким коренное население все эти выпады воспринимало. «Просто руки чешутся написать о вас монографию, — сказал он, посетив перед отъездом наш пивной ларек и съев нашего полуметрового рака. — Но пока рановато. Такого рода ростки коммунизма освещать сейчас еще не время: китайцы на границе балуют, чехи социализм с каким-то идиотским человеческим лицом задумали, турки что-то нахальничать стали в Босфоре и Дарданеллах, да и международный сионизм пока разгромлен нами еще не окончательно... Вот когда все эти недостатки будут полностью устранены, я к вам обязательно приеду снова и тогда уж обязательно напишу объемистую монографию о вашей дружбе народов».

Как раз накануне он выпустил монографию и давал нам ее читать — о дружбе двух колхозов — соседних, но разных республик: один колхоз назывался «Червона зирка», другой — «Красная звезда», между ними проходила граница Украины с Россией. Эти «Червона зирка» и «Красная звезда» так между собой дружили, что их водой нельзя было разлить. Вплоть до совместных танцев в домах культуры — то в одном, то в другом. А один раз председатель «Красной звезды» одолжил председателю «Червоний зирки» на целый день трактор, правда, с пустым баком. «Бензин свой нальешь», — сказал он коллеге по-русски. «Здоровеньки булы», — ответил тот по-украински. — У мэнэ цього гасла цилый ставок». «Гори, гори, гасло, чтобы не погаслю», — тут же зарифмовал украинское слово в русский стих председатель «Красной звезды». Он в свободное время пробовал себя на поэтической ниве, а его сын так вообще учился в Литературном институте, между прочим, с дочкой председателя «Червоний зирки». Только она — на отделении поэзии, а он — критики. «Я тебя критиковать буду», — шутливо грозил он ей насчет будущего, которое они мыслили совместным. — Я достаточно знаю язык братского украинского народа, чтоб даже в стихах чувствовать все нарушения нюансов и фиоритур».

Монография нам очень понравилась, и мы радовались, что в конце концов такая же будет написана и о нас. Придется только подождать несколько лет. Мы были уверены, что за эти несколько лет у нас ничего не изменится. Свой интернационализм мы считали незыблемым.

И жестоко ошибались! Оказалось, что кое-кто из жителей нашего города все же был заражен бактериями расовой и национальной нетерпимости, только эти бактерии в них до поры до времени дремали. И только ждали толчка, чтоб пробудиться!..

Таким толчком стал один конфликт, выросший, как ни странно, из нашей заботы о судьбе всеми любимой негрятяночки.

Дело в том, что замечательная женщина, руководившая танцевальным кружком, была специалисткой узкого профиля. У нее в дипломе было написано: специальность — детская хореография. И руководить она имела право лишь детским кружком. Как только юному танцору или танцовке исполнялось двенадцать лет, его из детского кружка исключали — такова была министерская инструкция. С некоторыми руководительница расставалась буквально со слезами на глазах, говоря: «Теперь все Богом заложенное и мной выявленное пойдет насмарку, необратимо зачехнув! К семнадцати годам мальчики будут уже шаркать, как старики, а девочки — колыхаться тумбами».

Если эта замечательная женщина так плакала и причитала над просто способными учениками, то легко себе представить, как она стала убиваться, когда возрастной ценз неумолимо начал отсекать от коллектива нашу одареннейшую негрятяночку. Та к двенадцати годам творила уже буквально чудеса, блистала на сцене, можно сказать, чистым бриллиантом. Даже потомственные атеисты города, бешено аплодируя ее танцам, восклицали: «Божественно! Ангелоподобно!»

И вдруг, как говорится, конец карьеры: «звезда» гаснет. Естественно, взбудоражился весь город. Встречаясь друг с другом, люди восклицали: «Талант Татьянки не должен быть погублен!»

Тут надо сказать, что звали нашу негрятяночку Татьяной. История ее имени такова. Когда десятиклассница вышла с ней из роддома, то в первый же день в промежутке между кормлениями написала письмо ее отцу в Бельгийское, кажется, Конго. В этом письме она кротким тоном спрашивала внебрачного отца: как назвать родившуюся девочку? Такой деликатной формой десятиклассница намекала негру, что не грех бы испытать какое-нибудь чувство отцовской ответственности. Она надеялась, что бельгийский конговец вместе с рекомендуемым именем пришлет еще и подарок, например, безразмерные бельгийские колготки, может, даже две пары, и что в дальнейшем, может, еще пары две пришлет.

Но в не скоро пришедшем ответе о колготках не упоминалось. Сообщалось, что вопрос об имени девочки обсуждался на Большом Совете Родни. Од-

нако кворума собрать не удалось. Во-первых, не приехал из Заира дядя со своим старшим сыном из-за военных действий на границе. Во-вторых, внук вождя не успел еще вернуться с охоты, на которую полтора года назад ушел в джунгли. Из-за отсутствия столь влиятельных людей решение Совета имеет лишь рекомендательную силу, хотя принято единогласно: дочку, родившуюся в заснеженной и оснащенной межконтинентальными ракетами России, назвать именем тетки со стороны отца, первой красавицы страны, съеденной крокодилами еще в юном возрасте и, таким образом, оставшейся вечно девственной.

Звали тетку — Бочумбуталимокуамба. Кажется, так.

Вот и все. Письмо состояло из очень небольшого числа строчек, всего из пяти или шести — из-за неупоминания в нем о колготках или о какой-либо другой гуманитарной помощи, и еще, поскольку было написано на чистейшем английском языке, славящемся своей краткостью, гигантское имя тетки-красавицы, съеденной крокодилами, в окружении слов-коротышек смотрелось, как дождевой червяк, воцарившийся среди песчаных муравьев.

Десятиклассница, сильно после родов повзрослевшая, выругалась, прочитав письмо, русским матом кратко, как по-английски, и сказала: «Плывать мне на его тетку, на которую, кроме крокодилов, никто не позарился. Моя тетка, торгующая на базаре яблоками и сливами из собственного сада, по крайней мере может нянчить ребенка до вечера, пока я зарабатываю деньги в должности секретаря своего начальника, и насыщать растущий организм натуральными витаминами свежих фруктов, поэтому я лучше назову дочку в ее честь Татьяной, о чем папаше хрену так в Бельгийское Конго и напишу, — надо же, по-английски пишет безукоризненно, а прислать безразмерные колготки жметесь, в гробу я видела этого козла, бросающего своих детей по всему белу свету».

Она возмутилась так сильно, потому что, еще учась в школе, была отличницей и письмо на английском языке прочитала с легкостью. «Я им подотрусь», — сказала она подругам.

Таким образом, негритяночкой нашу замечательную танцовщицу звали только в первые месяцы после ее рождения, а дальше — просто Татьянкой, о том, что она негритянка, даже не вспоминая.

Не было национализма в нашем городе!

Его жители легко мирились с изгнанием их собственных детей из танцевального кружка, но, когда так же собрались поступить и с Татьянкой, они заявили свое решительное «нет». Потому что смотрели не на цвет кожи, а на способности души, им было обидно, что развитие большого таланта может прерваться.

Ропот горожан вскоре дошел до слуха самого секретаря райкома, и он, видя, что дело идет к открытой демонстрации протеста, вынужден был выступить по местному радио. «У меня самого душа болит, — сказал он. — Жена советует связаться через Центральный Комитет со столичным хореографическим училищем, в которое и направить Татьянку доучиваться. По-моему, неплохая мысль».

Но десятиклассница, услышав о партийных планах насчет ее дочери, заявила — по тому же местному радио: «Не пуцу! Это чтоб моя крохотулечка жила в столичном общежитии посреди всевозможных развратов мегаполиса? Вот подрастет, окрепнет характером, закончит на «отлично» нашу школу, в которой я тоже училась на «отлично», тогда я сама вместе с медалью отвезу ее в столицу. Такое сокровище любая консерватория с руками оторвет. А жить помещу в какую-нибудь благонравную семью, расплавиться с которой буду посылками из фруктов теткинго сада».

Но училась Татьяна пока только в пятом классе. До окончания школы с золотой медалью было еще ждать и ждать. Секретарь райкома собственной персоной явился в дом десятиклассницы, чтоб сказать: «Совершаешь ошибку, мать! Если Татьяна целых пять лет проваландается, не совершенствуясь, ее талант обратится в нуль. В одной партийной книге для служебного пользования так прямо и сказано: «Все, что не совершенствуется, умирает».

Но ослепленная материнской любовью десятиклассница больше заботилась о дочке, нежели о ее таланте. Она повторила: «Не пущу!» Сосуд ей был дороже содержимого. Психология матери — это психология горшечника, а не виноградаря.

Всем так хотелось спасти Татъянкин талант от застоя, что один из членов партбюро предложил объявить десятиклассницу сумасшедшей. Засадить в психушку, лишит прав материнства и таким образом обеспечить свободу действий в правильном направлении. Но секретарь райкома это предложение отверг, сурово сказав: «Такие времена прошли», — и был прав: такие времена как раз накануне прошли, уже недели две, как здоровых людей страны в психушки больше не сажали, и наш секретарь, что бы там ни говорили о консерватизме партийных работников, новые веяния ощущал чутко, он держал руку на пульсе времени. В конце концов именно он же и нашел выход из создавшегося тупика, сказав: «Поеду в столицу и привезу ей дальнейшего учителя из числа талантливых столичных неудачников».

Это решение лишний раз свидетельствовало о его чуткости к новым веяниям. Они становились все ощутимей. Ветер перемен крепчал. Одна шестая земного шара была охвачена хоть и вялотекущей, но революцией. Она победно распространялась. Люди стали проявлять личную инициативу, азартно обзаводиться, пусть и не всегда честной, частной собственностью. Возникали и крепили международные связи. К матросским тельняшкам нашей швейной фабрики проявили интерес оптовики Монако. Дирекция братиславского пивоваренного завода, пронохав, что у нас главным бондарем — чех, заказала из патристических побуждений пробную партию наших сорокаведерных бочек. В казну города потекла валюта. И мы теперь могли себе кое-что позволить. Секретарь райкома это прекрасно уловил. Из столицы он привез хореографа.

Хореограф был молодой, но высочайшего класса и никогда бы, конечно, в такую глушь, как наш город, не поехал, если б не одно обстоятельство. Закончив год назад хореографический институт, он, как отличник учебы, был направлен на работу в самый лучший театр страны, можно сказать, в царь-театр, где в главных над хореографами ходил всем известный Ригоревич — непрекращаемый авторитет, мировое светило. А этому Ригоревичу как раз нужно было в кратчайший срок поставить один очень сложный балет. И он решил поручить его вновь прибывшему, думая: «Этот новичок с работой не справится, и я его выгоню», — он не любил новичков.

Молодой хореограф взялся за дело засучив рукава. Танцоров он чуть ли не до смерти загнал круглосуточными репетициями, но к нужному сроку спектакль поставил.

И вот Ригоревич, будучи главным, пришел посмотреть генеральную репетицию. Пока она шла, он хмыкал и кашлял в тех местах, где музыка была тихая. Но после репетиции, положив руку на плечо молодому коллеге, сказал: «Ничего, не без недостатков, но терпимо, публике можно показывать, вот только во втором акте ведущая балерина в одном месте ножку ножкой бьет, совершая скачок влево, а лучше, чтоб она прыгала вправо, так художественней».

Он сделал это замечание добродушным тоном и как бы вскользь, нисколько, как говорится, не педалируя, но ведь наши молодые и талантливые ужас как принципиальны, у них гонора бывает столько, что талант в нем, как жемчужина в навозной куче: знаешь, что есть, а искать неохота. Пачкать руки не каждому охота — вот в чем дело.

Так вышло и в данном случае. Молодой хореограф, услышав замечание Ригоревича, побледнел до синевы. Он как раз для того спектакль и ставил, чтоб балерина, бия ножкой ножку, отпрыгивала влево, в этом был его художественный замысел. И то, что Ригоревич на этот замысел посмел поднять руку, привело молодого хореографа буквально в бешенство. И он заявил своему маститому начальнику, что если тому больше нравится прыжок вправо, то пусть он его в своих спектаклях и реализует, а в чужой монастырь со своим уставом не суется. «А то ведь нетрудно и по морде схлопотать», — до таких слов договорился.

Услышав их, Ригоревич тоже побледнел, но до фиолетовости, так как был старше. И заявил, что спектакль вообще дерьмо. Что сначала он его слегка похвалил, чтоб не обидеть молодого и старательного, думая, что он скромный и обидчивый. А теперь видит, что ошибся. «Жемчужина таланта у тебя с маковым зернышко, а навозная куча гонора — с Эверест»,— образно сказал он молодому хореографу.

И уволил его по статье трудового кодекса: ввиду профессиональной непригодности.

Устроиться на работу молодой хореограф уже нигде не мог. Даже в клубе мыловаренного завода он умолял — возьмите меня руководителем танцевального ансамбля мыловаров, но ему: место занято. Хотя оно было свободно. Все знали, кем он уволен, и никто не хотел ссориться с Ригоревичем. Несмотря на то, что всем было известно: молодой хореограф очень талантлив.

Это настолько было известно всем, что даже в Центральном Комитете, когда секретарь нашего райкома пришел туда посоветоваться, ему сразу сказали: бери вот кого. Талантлив, сказали, собака, в высшей степени, но питается размоченными под краном ржаными сухарями, настолько без зарплаты обнищал. Доведен до такой ручки, что даже в провинцию поедет.

Наш секретарь райкома спросил: чего ж его в столице не пристроите, если так хвалите? Ему ответили: Ригоревич его не любит, а мы против Ригоревича идти боимся.

Вот, пожалуйста: считалось, что Центральный Комитет всемогущ, что перед ним все навтыяжку, особенно работники искусств. А данный пример показывает: это не так.

Секретарю райкома сказали: пользуйся ситуацией, хомутай рысака, у которого и взбрыкнуть уже сил нету. И секретарь райкома к молодому хореографу пошел.

Жил тот в полуразвалившемся доме. Из множества щелей непрерывно дуло, хореограф шмыгал носом и сморкался в заплесневелый платок. Глядя на этого опустившегося человека, трудно было поверить, что о нем знают в ЦК.

Сквозняки, гулявшие в полуразвалившемся доме, были не только холодными, но еще и вонючими. Дом находился рядом с мыловаренным заводом, поэтому все окрестные ветры были пропитаны вонью полуразложившегося собачьего жира. Умом происхождение вони секретарь райкома понимал, но, разговаривая с хореографом, не мог отделаться от чувства, что она исходит от этого талантливого человека.

«Принимаю,— сказал воняющий хореограф, выслушав предложение.— Лет пять поживу в провинции. А потом вернусь на белом коне и отрублю негодю голову».

«Ригоревичу?» — догадался секретарь райкома. Хореограф кивнул.

И в тот же день они сели в поезд.

Наш секретарь райкома не догадывался, что совершил ошибку. Он думал: этот хореограф — человек талантливый, а значит, и вообще приятный, нашему городу от него будет одно удовольствие. Он так ошибочно думал потому, что его, как и всех нас, в школе неправильно научили: раз талантливый, следовательно, и приятный. И Пушкин, учили нас, приятный, и Лермонтов, и Некрасов... А то, что Пушкин — бабник, Лермонтов — нахал, а Некрасов — картежник, замалчивалось. Такое одностороннее образование получали у нас все, вплоть до партийных работников, и то, что талантливый человек приятен не всегда и даже большей частью неприятен, знал, наверное, один Ригоревич. Он среди талантливых жил.

А секретарь райкома среди талантливых не жил никогда. И находился во власти иллюзии, будто талант и приятность — близнецы-братья.

Жизнь заставила его очень быстро переменить точку зрения.

Поначалу привезенный хореограф вел себя очень даже неплохо. Активно взявшись за работу, он меньше чем за месяц поставил около дюжины прекрасных танцев. Как коллективных — например, «За околицей», «Андалузские девочки», «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась»,— так и индивидуальных — для

мальчиков: «Ай да парень-паренек!», «Наточу-ка я криву сабельку» и «В красной рубашоночке, хорошенький такой», а для девочек: «Не брани меня, родная» и «Мне не жаль, что я тобой покинута». Татъянку в этих танцах не задействовал — сказав, что ей под силу уже классика, он разучил с нею знаменитейшего «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Только у Сен-Санса этот танец называется просто «Умирающий лебедь», столичный же наш хореограф обозначил его в афише как «Умирающий черный лебедь».

Увы! Никто этой переделкой названия не встревожился! Наш интернационализм был слишком беспечен. Читая афишу, все говорили: «Вон как высоко вознес Татъянку столичный специалист! Черный лебедь гораздо более редкая птица, чем белый».

На вскорее состоявшемся концерте зрители щедро награждали аплодисментами всех исполнителей, но Татъянке, конечно — когда она, заканчивая танец, сложила руки, вытянула ногу и, вздрогнув, замерла, — устроили получасовую овацию. Кроме «Браво!» и «Бис!», зрители кричали: «Да она почище Плисецкой!», «Ей в «Карнеги-холле» танцевать!».

Окончательно убедившись в таланте своего протеже, секретарь райкома пригласил этого «приятного молодого человека», как ошибочно вывел он, к себе в кабинет, но не официально, а на чашку чая, которую столичный хореограф застал уже стоящей и дымящейся на маленьком лакированном, как принято говорить, журнальном столике. Хозяин усадил гостя по одну сторону этого столика, поближе к чашке, сам же сел по другую, где на пустом краю ничего не дымилось: кроме хлебного кваса, секретарь райкома уже ничего не пил. Он с детства имел в организме какую-то серьезную болезнь, исключавшую потребление возбуждающих жидкостей, однако в прежние годы жизнь заставляла его пить не только чай, но и водку, даже разбавленный спирт. Достигнув же высшей в райкоме должности и трезво рассудив, что выше подняться все равно не сумеет, он от дальнейших выпивок отказался. Стал по утрам отжиматься от пола и очень хорошо выглядеть — остатки здоровья в нем воспрянули.

Столичный хореограф, как и все энергичные люди, выпил стоящий перед ним чай залпом, что позволило секретарю райкома, желающему задать беседе непринужденный тон, шутливо заметить: «Вы, наверное, подумали, что в чашке коньячок, у него точно такой же цвет. Если хотите, могу угостить и коньячком».

«Ваше предположение неверно, — ответил столичный хореограф. Как и все талантливые люди, он очень любил возражать: сначала Ригоревичу прекословил, теперь вот начал секретарю райкома. — Если б я принял чай за коньяк, — продолжал он, — то пил бы его маленькими глоточками, ибо именно так в приличном обществе пить коньяк принято. Это водку хлещут залпом, вы, наверное, спутали».

Секретарь райкома мог бы на столь дерзкие слова обидеться, и тогда начало карьеры столичного хореографа в нашем городе сложилось бы не менее плачевно, чем в царь-театре у Ригоревича. Но наш секретарь райкома повел себя умней Ригоревича и обиженности выказывать не стал. «Поговорим о чем-нибудь другом, — предложил он, не гася на лице улыбки. — Например, о деле. Минувший концерт оправдал самые смелые ожидания. Как прекрасно наша молодежь исполняла народные танцы! Ну а Татъянка вообще превзошла возможное! Мы всегда любовались ее мастерством, но под вашим руководством она блеснула им прямо ослепительно. Такого «Умирающего лебедя» и в Большом театре не увидишь».

«На редкость талантливая девочка, — согласился столичный хореограф. — Если получит правильное направление — весь мир сможет поразить».

«Вот мы на вас и надеемся, — сказал секретарь райкома очень душевно. — Как квартира? Нет ли каких-либо недоделок?»

Столичный хореограф перечислил: в рамках щели толще пальца, пол в гостиной выстлан паркетом лишь наполовину, дальше залит цементом, ванна треснувшая, если в нее сесть, развалится пополам... «Впрочем, все это пустяки», — подытожил перечисление столичный хореограф.

«Нет, не пустяки! — сурово отрезал секретарь райкома.— Когда у творческого человека, извините, сопли текут от сквозняков, когда он, извините вторично, воняет от невозможности вымыться в ванне, то творить на высочайшем уровне ему трудно».

«Творить на высочайшем уровне всегда трудно»,— снова пошел на возражения столичный хореограф. «Тем более»,— строго подытожил эту часть разговора секретарь райкома и велел своему помощнику немедленно отправить на объект бригаду ремонтников.

Вернувшись к прерванному разговору об искусстве, он спросил: «Каковы ваши дальнейшие творческие планы?»

«Хочу разыграть на местном стадионе массовое действо, посвященное общественно-политическим переменам в нашей стране,— сообщил столичный хореограф.— Называться оно будет: «Вставай, страна огромная, давай вставай с колен!» Публика его увидит пятнадцатого августа сего года».

«Массовое действо — вещь, конечно, хорошая,— согласился секретарь райкома.— Но есть у меня одна задумка, хочу поделиться».

«Слушаю вас»,— сказал столичный хореограф таким самоуважительным тоном, будто хозяином здесь он. Все-таки тяжелым оказался у него характер, Ригоревича в каком-то смысле можно было понять.

Но наш секретарь райкома и здесь предпочел бестактности не заметить. «Недавно смотрел по телевизору «Танец маленьких лебедей»,— сказал он как ни в чем не бывало.— И такая мысль вдруг во мне шевельнулась: а ведь не блоги горшки обжигают! Как вы думаете, могли бы мы достойно осуществить этот танец на материале нашего города?»

«Отчего же нет? — принял идею столичный хореограф.— Поставим и «Маленьких лебедей». Тем более что к пятнадцатому августа следующего года я собираюсь осуществить у вас «Лебединое озеро» целиком. «Танец маленьких лебедей» будет хорошей тренировкой местных сил перед крупномасштабным делом, пробным будет камнем или, если хотите, шаром».

Секретарю райкома даже крикнуть захотелось от сочной выразительности сказанного, но он сдержался и, чтоб разрядить обстановку, спросил: «А почему, собственно, пятнадцатого августа? Что за дата такая?»

«День рождения моего любимого композитора Алябьева,— охотно объяснил столичный хореограф.— В мечтах я давно лелею поставить все его романсы, в том числе, конечно, и знаменитого «Соловья». Но в первую очередь, уже нынешнего пятнадцатого августа, я намереваюсь воплотить в пластике его прекраснейшее: «Увы, зачем она блистает минутной нежной красотой, она приметно увядает во цвете юности живой». Танцевать будет, разумеется, ваша несравненная Татьяна. Только ей по силам вся прелесть и философская глубина данного романса».

«Да, уж она-то сумеет донести до зрителя ваш интересный замысел,— одобрил задуманное секретарь райкома.— И в «Танце маленьких лебедей» она тоже спляшет, как и Плисецкой не снилось...»

И вот тут все самое страшное, что у нас впоследствии произошло, и стало начинаться. «Нет,— сказал столичный хореограф.— Татьяна в «Танце маленьких лебедей» участвовать не будет. Она — черная».

Как потом секретарь райкома докладывал на бюро, ему показалось, что он ослышался. Но по инерции, все еще благодушествуя, прореагировал так: «Ну и что, что черная? Мы же не об угнетенных народах говорим, а об искусстве...»

«Вот именно что об искусстве»,— нагло отпарировал столичный хореограф и, давая понять, что разговор окончен, встал. Тут уж секретарь райкома опешил: он никогда в этом кабинете не вставал вторым! Никто здесь не осмеливался вставать раньше первого секретаря...

«Меня даже в жар бросило»,— признался он в телефонном разговоре с женой.

О заявлении столичного хореографа нам стало известно в тот же вечер. Но мы не хотели верить. «Он же хороший парень,— говорили мы.— Не расист же он!»

Но на следующий вечер пришедший выпить кружку пива один из членов бюро подтвердил: «Маленьких лебедей» столичный хореограф будет ставить без Татьянки. И не по каким-либо художественным соображениям, а по откровенно расистским: она — черная. Ставить ее рядом с белыми девочками он не хочет.

Мы прямо руками развели. «Вот тебе и передовые столичные взгляды! — стали говорить наши люди.— Может, он нам и рейсовый автобус прикажет отдельный завести — для черных? Нет уж, дорогой хореограф, Татьянка — наша гордость, и танцевать «Маленьких лебедей» ты ей не запретишь. Это тебе не Йоганнесбург!»

Тут как раз так вышло, что через день состоялась районная конференция профессиональных союзов. Столичному мракобесу на ней был дан бой.

Вообще-то конференция была посвящена другому вопросу. Оставалось ровно сто дней до годовщины выстрела пушки на корабле «Аврора», и нужно было активизировать социалистическое соревнование с тем, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить взятые производственные обязательства,— обсуждать эту проблему собрались вместе лучшие люди города. Но после официального доклада — насчет выстрела пушки — первый же выступающий сразу заговорил о маленьких лебедях. «Годовщину выстрела мы должны встретить улучшением качества не только продукции, но и людей,— сказал он.— А у нас в городе завелся один товарищ, которого, видно, бракоделы делали».

Эти слова произвели сильное оживление в зале, и дальше все говорили только о столичном хореографе. Его просто-напросто клеймили. Называли не только расистом, но и фашистом. Гитлера вспоминали и куклуксклановцев, даже американских индейцев, которых капиталисты гноят в резервах и уж, конечно, не пускают танцевать в свою «Метрополитен-оперу». Кто-то крикнул: «Пусть выйдет на трибуну и сам скажет, кто он такой!» На этот возглас зал ответил одобрительным гулом.

Столичный хореограф поднялся на сцену. Речь его была краткой. «Я не расист,— сказал он.— Просто лебеди должны быть одинаковыми — по росту, по цвету. Только и всего».

Когда он сходил со сцены, в зале свистели и улюлюкали. Ему, наверное, тут же набили бы морду, если б на сцену не поднялась руководительница детского танцевального кружка. Ее уважали, всем было интересно услышать, что она скажет.

«Какая-то правда в позиции моего столичного коллеги, возможно, и есть,— начала она свое выступление.— Но разве не больше правды в принципе: не чини таланту препятствий! «Танец маленьких лебедей» — один из лучших в мировом балете. Не странно ли будет: лучшая балерина города в лучшем танце не участвует? Не будет ли внутренняя эстетика искусства, обеспечиваемая только талантом, принесена в жертву эстетике внешней — примитивной, я бы сказала, цветовой гамме».

Когда она только начала говорить, мы все прямо обмерли: неужели она поддерживает оголтелого расиста? Но потом облегченно вздохнули: нет, не поддерживает, а только отчасти его понимает. Тем убедительней прозвучало осуждение ею задуманной акции.

Ей хлопали очень долго...

Тут пришло время сообщить об одной очень важной в этой истории детали. Столичного хореографа осуждали далеко не все. Примерно четверть жителей города его позицию одобряла. В этом не было бы ничего удивительного, если б не одна особенность: в этой четверти оказались все наши национальные меньшинства. То есть уже выше перечислявшиеся еврей, китаец, турок с турчанкой и чех. Получалось, что если русские жители города заражены расизмом на двадцать пять процентов, то инородцы — на все сто!

Мы долго над этим фактом ломали голову — в чем дело? Может, не в расизме? Может, инородцам просто нравится идти против коренных? Особенно в трудные моменты жизни? Может, в мышлении меньшинства есть что-то подбивающее их на обязательное противодействие большинству?

Некоторые так и говорили: у этих чучмекоев желание нам насолить просто в крови. Им возражали: «Евреи — не чучмеки». Они отвечали: «О евреях вообще нечего и говорить».

Конечно, никто из меньшинства не признавался прямо: хочу, мол, большинству насолить. Каждый старался объяснить свою позицию якобы справедливостью. Абрам однажды произнес в свое оправдание целую речь. «Это же лебедята одного вывода! — кричал он, размахивая раком. — Как все происходит? Лебедиха откладывает четыре яйца и на них садится. Вылупляются четыре лебеденка, и вот они перед нами танцуют. Мы смотрим и что видим: один из них черный, этого не может быть. Откуда разнобой, если родители общие? Если вы скажете: обязательно общие, может, лебедиха разок сблудила на соседнем озере с черным хахалем, эка невидаль в наше время полной распушенности нравов, — так вы глубоко ошибетесь. Каждый, кто читал Брэма, знает: у лебедей этого не бывает. Они всю жизнь живут неразлучной парой, и даже если один из супругов гибнет, второй его память новым браком не оскверняет. На редкость верные птицы, давайте не будем на них клеветать. Но вернемся к нашему танцу. Образованный человек, читавший Брэма и пришедший на концерт, видит четырех взявшихся за руки лебедей, один из которых черный. «В чем дело?» — спрашивает он у соседа слева, но тот только пожимает плечами: он тоже читал Брэма и поэтому ничего не понимает. И сосед справа ничего не понимает, он тоже человек образованный. В результате просто ужас: все образованные люди пожимают плечами и говорят: «Это нонсенс». Все, концерт сорван! Провал! Вы этого хотите? Вы хотите, чтоб над Татьянкой смеялись, как над плодом внебрачной любви лебедей, и этим напоминали ей о ее собственном происхождении от подлеца из Бельгийского Конго, который сунул-вынул да убежал под пальму прятаться от алиментов? Лично я этого не хочу. И поэтому полностью поддерживаю нашего умного столичного хореографа, который, окрепнув у нас, еще даст прикурить этому Ригоревичу и сменил его на важном государственном посту. Он правильно делает, что отказывается включать Татьянку в четверку лебедей...»

Китаец выражался короче, хотя начинал издавека. «У нас в Китае нет озера, чтоб в нем не плавали лебеди, — начинал он с восхваления своей родины. — И все хотят ими полюбоваться. Они очень красивые, потому что одинаковые. Если трех лебедей будут танцевать белые девочки, а четвертого — черная, я не смогу понять — хороший это танец или плохой, потому что все время буду думать: почему они разные?»

Еще короче выражался турок. «Э! — говорил он. — Если простыня белая, то что на ней черное? Пятно. Белое тоже станет пятном, если простыня черная. Зачем на сцене пятно?» Жена его слов не произносила, но, продолжая плевать на базаре в сторону сала, стала плевать еще и на улице — в сторону райкома партии, так выражая свое несогласие с позицией первого секретаря.

Но длиннее всех высказывался чех. Впервые мы отдохнули от его «не экономиско», оно было заменено на «не эстетиско». Начинал он с пересказа истории своего народа. В глубокой древности, говорил он, чехословацкие люди в отличие от американцев никого не просили: привезите нам черных рабов, сами мы работать ленимся. В результате негров в Чехословакии так мало, что, когда по улице идет негр, все смотрят ему вслед и думают: «Вон идет негр». А когда идет белый, то: «Вон идет белый», — не думают, а думают: «Идет человек». Но это не потому, что негра не считают человеком, его все человеком считают, но думают: «Вон идет негр». Потому что их мало и бросается в глаза не то, что он человек, а то, что негр. «Если танец будут танцевать четыре белых девочки, — говорил чех, — то я буду думать: «Это четверо лебедей». А если одна из них будет негритьянка, я подумаю: «Вон негритьянка танцует с лебедями». Если б у нас в городе было три негритьянки и они танцевали бы танец маленьких

лебедей вместе с одной белой, я бы подумал: «Вон три лебедя танцуют с белой девочкой». Никакой столичный хореограф не расист, он просто хорошо понимает, что эстетиско, а что не эстетиско. Он думает об искусстве, а вы только об интернационализме».

Так начинался конфликт. Над ларьком уже не стоял дружелюбный гомон, а звучали яростные споры. Все чаще переходили на личности. Помню, как-то Абрам прокричал, что если Татьянку все же включают в четверку лебедей, то он, несмотря на свою всемерную к ней любовь, на концерт не пойдет, потому что среди белых девочек она будет мозолить ему глаза.

Это мозолить возмутило всех до глубины души. «Если б твою дочку включили в четверку,— сказали Абраму,— ты б небось не кричал, что она будет мозолить глаза своим шнобелем. Тебе ее шнобель глаза не мозолит, да?»

«Во-первых,— ответил Абрам,— у моей дочки не такой уж и шнобель. У Плисецкой не меньше, но он не мешает ей вызывать восхищение зрителей. А во-вторых, вспомните, какие шнобели у лебедей. Если хотите знать, моя дочка на лебедя была бы похожей ваших...»

Но все это были пока еще лишь мелкие препирательства. Дальше конфликт стал усугубляться.

В один прекрасный день город облетела весть: столичный хореограф предложил побелить Татьянку известкой. Сказав, что, побеленную, он допустит ее в «Танец маленьких лебедей». Скорей всего эта весть была чьей-то дурацкой шуткой, но многие приняли ее всерьез, один из горожан пришел к ларьку с плакатом: «Не Татьянку — известкой, а хореографа — дегтем!» Вокруг плаката столпилось немало людей. Получилось что-то вроде несанкционированного митинга.

Этим митингом действие шутки и закончилось бы, если б на следующий день в нашей местной газете не появилась статья главврача санэпидстанции под названием: «Смерть от всасывания». В ней писалось, что кожные покровы человека не так уж плотны, как кажется невооруженному глазу. Они не только проницаемы, но и обладают способностью к активному поглощению того, что на них намазано. Медицина этим свойством кожи пользуется испокон веку. Еще в египетских папирусах содержатся методики втирания различных целебных мазей. В средние века широко распространены были ванны из сока цветов — разумеется, среди аристократии. Стоило лечь в такую ванну, как кожа начинала всасывать в себя все полезное, что в соках содержалось. Но в те же незапамятные времена эта способность кожи использовалась и в антигуманных целях, а именно: для умерщвления неугодных. Все, конечно, помнят, что отцу Гамлета яд был тихонько влит в ухо. Из уха он не мог пробраться ни в желудок, ни в легкие. Ухо — своего рода тупик. И тем не менее отец Гамлета умер: яд впитался в кожу ушных проходов...

В конце статьи сообщалось, что если побелить человека известкой, то это равносильно исполнению смертного приговора. Потому что в известке содержится хлор, который тут же через кожу всосется в организм, где натворит неисправимых бед. Наличие в крови хлора несовместимо с функционированием таких органов, как печень и почки, выход которых из строя влечет за собой автоматическое прекращение жизни.

Заканчивалась статья советом мазать чем-либо кожу только по рекомендации врача.

Если накануне у ларька состоялся как бы несанкционированный митинг, то после выхода газеты возникла уже многолюдная демонстрация. С плакатами и транспарантами она дошла до дома, где жил столичный хореограф. Люди скандировали: «У-бий-ца! У-бий-ца!»

Дальше, скандируя то же слово, демонстрация подошла к дому, где жил Абрам, оттуда — к местожительствам китайца, турок и чеха. После чего мирно разошлась.

Еще через несколько дней в той же газете появилась статья, которая называлась: «Заметки философа». Автором ее, как ни странно, был тот же главврач санэпидстанции. Он писал, что закат всех цивилизаций связан с проникно-

вением внутрь этих цивилизаций чужеземцев. Древний Рим, например, развалился потому, что в нем кишмя кишели представители завоеванных Римом провинций — главным образом восточных: от евреев и египтян до персов и ассирийцев. Россия тоже пострадала от того, что, завоевав множество народов, способствовала их проникновению внутрь собственного тела. Ее столица стала наполняться татарами, поляками, лицами кавказских национальностей, а присоединив к себе Польшу, она получила в приданое еще и евреев. То, что именно представители просочившихся внутрь национального тела народов затеяли революцию, легко определить по составу всех революционных комитетов, где на одного русского приходилось два поляка, три грузина и еще несколько если не татар с латышами, то якутов с мордвой. О евреях и говорить нечего — большие специалисты игры на смычковых инструментах, о чем свидетельствуют имена Менухина, Ойстраха, Хейфеца и Когана, они и здесь взялись играть первую скрипку...

Могут сказать, писалось дальше в статье, что такое, мол, и признавать стыдно. Если ноль целых шестьдесят восемь или сколько там сотых процента в силах определять путь подавляющего большинства, то чего стоит тогда это большинство? Грош ему цена, могут сделать такой вывод.

Он неправильный, писалось в статье. Опровергает его мудрая русская поговорка о ложке дегтя в бочке меда. Разве мед менее ценный продукт, чем деготь? Гораздо более! И тем не менее целая бочка дорогого меда может быть испорчена дешевым дегтем в количестве одной ложки. Ни о каком преимуществе дегтя эта его пакостливость не говорит. А только о том, что он вонючий и способен даже ничтожным присутствием отравить вкус нескольких тонн сладчайшей амброзии...

Некоторые, прочитав статью, говорили: «Это уж слишком, мы все ж интернационалисты, сравнивать другие нации с дегтем, а себя величать медом — недопустимо». Но другие возражали: «Допустимо! Да, мы интернационалисты, были ими и остаемся, разве не из интернациональных побуждений мы встали на защиту девочки-негритянки? У кого повернется язык назвать нас националистами?»

Первым повернулся язык у Абрама — после того, как демонстранты выбили ему окно булыжником, обернутым в бумажку, на которой было написано: «Твои рубашки, Абрам, больше носить не будем. Убирайся от нас на свою гору Цион».

«Вот он! Вот он! — закричал Абрам, потрясая этой бумажкой из разбитого окна. — Наконец-то я его дождался! Вот он!»

«Кто — он?» — поинтересовались снизу.

«Антисемитизм! — прокричал Абрам. — Я его всю жизнь от вас жду! И наконец вы его проявили! Огромное вам спасибо, а то я очень устал ждать».

«Тебе бы морду за такие слова набить», — сказали снизу. И пошли прочь.

«Антисемиты!» — кричал им вслед Абрам. «А ты со своей дочкой рassist», — лениво огрызнулась толпа.

Может, одним Абрамом все бы и обошлось, если б к нему не примкнули остальные инородцы. И теперь уже не только насчет того, танцевать ли Татьянке в «Маленьких лебедях», а вообще по всем вопросам. И главное — по ошибке примкнули! Дело в том, что наш город слегка заражен рязанским произношением, из-за чего слово «антисемитизм» многими выговаривается как «антисемятизм», то есть можно подумать, что корень в нем — «семя». Именно так китаец с турками и чехом и подумали. Они решили, что это слово обозначает враждебность ко всякому некоренному семени, отчего стали видеть в Абраме товарища по несчастью. Жители города как громом были поражены, когда однажды на глазах у всех турок с турчанкой, такие всегда нелюдимые, ни с кем не дружившие, вошли в дом, где жил Абрам. Визит ему нанесли!

«Надо же как спаялись! — говорили люди. — А притворялись интернационалистами. Нет у них все-таки нашей широты! Все нороят в котло свернуться». На почве этих разговоров возникла еще одна стихийная демонстрация, на следующий день повторившаяся. Теперь уже камни с запиской: «Убирайся на

свою гору Цион», — бросали в окно не только Абраму, но и китайцу, туркам, чеху. И особенно, конечно, столичному хореографу...

По-прежнему собираясь у ларька, но уже без посторонних национальностей, мы спорили: чьей победой закончится борьба? Большинство не сомневалось, что нашей, но некоторые говорили: не исключено, что и ихней. «Эх вы, пораженцы!» — корили так говорящих, но они доказывали: «Смотрите, как эти чучмеки сплочены. В гости друг к другу ходят!»

«А мы разве не ходим?» — возражали им.

«Мы у самовара посидеть ходим, — говорили пораженцы. — А они времени на чай не тратят. Вот увидите, разработают план действий и с такой неожиданной стороны ахнут, что куда там гитлеровскому внезапному нападению».

С ними не соглашались, но страшновато становилось. Вдруг и в самом деле? Вдруг коварный план уже разработан и неожиданный удар последует вот-вот?..

Мы стали призывать друг друга к бдительности и внимательности. К готовности номер один. Стали жить в колоссальном напряжении сил...

Дальнейшего я до сих пор не могу понять. Каждое из последующих событий в отдельности объяснить нетрудно. Но они же все вместе, одно за другим. Невольно возникает мысль: это подстроено. Но тогда вопрос: кем? Каким образом?

Вот что меня мучает...

Началось со столичного хореографа. Когда наш секретарь райкома, чувствуя, что в городе назревает многонациональный погром, примчался к своему бывшему протеже на своей почти что правительственной «Волге», готовый на коленях умолять этого расиста поступиться принципами и ради общественного согласия включить Татьянку в число маленьких лебедей, — когда он с такими намерениями ворвался в прекрасно отремонтированную квартиру столичного хореографа, то увидел того читающим только что полученное письмо. «Давайте еще раз поговорим о судьбах городской самодеятельности», — дипломатично начал секретарь райкома, на колени падать времени. «В гробу я видал вашу самодеятельность, — отозвался расист, дочитывая письмо. — Меня Ригоревич зовет обратно. Ради процветания искусств предлагает помириться. Что ж, ради искусств я к нему вернусь».

И он тут же, на глазах у секретаря райкома, стал собирать чемодан.

Через день получила письмо и десятиклассница. Конверт был продолговатый, сквозь штемпельные полукружия с марки глядела на мир первейшая красавица Бельгийского Конго, съеденная в свое время крокодилами. Полузабытый Татьянкин отец писал, что на днях в его семье состоялось обсуждение письма, полученного тринадцать лет назад. Все эти годы были потрачены на безуспешные попытки собрать всех, но вот, слава Богу, удалось. И дядя из Заира наконец-то сумел получить визу — не только на себя со старшим сыном, но и на уже выросших остальных сыновей; и внук вождя присутствовал, правда, не собственной персоной, а в виде духа, вызванного усилиями деда-вождя из Страны Мертвых Охотников, где внук проживает с того часа, как раненый носорог проткнул ему на охоте своим рогом левый бок. Так что кворум был просто замечательный. После острых дебатов по предложению внука вождя было принято решение: утвердить для дочери имя, предложенное русской матерью, — Татъямба.

Так как с момента присвоения имени девочка начинает существовать и о ней положено заботиться, отец Татъямбы приглашал дочь вместе с ее матерью в свою страну — для создания законной семьи и совместного счастливого до конца дней проживания.

Десятиклассница в Бельгийское Конго собралась еще быстрее, чем столичный хореограф к Ригоревичу. Схватив Татъямбу буквально в охапку, она помчалась на вокзал, сказав на прощание: «Пропадите вы все здесь пропадом! Даже с огромным талантом у вас можно удавиться от тоски, став какой-нибудь продавщицей в обувном магазине. В Бельгийском Конго на черных не смотрят,

как на забор, который надо побелить известкой, поэтому моя дочурка еще спляшет в нем свой танец маленьких лебедей с подружками».

Китаец и турки уехали в один день. Китаец — в Японию, где на заводе фирмы «Айва» работал его сводный брат — тоже китаец, но ставший японцем. А турки — в Казань. Они, оказывается, уже давно дружили с одним татаринцом, который присылал им на все мусульманские праздники поздравительные открытки, удивляясь в каждой тому, что они находят в себе силы жить среди неверных. Он давно, как выяснилось, звал их к себе, но турка что-то удерживало, жена же его, как обычно, молчала. Но в день отъезда Татьямбы она громко вдруг заголосила прямо посреди улицы, крича мужу, что, если он немедленно не увезет ее отсюда, она сожжет себя, облившись подсолнечным маслом, что ей надоело безрезультатно плевать в сторону сала, его как продавали, так и продают, а в Татарстане, поскольку он теперь суверенный, за продажу сала, наверное, расстреливают, — она очень хочет в эту страну.

И турок жене подчинился...

Чех тоже уехал — по письму из Братиславы. Бывший директор пивоваренного завода, ставший теперь владельцем, писал, что сорокаведерные бочки нашего производства им очень подходят, но получать их из далекой России дороговато, поэтому он приглашает дорогого соплеменника с семьей на историческую родину. «Должность главного бондаря за вашим сыном зарезервирована», — писал владелец завода.

Абрам с дочерью уехал последним — ясно куда. Криво усмехаясь, наши горожане говорили: странно, что не первым. «Мы просто удивляемся его долготерпению, — говорили они. — Камней ему в окна мы набросали раза в два больше, чем остальным, но эти евреи, оказывается, на редкость прилипчивы, им, видно, только газовыми камерами можно намекнуть, что они персоны нон грата».

Глупо, конечно, думать, что отъезд нескольких человек мог сильно изменить жизнь города. Перемены, конечно, произошли, но незначительные. Как и прежде, мы работаем — каждый на своем месте. Растим детей, многие из которых занимаются в танцевальном кружке при Доме культуры. Вечерами, как всегда, собираемся у ларька — за кружкой пива. Правда, раков больше нет — разумеется, жалко, но терпимо: пиво не водка, его закусывать необязательно.

Снова гомон стоит над киоском. Часто ведутся интернациональные беседы. Недавно разгорелся спор о курдах — как их защитить от иракцев. Один парень предложил сбросить на Багдад водородную бомбу, но все запротестовали: иракцы тоже люди. Парень, что называется, полез в бутылку: а курды не люди? Ему ответили: тоже люди. Слово за слово — парень двинул своей кружкой в лицо пожилого человека. Ничего особенного, даже зуба не выбил, но мы его сильно стыдили и даже слегка побили с воспитательной целью. И все это из-за курдов, которые нам совершенно чужие и Бог знает за сколько тысяч километров от нашего города живут.

Так что интернационализм к нам, можно сказать, вернулся. Доброты, правда, слегка поубавилось, но ведь она ни у кого не стоит на месте. Она, как море — то прилив, то отлив, — что у человека, что у народа. Ее всегда то меньше, чем надо, то вдруг сразу очень много. Хотелось бы, чтобы еще больше...



Владимир КАНТОР

Лишенные наследства

К ПРОБЛЕМЕ СМЕНЫ
ПОКОЛЕНИЙ В РОССИИ

*Моим родителям с любовью,
благодарностью и чувством ду-
ховной преемственности*

Были ли у нас стабильные эпохи?

Существует устойчивая легенда, точнее даже, мифоподобное убеждение, почти на уровне подсознания, что именно «наше время» — переходное, а вот «прежде» Россия бывала «всегда» стабильной, нашедшей себя, целостной и гармоничной. Однако стоит поинтересоваться: когда же так оно было?

Может, десять лет назад, в начале горбачевской перестройки? Или двадцать лет назад, в брежневский застой, который оказался, по сути, разложением и распадом, перерождением и переходом системы из одного состояния в другое? А сорок лет назад, в хрущевский период, период целины, космоса, разоблачения сталинских репрессий, возвращения из концлагерей миллионов, попыток «вернуться» к идеализированным «ленинским нормам партийной жизни», а заодно обогнать США «по производству мяса, масла и молока на душу населения»? Уж иным словом, кроме как «переходное», это время не назовешь. Точно так же просится это слово и к сталинской эпохе коллективизации, индустриализации, перетряхнувшей всю Россию. Стоит ли говорить о пореволюционных годах с продрозверсткой и нэпом, швырявших народ из огня да в полымя?

Но, может, раньше, между двух революций? На рубеже веков?.. Однако капитализация России, конечно, страну перестраивала, да и современники иначе, как переломными, эти годы и не называли. Что уж говорить о пореформенной России, когда «все переверотилось» (Л. Н. Толстой) и никак не могло уложиться!.. Но такими были и времена Екатерины и Петра, и время раскола при Алексее Михайловиче, и «смутное время», и период от Ивана до Ивана (избавление от татарского ига и первое вхождение в европейские сношения), даже 250 лет татарского владычества — это время накопления сил и растущего перевеса Москвы. А удельная раздробленность, а Крещение Руси, а становление русской государственности (862 г.)? Все указывает на постоянные изменения и переход из одного качественного состояния в другое.

В конечном счете само культурно-географическое положение России между цивилизующейся Европой (кстати, цивилизация — это тоже процесс, постоянное преодоление собственной варварской природы) и пребывающей в равном себе состоянии варварской Степью предположало постоянный поиск своей самоидентичности, т. е. существование в ситуации некоторого культурного неустойчивого равновесия. Поэтому, на мой взгляд, *переходность является константой российской истории*. Быть может, это одна из причин, почему проблема поколений вообще существует в России. Как своей переходностью, так и конфликтом поколений она отличается от недвижных азиатско-восточных деспотий и приближается культурно-исторически и типологически к Западной Европе.

«У тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы»

Но долгое соприкосновение, даже долгое совместное проживание с кочевой, нецивилизованной Степью (столетия татарского господства!) родило своеобразный симбиоз, который предопределил весьма серьезное различие в российском варианте взаимоотношений «отцов и детей» от варианта западноевропейского. *Различие это — в невероятной остроте конфликта поколений в России*, намного превышающего конфликтность западноевропейскую. Это различие прекрасно видно из сравнения двух классических произведений западноевропейской и русской литератур, давно уже признанных вершинами мировой культуры, — «Гамлета» Шекспира и «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Сравнение это не надуманное, уже в самом романе русского писателя не раз звучит сопоставление двух типов отношения к жизни — гамлетовского и карамазовского. Все они даны в репликах персонажей, но значит это, что сам Достоевский предлагает нам меру и тип для сравнения. Приведем одну из этих реплик (из обвинительной речи прокурора): «Может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет (т. е. в загробной жизни.— В. К.)? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»

В чем же разница?

Начнем с отцов. Отец Гамлета, король, о нем Горацио: «Его я помню; истый был король». Отец братьев Карамазовых, старик Карамазов, при первом же своем появлении на страницах романа замечает о себе, что «точность есть вежливость королей». На реплику своего родственника: «Но ведь вы по крайней мере не король», — тут же шутовски отвечает: «Да, это так, не король. И представьте... ведь это я и сам знал, ей-Богу!» Т. е. перед нами два отца — король и шут, даже не претендующий быть королем, хотя и намекающий (для читателя) на возможность подобного сближения.

Отношение детей. Гамлет об отце: «Он человек был, человек во всем; // Ему подобных мне уже не встретить». Он не может расстаться с отцом, хотя тот мертв: «Отец!.. Мне кажется, его я вижу... В очах моей души». Сам облик отца говорит Гамлету о божественной сотворенности человека: «Поистине такое сочетание, // Где каждый бог вдавил свою печать, // Чтоб дать вселенной образ человека». Смерть отца — для него почти космическая катастрофа: сюжет трагедии — месть за отца. Дмитрий Карамазов отца иначе, чем «псом» и «Езопом», не называет. Езоп в его словоупотреблении значит шут и «урод». Про отца он восклицает: «Зачем живет такой человек!.. Скажите мне, можно ли еще позволять ему бесчестить собой землю». Т. е. уровень тоже вполне космический, хотя и с другим знаком, поэтому кричит он отцу: «Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем...» Это прямое отличие от Гамлета, чувствующего себя продолжением отца. Сам облик отца Карамазова вызывает у его сына негативно-уничтожающие чувства: «Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу его кадлык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую». Не отстает от него и брат Иван в своих «родственных» чувствах, замечая об отце и брате Дмитрие: «Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!» В конце концов незаконный сын старика Карамазова Смердяков убивает отца. Но весь роман — о степени вины каждого из братьев в этом отцеубийстве.

Пожалуй, более других русских любомудров задумывавшийся об этой проблеме Николай Федоров писал: «Нигде антагонизм молодого со старым не дошел до такой крайности, как у нас»¹. Отчего так?

Отцы и дяди

Посмотрим прежде, как русская классика оценивала старшее поколение, т. е. отцов, *еще до Достоевского*. Тогда, быть может, мы угадаем причину конфликта. Вот грибоедовский Чацкий:

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?

Итак, *отцы показывают отсутствие образца и примера*, лишая потомков возможности наследовать некий достойный, уважавшийся бы ими образ жизни.

А вот отец пушкинского Онегина:

Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.

¹ Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982, с. 77.

А у Лермонтова? Чем богаты дети? «Ошибками отцов и поздним их умом» («Дума»). И в чем предчувствует свою вину перед следующим поколением, «детьми», лирический герой стихотворения, будущий «отец»?

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Мысль одна: отцы промотались и не оставили наследства, потому и не испытывают дети к отцам уважения. Ведь ошибками на самом деле богат не будешь. Скажем, дядя Евгения Онегина наследство имел, а потому и «уважать себя заставил». Кажется, однако, что его отец к такому уважению относился вполне равнодушно; во всяком случае, сына он понять «не мог // И земли отдавал в залог». Ответное равнодушие и неуважение вполне объяснимы. Ведь давно уже сказано, что дерево узнается по плодам его.

Впрочем, ситуация не столь безнадежна, как это может показаться из вышеизложенного. Именно потому, что сам Пушкин чувствовал «любовь к отеческим гробам», он оказался способен увидеть отсутствие этой любви в жизни современного ему общества. Надо учесть, что наследство определяется ценностными характеристиками. А как полагал Норберт Винер, простое накопительство без создания новых ценностей означает потерю стоимости наследства — в пределе до его полного обесцениения. Сохранение наследства требует его приумножения, которое возможно в том случае, когда существует личность, способная воспринять наследство как стимул к творчеству. Когда, скажем, К. Аксаков в 1848 году (ст. «О Карамзине») объявлял всю отечественную современную ему словесность явлением отвлеченным, «ложным по своей сфере» и «нисколько не народным и не живым», он выступал, по сути дела, как самый завзятый, все отрицающий нигилист. Ведь существовали уже и Пушкин, и Гоголь, и Жуковский, и Лермонтов, и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский — и они не были единичными исключениями, а представляли вершины складывавшегося массива русской литературы, некоего целостного явления — нашего сегодняшнего наследства. Как раз создание новых смыслов и ценностей — философских и художественных — определило вопрошающий взгляд российской словесности на общество, которое еще не усвоило «идею наследования».

Создавать капитал наследства, а потом не транжирить его, работать с ним, постоянно пополнять может только личность, свободная и самостоятельная. Но такие лишь начали возникать после реформ Екатерины II, утвердившей (хотя бы среди дворянства) *права частного лица*. Обществу, однако, требуется время, чтобы научиться пользоваться этими правами. Сама Екатерина подчас нарушала их. Сохранялись привычки бесправия, которые, то ослабевая, то усиливаясь, досуществовали до сегодняшнего дня. В плане экономического это означало промотать, прогулять доставшееся состояние, чтоб не успело отобрать государство, которое и доселе воспринимается как единственный хозяин всей и всяческой собственности. В плане духовном самодержавный официоз и консервативный национализм требовали ограничить общественные потребности идеалам Московского царства, что заведомо исходило, по сути, проматывало богатейшее наследие Древней Руси, бравшее свое начало в общеевропейском антично-христианском прошлом.

Самостоятельная личность вырабатывается трудно, это новый этап антропогенеза. Жить стаей, общиной привычнее, зверинею, *проше*, ибо нет нужды тогда у особи в собственных духовных усилиях. Появление Жуковского, Пушкина и им подобных значило много, но отнюдь не вело к автоматическому преобразованию нации в сообщество самостоятельных индивидов. Даже в «средне-высшем» (определение Достоевского) слое русского дворянства, уже знакомого с правами собственности и наследства, господствовало «гусарское», или «хлебосольное», проматывание состояния (отец Николеньки Иртеньева из «Детства», граф Ростов из «Войны и мира»), определял тип жизни разоряющихся «дворянских гнезд».

Такое положение дел создает весьма специфическую социально-психологическую и культурную ситуацию.

«Проматывающийся отец» не думает о своих детях, не дает им возможность повзрдеть, подойти к своим отношениям с миром ответственно. Не распоряжаясь наследством, хотя, постоянно ожидая его, надеясь на него, дети находятся на положении вечных приживалов, как, к примеру, будущий император Павел при Екатерине, которая, несмотря на его совершеннолетие, не уступила ему корону. Тем самым он вынужден был оставаться ребенком, *недорослем*, который мог «жениться», но не имел ни права, ни возможности на действие. Результат — социальное безумие, неадекватность Павла. Такой же большой, нелепый и неуклюжий недоросль — Пьер (в «Войне и мире»), который не располагает при жизни отца даже правом носить его фамилию, не говоря уж о возможности самостоятельно строить свою жизнь. И только смерть отца, его предсмертное раскаяние превращают просто Пьера в Пьера Безухова, в Петра Кирилловича Безухова, наследника миллионного состояния. Впрочем, раскаявшийся незаконный отец — это тоже вариант «дяди». Слу-

чайность усыновления равна бесконечному ожиданию смерти бездетного дяди, который еще не известно кому оставит свое имущество.

Итак, *наследство приходит сбоку, «от дяди»*. В том числе и наследство духовное. Ведь отцы, по словам Лермонтова, прошли над миром, «не бросивши века ни мысли плодотворной, // Ни гением начатого труда». Каждый раз это наследство дети получают не по прямой линии, а сбоку, *не от России, а от Запада*. «Не поразительно ли, — писал в «Вехах» историк русской мысли М. О. Гершензон, — что история нашей общественной мысли делится не на этапы внутреннего развития, а на периоды господства той или другой иноземной доктрины? Шеллингизм, гегелианство, сен-симонизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, ницшеанство, неокантианство, Мах, Авенариус, анархизм, — что ни этап, то иностранное имя?»².

Гершензон ставит здесь весьма важную культурологическую проблему, имеющую самое прямое отношение к нашей теме. И истоки этой проблемы — на самой заре превращения языческой Руси в Русь христианскую. Дело в том, что христианство мы получили из Византии, *но не на древнегреческом, а «с помощью дяди», через язык-посредник, через древнеболгарский*. А стало быть в отличие от Западной Европы, получившей на латыни практически все античное наследие, включая и труды первых Отцов Церкви, Русь, находившаяся вроде бы близко к стране Античности и «чистого» Христианства — Греции, была лишена возможности непосредственного наследования — *только через переводы*. Но и этот источник скоро иссяк: удельные войны и татары извели русскую книжность, лишь монастыри с трудом хранили «блестящие искры византийской образованности» (Пушкин). Но тоже на языке-посреднике. После освобождения от татарского ига первыми о византийском наследстве вспомнили московские цари (Иван III), но и они далее знаков царской власти не шли. Подданные царей жили в блаженном внеисторическом времени и пространстве.

Наконец, раскол и реформы Петра заставили наиболее активную часть общества *отнестись к идее наследования осознанно*. Но только на рубеже XVIII и XIX веков, усвоив живые европейские языки — главным образом немецкий и французский, Россия сумела вернуть себе вроде бы давно ей положенное античное наследство (лицейский период Пушкина, его анакреонтика и т. п., переводы Гомера Гнедичем и Жуковским). В России наконец зазвучал «умолкнувший звук божественной эллинской речи» (Пушкин). В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь замечал, что благодаря Жуковскому Россия приняла Гомера «как родного». И возлагал надежды на преобразование страны под воздействием гомеровской поэмы. Но интересно, *что перевод Гомера Жуковский делал по немецкому подстрочнику*, т. е. прибегнув к содействию уже «другого дяди», чтобы Россия приобщилась к античному наследству. Отмечу только, что похвалившиеся чистотой полученного из Византии христианского образования забывали: школа у ромеев основывалась на подробном чтении и изучении гомеровских поэм. И лишь спустя тысячу лет после первых контактов с великой империей Русь получила азы ее школьной программы. Западная же Европа уже много столетий разрабатывала это античное наследие, внося новые смыслы, обогащая его. Поэтому постоянный интерес русских людей к западноевропейским теориям вполне понятен: это и ученичество, и поиски себя: своего утерянного наследства.

На этом пути возникали, разумеется, сложности и взаимонепонимания русских учеников. В «Отцах и детях» Тургенева это показано с поразительной ясностью. Хотя вся критика без устали (начиная с Писарева) твердит, что именно в этом романе впервые зафиксирован надрывный российский конфликт поколений, Тургенев глубже и ироничнее. Его герои, и дети, и родители, только лишь *воображают*, что находятся друг с другом в конфликте. Аркадий близок и к своему отцу, и даже дяде, роман (в его линии) заканчивается семейным альянсом Кирсановых. Что же касается Базарова, то и этого неукротимого нигилиста обожает его родители, да, похоже, и он их любит. *В чем же конфликт? Да в разных установках — социальной и идеологической*. Базаров крут с Кирсановыми, ибо он из другой среды: «Мой дед землю пахал», — надменно произносит Евгений Базаров. А идеологическая разность объясняется тем, что в Россию пришли новые немецкие авторитеты, вместо Шеллинга и Гегеля — Бюхнер и другие. Устами героев борются не смыслы разных поколений, а смыслы двух заимствованных идейных концепций. Как замечает Павел Петрович: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Впрочем, Тургенев не угадал, что разность заимствованных идеологических концепций помножится и на биологический конфликт поколений. И это столкновение будет тем острее, чем крепче вера в *новый западноевропейский идеологический концепт, которому придается абсолютный смысл*.

² Вехи. Из глубины. М., 1991, с. 83.

Взыскиющие наследства и нигилисты

Идеи брали на Западе, но переиначивали, переосмысливали их вполне в российском духе. Павел Петрович Кирсанов, дядя, хочет, чтобы наследство переняли от него. Он им обладает, у него есть идеи, которые он сам уже принял у «европейского дяди». Но родной дядя по сравнению с европейским оказывается как бы отцом, наследство которого не то чтобы проблематично или не нужно, но оно заемно, а следовательно, лучше уж и далее заимствовать там, где эти идеи производятся. Так и шли из десятилетия в десятилетие два по крайней мере века: восемнадцатый и девятнадцатый. В XIX веке, правда, наследство появилось, но это было так непривычно, что от него отказывались.

Что же было следствием? С каждой очередной западной концепцией российская духовная жизнь словно бы начиналась заново, почти с нуля. Об этом тяжкие размышления Чаадаева: «Мы же, явившись на свет, как незаконнорожденные дети, лишены наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего существования. Каждому из нас приходится самому искать путей для возобновления связи с нитью, оборванной в родной семье»³ (курсив мой. — В. К.). Похоже, именно западник Чаадаев выразил умонастроение тех русских мыслителей и поэтов, что тосковали по отеческому наследству. Такая критическая, болезненная, взыскивающая тоска, заметил как-то Достоевский, есть показатель высокого духа. Но почему отеческого наследства взыскует западник? Да потому, что Запад для русских явился образцом цивилизации, развивающейся *преемственно, от отцов к детям*. Этой-то последовательности и не хватало Чаадаеву в России. Замечу, что его духовный воспитанник, великий русский поэт Пушкин («наше — все») нашел и обозначил российскую преемственность: от Петра Великого, «кем наша двинулась земля». Явление Петра осветило историческим светом не только будущее — до Пушкина, но и прошлое. Петр стал точкой отсчета в обе стороны по временной оси координат. С ним пришло в Россию два понятия — «до» и «после», т. е. история.

После Петра самодержавие приобретает характерные черты европейского абсолютизма, что так раздражало русских консерваторов. Как они полагали, «монархия усваивает себе идею абсолютизма только в виде прямого искажения собственного принципа»⁴. Усвоившие себе эту идею европейские монархии были ограничены в своих возможностях «благородным сословием». Это произошло в Западной Европе примерно к эпохе Ивана IV, воплотившего в России с невероятной силой идею неограниченного самодержавия. Но именно такой, неограниченной, и должна быть монархическая власть, чтобы быть верховной, считал Л. А. Тихомиров, в прошлом член ЦК «Народной воли». Очень, кстати, характерно это перерождение бывшего террориста в яростного монархиста, ждавшего и от монархии абсолютистского владычества над человеческими судьбами. Не случайно его любимым героем в русской истории был Иван Грозный.

На Западе дворянство, поставившее над собой и монархом идею закона и блага страны, приобрело независимость и личное достоинство, которые защищались преодолевшим бывший феодальный произвол законом, а стало быть, могли наследоваться. Аналогичный процесс начинался и в России. Скажем, в послепетровский период ушедшее угрюмое и бесправное боярское местничество превратилось в элемент дворянской родословной, стало поводом к развитию дворянской чести, аргументом в пользу сословной и частной независимости. Во всяком случае, Пушкин с гордостью говорил о себе: «Бояр старинных я потомок». Относясь иронически к «дряхлеющим родам», выше ставя свое личное, «мещанское», достоинство, он тем не менее принял это «боярское» наследство. Влияние западной идеи преемственности сказалось в России к концу XVIII века в поисках собственного культурного прошлого: собиране летописей, былин, народных песен и т. п.

Но была в России непривычка к наследству. К его хранению, передаче, получению. Факт, как было показано выше, зафиксированный русской поэзией. Поэтому пришедший с Запада вульгарный материализм оборотился в России нигилизмом, ибо именно нигилизм отвечал у нас мощной многосотлетней почвенной традиции. Традиции жизни без наследства.

Иные русские мыслители видели в таком положении дел преимущество России, показывающее ее молодость, ее предназначение начать новую страницу истории. Нет прошлого, нет наследства — и не надо! Причем многое из прошлого хотелось бы и самим вычеркнуть, чтоб его как бы и не было. На такой позиции вырастало и стояло русское революционерство леворадикального толка, начало которого я вижу в Бакуине и Герцене, писавшем в своем трактате «О развитии революционных идей в России»: «Нелегко Европе... разделатьась со своим прошлым; она держится за него наперекор собственным интересам, ибо ...в настоящем ее положе-

³ Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989, с. 21.

⁴ Тихомиров Л. А. Единичная власть как принцип государственного строения. М., 1993, с. 126.

нии есть многое, что ей дорого и что трудно возместить... Мы же более свободны от прошлого, это великое преимущество... *Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно, ограничено.* Такие вещи, как *московский царизм или петербургское императорство, любить невозможно.* Их можно объяснить, можно найти в них зачатки иного будущего, но *нужно стремиться избавиться от них как от пеленок... У нас больше надежд, ибо мы только еще начинаем...*⁵ (курсив мой.— В. К.). В эти же годы Бакунин объявил «страсть к разрушению» творчеством, выразив тем самым крайний нигилизм и «проматывающихся отцов» и «детей-отрицателей».

Эти идеи были подхвачены «молодой эмиграцией» конца 60-х — начала 70-х (Ткачев, Нечаев), уже прямо заявившей, что цивилизация, школа, книги, достижения духа — только помеха для революции, но, поскольку Россия молода и отстала, она сможет обогнать омещанившийся, обуржуазившийся Запад. Напрасно западный революционер Энгельс иронизировал над этой точкой зрения, заявляя: «Только на известной, даже для наших современных условий очень высокой, ступени развития общественных производительных сил становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства... Человек, способный утверждать, что эту революцию легче провести в такой стране, где *хотя* нет пролетариата, но *зато* нет и буржуазии, доказывает лишь то, что ему нужно учиться еще азбуке социализма»⁶. Напрасно Герцен в предсмертных письмах «К старому товарищу» выступил против молодых радикалов, согласившись со своим старым оппонентом Чернышевским, что вне цивилизации право личности утвердить не удастся. А ведь даже в самый революционный свой период он исходил из того, что «нет ничего устойчивого без свободы личности»⁷. Только искал эту свободу в развалинах «старого мира».

Но молодым нигилистам было наплевать на личность и ее свободу, поэтому разрушения они не боялись. Тем более что к концу столетия среди революционеров появился человек, «усвоивший» западные уроки марксизма и сказавший, что в России уже *есть* и пролетариат, и буржуазия, более того, за короткий промежуток времени — за каких-нибудь двадцать пять лет — Россия достигла высшей точки капитализма — империализма. Хотя ироники твердили, что у нас *нет ни труда, ни капитала, но зато есть борьба между ними*, нигилистическое слово оказалось сильнее, совпав, как я уже говорил, с мощной почвенной традицией. Так и возникло *вполне победоносное* тоталитарное движение XX века. Как констатировал Федор Степун, «следы бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»⁸. Победив, нигилисты-большевики вернулись, по сути, в допетровское прошлое, скрыв, по словам Бунина,

пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.
(«День памяти Петра»)

Большевики воображали себя и убеждали других, что они наследники и продолжатели петровских преобразований. Но Бунин, один из самых зорких и проницательных людей России, показал, как в «окайнные дни», когда пришла «ужасная пора», предсказанная Пушкиным в «Медном всаднике», *град русской цивилизации* был затоплен разбушевавшейся стихией отечественного нигилизма.

Традиция нигилизма, или Вечная детскость

Петр и Пушкин стали символами возникшей русской цивилизации. Их усилением Россия сызнова приобщалась к европейской традиции наследования. Но ведь была у нас и другая — нигилистическая — традиция. Откуда она взялась? И что она такое есть?

Дело в том, что прошлое никогда не бывает листом чистой бумаги. «Были, — замечал Чернышевский, — уже написаны на этом листе слова... Эти слова не «Запад» и не «Европа»... звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому бы то ни было немцу произнести наши Ц и Ы. Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр»⁹. Но надо сказать, что эти звуки, эти слова — «степь»

⁵ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти тт. М., 1956, т. VII, с. 242, 243.

⁶ Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 18, с. 537—538.

⁷ Герцен А. И. Ук. соч. Т. VII, с. 242.

⁸ Степун Федор. Встречи и размышления. London, 1992, с. 112.

⁹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1950, т. VII, с. 610.

и «иго» — были написаны поверх вполне европейских слов, прозвучавших когда-то в Новгородско-Киевской Руси. Почему они стерлись?

Каждая культура проходит природно-языческую стадию общинного хозяйствования, где время циклично, имущество принадлежит роду-племени, а потому не возникает даже вопроса о наследовании и преемственности. А цикличность времени предполагает и отсутствие истории. *Только с появлением частной собственности*, когда из общинно-коллективистского безличного сообщества выделяется индивид, *начинается цивилизационный этап культуры*, появляются разделение труда и общественное производство. Происходит не только родовая трансляция социально-биологических навыков, но и трансляция от предков к потомкам личностных смыслов, воплощенных как в материальном, так и в духовном наследстве. Но укорененный в далеком прошлом родовый механизм культуры отвергает новое состояние дел, блокирует возникшее историческое развитие. Этот культурно-родовой механизм способствует влияниям, препятствующим цивилизации.

В России частная собственность как цивилизирующий элемент жизни продержалась не более четырех столетий и была сметена татарским нашествием. По «монгольскому праву на землю» *прежде всего была уничтожена земельная частная собственность*: вся завоеванная земля принадлежала хану и жаловалась в пользование специальными ярлыками. Это низвело народ на социально-экономическом плане до родо-племенного уровня. Монгольские принципы власти переняла «татарофильская» (Г. П. Федотов) Москва. Борьба боярства, сохранившего прежний принцип владения землей, оказалась безуспешной: победил московский князь. И вотчины были заменены поместьями, жалуемыми только за службу. Этот *победивший принцип жизни кочевого племени утвердился на много столетий, совпав с родо-племенным отрицанием наследства*. Боярское «местничество» казалось народу смешным, ибо, как писал Пушкин, «кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства»¹⁰. Это и была та традиция нигилизма, которую Россия пыталась преодолеть в постпервский период, когда дворянские и купеческие семьи обрели неотчуждаемую и неотбираемую государством частную собственность, *которую стало возможным передавать по наследству*.

Реакция этой нигилистической традиции на цивилизованные попытки России обустроиться (Великие реформы Александра II и т. п.) была огромной, причем нигилизм распространялся не только на отрицание частной собственности, но и на духовные достижения. Отказ от культурного наследства стал весьма важной темой конца века. Все 90-е годы Лев Толстой пишет свой трактат «Что такое искусство?», приходя к отрицанию всего западноевропейского и русского (включая и свое творчество) искусства как порождения «богатых классов». В 1891 году В. В. Розанов публикует статью «Почему мы отказываемся от «наследства 60-х — 70-х годов»?», в которой высказывает соображение, что «люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена»¹¹, выбрав на самом деле не зерно, а плевелы. Поэтому из созревшей жатвы пища не питательна, и дети *вынуждены* отказаться от наследства отцов. В 1892 году Д. С. Мережковский публикует программную работу «О причинах упадка и о новейших течениях современной русской литературы», где принимает *часть* отцовского опыта, а от другой части отказывается. Эта статья стала программой русского модернизма. Русским модернистам казалось, что новые откровения западной мысли предполагали отрицание предыдущих откровений. Дело было, однако, не в новых западных заимствованиях, а в продолжающейся работе механизма отечественного нигилизма. Именно в этой — модернистской — тональности написана в 1897 году знаменитая работа В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся?».

Ленину казалось, что культурное наследие можно разделить на плохое и хорошее. Плохое — отринуть, а хорошее — принять. Именно ему удалось проверить это модернистское утверждение исторической практикой. Оказалось, что отбросить *часть* духовного наследия невозможно. В таком случае оно отвергается целиком, а люди, рожденные эпохой революции, торжественно провозглашают «новое» смертью «старого», как это сделал Хлебников в «Октябре на Неве»: «Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти»¹².

Но, как отвергается целиком, так целиком и возвращается. Дальнейшая судьба страны показала, что наследуемый тип культуры нерасчленим — и в плохом, и в хорошем. В меняющемся облике, в превращенном виде все явления и архетипы культуры продолжают жить, перетекая из прошлого в настоящее. От духовного наследия, как и от культурных традиций, нельзя отказаться: *их можно гуманизировать и цивилизовать*. Но эта задача не решается революционным путем. На нашем опыте мы убедились в этом сполна.

¹⁰ Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти тт. М., 1951, т. VII, с. 225.

¹¹ Розанов В. В. Сочинения. М., 1990, с. 123.

¹² Хлебников Велемир. Проза. М., 1990, с. 65. Характерно, что в своей автобиографии Хлебников подчеркивал свое «антицивилизационное», антипушкинское происхождение: «Родился 28 октября 1885 в стане монгольских... кочевников» (Там же, с. 3).

Ведь именно «детская вера русского народа в возможность обретения земного Царства сделала коммунизм по-настоящему действенной силой и подпитывала ее несколько десятилетий»¹⁷. Теперь тон саркастический, отчасти даже самоедский: «Отцеубийство» — это взгляд детей на отцов как на прошлое, от которого должно избавиться вследствие его ложности, — извечная для русских ситуация»¹⁸. И далее поясняется, что в России «опыт отцов только потому заметен, что от него надо скорее избавиться, разрушить как можно глубже»¹⁹.

Дети или... рабы?

На мой взгляд, в этих вышеприведенных высказываниях представлена некая *феноменологическая констатация* явления, не более того. Хуже, что не всегда точная. Начну с утверждения о «необходимости избавиться от опыта отцов». Беда, и большая, как я уже старался показать, что само накопление опыта, опыт как таковой, передаваемый следующему поколению, отсутствует. Промотан. Даже негативный. Ибо опыт — это научение, даже «ошибки отцов» должны бы учить детей преодолевать прошлое, все время для этого помня его. А передаются только социобиологические рефлексы защиты от мира. Словно бы культура не рефлектирует по поводу себя, остается на уровне природного механизма. Как писал Чаадаев: «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для самих себя. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно»²⁰. Детям не от чего избавляться, все пропадает само собой.

«Детскость» потому определяет культуру, что отцы — те же дети, а дети, как показал в «Думе» Лермонтов, ничуть не лучше отцов. Человек биологически становится отцом, оставаясь по сути ребенком. Говоря об отцах, мы на самом деле описываем детей, и наоборот. Отцы не могут — в плане духовно-нравственном — считаться отцами. Приведу несколько шаржированное высказывание защитника на суде из «Братьев Карамазовых»: «Такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и недостоин называться отцом. Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность». Кто же отцы? Ведь ведут они себя, как распущенные, развращенные подростки, не знающие удержу и нормы. Об этом программное стихотворение Н. А. Некрасова «Родина»:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов...

Ключевые слова здесь — «жизнь... бесплодна и пуста», а также слово «рабы». *Отцы проматываются* «среди пиров и разврата». Они бесплодны. Раб, однако, тоже бесплоден, он не творит произведений культуры и цивилизации, выполняя лишь указания хозяина, по сути, *он проматывает* свою жизнь. Но хозяева здесь — те же рабы. «Взгляните только на свободного человека в России, — замечал Чаадаев, — и вы не усмотрите никакой заметной разницы между ним и рабом»²¹. Потомство рабов столь же бесплодно, ибо точно так же существует не самодостаточно, а прихотью очередного хозяина. Вот вам «дети» в лермонтовской «Думе»... Чем они отличаются от отцов?

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
Ни гением начатого труда.

Запоминаются свободные люди, совершающие деяния. Рабы позабываются скоро, им не надо совершать поступков, они объекты, а не субъекты. Но ведь дети, которые у Лермонтова чувствуют себя будущими отцами, прямо сообщают о себе: «Перед властью — презренные рабы». Итак, квадратура рабского круга, которая порождает у детей «равнодушную ненависть» к отцам, — по произволу ли природного господина, потому ли, что отцы ощущаются не отцами, а посторонними, ибо *не оставляют в наследство смысла жизни*, а смысл этот дети черпают со стороны.

¹⁷ Там же, с. 96.

¹⁸ Мильдон В. И. «Отцеубийство» как русский вопрос. Вопросы философии. 1994, № 12, с. 51.

¹⁹ Там же, с. 54.

²⁰ Чаадаев П. Я. Сочинения, с. 21.

²¹ Там же, с. 270.

Поэтому все отцовские приказания и призывы кажутся детям абсолютно ложными, не относящимися к реальности. По справедливому наблюдению Чаадаева, прежние идеи у нас с такой легкостью выметаются новыми, потому что последние тоже явились к нам извне.

Из века в век *ребенок воспитывается в архетипе рабства*. В блоковском предреволюционном «Коршуне»:

В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь соси,
Расти, *покорствуй*, крест неси».
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна...
(Курсив мой.— В. К.)

Что же мешало России, несмотря на явную одаренность народа, на принадлежность к христианской культуре (которая вывела Западную Европу из хаоса Темных веков), обрести внутреннее развитие, естественную взаимосвязь поколений, осуществляя органическую преемственность духовных ценностей? Почему и сегодня отцы равнодушно посылают детей на убой то в Афганистан, то в Чечню, рождая у тех отчуждение и презрение к миру взрослых? Ибо отцы, словно недоразвитые дети, продолжают играть в солдатиков, не испытывая чувства ответственности за будущее страны. У нас существует Комитет солдатских матерей: *матери* пытаются спасти жизнь своих сыновей, отцы же безмолвствуют.

Роль православия, или Проблема поверхностной христианизации страны

В начале прошлого века католический мыслитель, дипломат, много лет проживший в Петербурге, Жозеф де Местр так объяснял культурно-возрастную ситуацию России: «*То нравственное возрастание, которое постепенно ведет народы от варварства к цивилизации*, было остановлено у вас и, так сказать, *перерезано* двумя великими событиями: расколом десятого века и нашествием татар»²² (курсив Жозефа де Местра, выделено мною.— В.К.).

В *десятом веке* Схизма, однако, еще не оформилась окончательно, официальный раскол христианской церкви произошел в 1054 году. А к этому времени Киевская Русь стала законной частью европейского мира. «Киевщину,— писал русский историк А. Е. Пресняков,— знали на Западе, считали богатой и культурной страной и отнюдь не смотрели на нее свысока, как на варварскую окраину. В те времена молодое русское государство было хоть отдаленной и обособленной, но частью европейского мира, а Киев — существенным для него оплотом»²³. Уже после Схизмы на Русь приезжает вполне дружески от императора Генриха IV послом епископ трирский Бурхардт, в XI и XII веках продолжают династические браки с королевскими домами Западной Европы: скажем, Владимир Мономах женат на дочери англосаксонского короля Харальда, а Мстислав Великий — на дочери шведского короля. Да и церковь вполне свободна, она «не смешивалась с государством и стояла высоко над ним»²⁴.

Ситуация меняется в столетия татарского ига, отрезавшего Русь от Западной Европы, тем самым укрепившего Схизму. *Русское, экуменическое по духу и пафосу православие, связывавшее Западную Европу и Константинополь*, превращается в националистическое, а с укреплением Москвы, с «московизацией Руси», церковь получает статус автокефальной, но при этом полностью оказывается подчиненной верховной власти. Русское православное христианство отныне освящает все нужды и потребности государства, а потому, скажем, не препятствует становлению в XVII и XVIII веках крепостного права. Православие, само перестав быть свободным, не могло отстаивать и свободу паствы. Все человеческие проблемы рассматривались только с точки зрения *государственно-церковной пользы*.

В том числе и нашедшие в христианстве свое решение отношения *отцов и детей* (Отца и Сына) православием, по сути дела, игнорировались. В статье «Русская Церковь» (1905) Василий Розанов, быть может, глубже многих размышлявший о метафизике брака и семьи русский мыслитель, писал: «У русских и православных вообще плотская сторона в идее вовсе отрицается, а на деле имеет скотское, свиное, абсолютно бессветное выражение... Свет младенца, радости родительские, теплота своего угла, поэзия родного крова — все это непонятные русскому (кроме образованных, атеистических классов) слова, все это недопустимые с церковной

²² Местр Жозеф де. Петербургские письма, 1803—1817. СПб., 1995, с. 140.

²³ Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. М., 1993, с. 380.

²⁴ Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2-х тт. СПб., 1992, т. 2, с. 279.

точки зрения понятия, Церковь допускает, что если супруги вступают в соединение, то... русская чета должна думать не о себе, а о том, что через рожденных от нее детей, обязательно крестимых в Православие, возрастет численность православного населения и мощь веры... Самим родителям, самой семье не уделяется Церковью никакого внимания»²⁵.

Такое состояние православия приводило складывавшееся русское общество вполне закономерно к *религиозному безразличию*. Как замечал тот же де Местр, в России, «где служители религии суть пустое место, пустым местом является и сама религия»²⁶. Это чувствовали и сами русские: мыслители и поэты. Довольно отчетливо прослеживается взаимосвязь между горестным атеизмом Белинского и трагическим православием Достоевского. И тому, и другому не хватало в России *цивилизующей* силы христианства. Неимовненное усилие по христианизации России, предпринятое Достоевским, было бы вполне бессмысленным, если бы православие само действовало. Но получилось так, что не религия была опорой писателей и художников, а воспитанные на западноевропейской культуре писатели попытались собственную духовную энергию сообщить православной церкви. Именно перед русским искусством, а не перед православием стояла, по мысли В. С. Соловьева, задача «вдохновенного пророчества» (курсив В. С. Соловьева.— **В.К.**), ибо оно — не более и не менее — «должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь»²⁷ (курсив мой.— **В.К.**). Т.е. искусство, а также философия призывались к выполнению вполне религиозной задачи. Этот труд взяла на себя плеяда русских писателей и мыслителей так называемого неорелигиозного ренессанса на рубеже веков. Но необходимость такой задачи лучше прочего рассказывает нам о реальном положении дел в России. С одной стороны, всю вину за «русский атеизм» списывая на образованное общество, с другой стороны, Достоевский писал о «нигилистах в народе»²⁸ (курсив Ф. М. Достоевского.— **В.К.**), показывая «народные черты «карамазовщины»»²⁹. А С. Н. Булгаков, говоривший о том, что русский народ в начале XX века находится по своим духовным запросам на уровне X века, века Крещения Руси, в сущности, тревожился о том же: что свою социально-воспитательную роль православие не сыграло. Спустя десять веков после Крещения в России установилась своеобразная смесь христианства с язычеством, как это констатировали в 1909 году крупнейшие российские богословы: «Русский крестьянин, наиболее полно и искренно исповедующий сейчас православие, верит в Бога, Церковь и таинства, но одновременно с этим он не менее твердо верит в лешего, шишигу, сарайника, заговоры и т.п., и это последнее — такой же непременный элемент его веры, его поведения и мировоззрения, как и первое»³⁰.

Но именно в обществе, не прошедшем подлинной христианизации, проблема отцов и детей обретает особую остроту. Именно христианство по самой сути своей преодолевало конфликтность поколений, ибо Христос, на заре европейской цивилизации предвещая Гамлета, явился символом послушного сына: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 6, 38). При этом он сознавал свою силу и великую значимость своей миссии: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим небесным» (Мат. 10, 32). И само это исповедание мыслилось как превращение человечества в единую семью: «Кто будет исполнять волю Отца Моего небесного, тот Мне брат и сестра и мать» (Мат. 12, 50). Христианство оказалось первой мировой религией, задавшей всему миру парадигму исторического развития, объявившей, что развитие это, имеющее начало и конец, осуществляется через преемственность поколений, одушевленных идеей совершенствования человеческого рода и его жизни. Но совершенствовать себя и мир может только зрелый человек, сознающий свою ответственность, а стало быть, обладающий и свободой. Раб безответствен, за него отвечает хозяин. «Делая человека ответственным,— писал Достоевский,— христианство тем самым признает и свободу его»³¹.

Выпадение из эволюции

Победила, однако, языческая и нигилистическая «карамазовщина»³². Большевики вполне по-карамазовски строили свою деятельность на отрицании, на уничтожении «отцов», звавших к цивилизации страны. Скажем, был отвергнут Лениным еще в начале века даже «отец русского марксизма» Г. В. Плеханов, по воспомина-

²⁵ Розанов В. В. Религия. Философия. Культура. М., 1992, с. 301.

²⁶ Местр Жозеф де. Петербургские письма, с. 161.

²⁷ Соловьев В. С. Собр. соч. в 10-ти тт. СПб., б.г., т. 6. с. 84, 90.

²⁸ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 20, с. 191.

²⁹ Миллер Орест. Русские писатели после Гоголя. СПб.— М., 1900, т. 1, с. 242.

³⁰ Ельчанинов А., Флоренский П. Православие. В кн.: История религии. М., 1909, с. 171.

³¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 21, с. 16.

³² См. трактовку понятия «карамазовщина» в кн.: Кантор В. «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. М., 1983, с. 64—92.

ниям всех очевидцев подлинный «русский европеец». А после победы Октябрьской революции Плеханов был подвергнут таким унижениям, которые оказались равнозначны убийству. 21 мая 1918 года Зинаида Гиппиус заносит в свой дневник: «...Умер Плеханов. Его съела родина... Он умирал в Финляндии. Звал друзей, чтобы проститься, но их большевики не пропустили. После Октября, когда «революционные» банды 15 раз (sic!) вламывались к нему, обыскивали, стаскивали с постели, издеваясь и глумясь, — после этого ужаса, внешнего и внутреннего, — он уже не поднимал головы с подушки. У него тогда же пошла кровь горлом, его увезли в больницу, потом в Финляндию... его убили те, кому он, в меру силы, служил сорок лет»³³.

На первый взгляд большевики тем не менее вроде бы поклонялись «отцам-основателям» — Марксу и Энгельсу. Ревизия Лениным марксизма, опора в создании партии на нечаевско-ткаческие принципы не сразу были осознаны. Отметим это русские философы-эмигранты спустя несколько лет после победы большевистской революции. Но этот тайный отказ от марксизма стал явным в деятельности Сталина. Георгий Федотов писал в 1936 году: «Сталин и вся его группа никогда, быть может, не были настоящими марксистами. Читал ли Сталин Маркса, в высшей степени сомнительно. Вообще же он учил социализму по Ленину... Можно было бы спросить себя, почему, если марксизм в России приказал долго жить, не уберут со сцены его полинявших декораций... но создать заново идеологию, соответствующую новому строю, — задача, очевидно, непосильная для нынешних правителей России. Марксизм для них вещь слышком мудреная, в сущности, почти неизвестная. Но открытая критика его представляется вредной... Сталин не первый из марксистов, предпочитающий «ревизию» Маркса прямой борьбе с ним»³⁴. Сталинская империя имитировала исполнение воли и замысла «отца-основателя», но, по существу, плато отрицание и выхолащивание всех смыслов Марксова учения. Убийство было потаенным. *Сталинизм стал высшим типом российского нигилизма*. А нигилист лишь использует слова и понятия, на их содержание ему наплевать. Как показал исторический опыт, нигилист не способен принять ценности культуры, мораль, духовное наследство, ибо он признает только свою выгоду, лишь она его интересует.

Поэтому почитание отцов в этом случае осуществляется, если оно приносит выгоду, на деле же отцы отвергаются и по возможности уничтожаются сыновьями-нигилистами. Но один из русских поэтов революционной эпохи, поэт-«будетлянин», о котором я уже упоминал, *выговорил скрываемое* большевиками, людьми будущего «нового мира», отношение к отцам.

Разумеется, сам поэт не причастен к творившемуся тогда злу. Он просто выразил господствовавшее во вбаллабленной стране умонастроение. А оно было вполне антиисторическим и антихристианским. Для сравнения: Христос слышал неслышимый другими голос своего Отца и повиновался ему. Хлебников задает себе и своим словам «божественный» уровень: «Мы верим в себя, — пишет он в «Трубе марсиан» (1916), — и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого... *Ведь мы боги*. Но мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому»³⁵ (курсив мой, разрядка В. Хлебникова. — В.К.). Он восклицает: «Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности взять лежащую на ее пути гору. Мы сорвали печати и убедились, что груз — могильные плиты»³⁶. Можно сказать, что в этих словах звучит плохо усвоенный Ницше, провозгласивший в своем «Заратустре» приход человека будущего — сверхчеловека. Но, как и многие другие последователи немецкого мыслителя, русский поэт задается практическим вопросом, пытается понять, «как освободиться от засилья людей прошлого»³⁷. На этот вопрос с успехом ответили и большевики, и нацисты. Нет человека — нет проблемы.

Взаимная неприязнь отцов и детей — знак дурной и опасной. Он говорит об обезбоженности общества, об отсутствии в обществе духовной свободы и ответственности, о его незрелости. А в силу этого о неполной включенности страны в историю, а порой и о внеисторическом прозябании культуры. Даже восточные, неевропейские и нехристианские страны, знающие эту преемственность поколений (Китай), способны не только к созданию высокой цивилизации, но и к выходу из изолированного, самодостаточного исторического процесса в мировую историю. Тоталитарные режимы, лишавшие свои народы свободы, ответственности и истории, культивировали противопоставление детей отцам как отжившему, требующему уничтожения. Как показал Карл Манхейм, человек при нацизме «ведет себя как ребенок, который потерял дорогу или любимого человека и, чувствуя себя неуверенно, готов пойти с первым встречным»³⁸ (курсив мой. — В.К.).

³³ Гиппиус З. Н. Современная запись. 1914—1919 гг. В кн.: Мережковский Дмитрий. Большая Россия. Л., 1991, с. 230—231.

³⁴ Федотов Г. П. Тяжба о России. Paris, 1982, с. 267, 270.

³⁵ Хлебников Велемир. Проза, с. 52.

³⁶ Там же, с. 55.

³⁷ Там же, с. 54.

³⁸ Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М., 1994, с. 500.

Именно это происходило в коммунистической России, где молодежь была объявлена «барометром партии», чтобы руками этой самой молодежи уничтожить «партийных бояр», т.е. тех, кто совершил революцию и мог претендовать на оппозицию диктатору. Это одна из тем знаменитого романа Артура Кестлера «Спящая тьма» — о том, как ломали и убирали с дороги «старых» революционеров. Как и гитлеровская Германия, большевистская Россия отгородилась от истории. «Клячу истории загоним», — писал Маяковский, думая, что страна попала волевым усилием Октября из «царства необходимости в царство свободы». На самом деле историю и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что казалось: *уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс*. Напомню трагические строки Мандельштама 1932 года:

Если все живое лишь помарка
 За короткий выморочный день,
 На подвижной лестнице Ламарка
 Я займу последнюю ступень.
 К кольцецам спущусь и к усонгим,
 Прошуршав средь ящериц и змей,
 По упругим сходням, по излогам
 Сокращусь, исчезну, как Протей.
 Роговую мантию надену,
 От горячей крови откажусь,
 Обрасту присосками и в пену
 Океана завитком вопьюсь.

 Он сказал: довольно полнозвучья,—
 Ты напрасно Моцарта любил:
 Наступает глухота паучья,
 Здесь провал сильнее наших сил.
 И от нас природа отступила —
 Так, как будто мы ей не нужны...

Надо сказать, что такое катастрофическое мироощущение поэта вполне объяснимо и не является слишком уж преувеличенным. Выход за пределы истории для человека и в самом деле равнозначен концу эволюции. Ведь эволюция человеческого рода, его антропогенез осуществляется через историю, через исторический процесс. Не случайно же считают (Ст. Говорухин и др.), что сталинская тирания породила в России «новый антропологический тип», ориентированный на *понижение* интеллектуальных и духовных способностей, на отказ от самостоятельности.

Возможен ли выход, или Русская классика как показатель «повзреления» культуры

При большевиках произошла нигилистическая варваризация страны. А варвары, как обычно говорят, — это «сухие дети». И в самом деле, варварство есть детство культуры, цивилизация — зрелость, взрослость. Подростковый нигилизм (после изгнания из России нескольких миллионов взрослых, обладавших чувством ответственности) легко был усвоен всеми слоями народа. Словно исполнилось трагико-саркастическое преувеличение Достоевского: «Нигилизм явился у нас потому, что мы *все нигилисты*»³⁹ (курсив Достоевского. — **В.К.**). Способны ли мы взростеть или обречены на вечную детскость? Это самый сокровенный вопрос отечественной культуры. Способны ли мы выбраться из «провала», который «сильнее наших сил»?

Если избежать здесь политологических сюжетов, а постараться подойти к проблеме, насколько это возможно, объективно и метафизически, то ответ должен быть скорее положительным.

Другое, *не нигилистическое*, могло быть, ибо оно *было*, осталось в национальной памяти, создав пока еще нестойкую, раньше не существовавшую традицию — традицию преемственности, семейного *наследования* материальных и духовных ценностей. Прежде всего надо вспомнить, что с петровских преобразований уже не отрицаются верховной властью, а становятся, так сказать, материально-духовной силой, способствующей цивилизации страны, *дворянские, промышленно-купеческие, разночинские роды*, своеобразные династии, пронизавшие тело культуры, скреплявшие ее: Пушкины, Вяземские, Аксаковы, Самарины, Толстые, Строгановы, Шереметьевы, Кавелины, Чичерины, Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Щукины, Бунины, Менделеевы, Пастернаки, Цветаевы и т. д. *Только с появлением таких родов и была осознана и отрефлексирована*

³⁹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 27, с. 54.

литературой и общественной мыслью проблема поколений, как проблема, требующая разрешения.

Ситуация к началу XX века была двойственной. С одной стороны, не утихла тема революционного, по-карамазовски понятого отцеубийства (на этом строится сюжет «Петербурга» Андрея Белого: сын-революционер готовит покушение на отца — высокопоставленного царского чиновника). С другой стороны, естественные противоречия между поколениями, обусловленные разными временными эпохами, уже не всегда оборачивались нигилизмом, переходя в образованном слое (который и *задает направленность общественного движения*) в некое новое качество. По слову Блока (из поэмы «Возмездие»),

*Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода —
Два-три звена, — и уж ясны
Заветы темной старины:
Созрела новая порода, —
Угль превращается в алмаз.*

«Угль» нигилизма становится алмазом цивилизации.

В этой поэме сын, несмотря на сложные отношения с отцом, *наследство получает от отца, а не от дяди*: сюжет приезда героя к умершему отцу зеркально отражает приезд Евгения Онегина к дяде.

Это соображение об укоренении среди интеллигенции *чувства наследства*, которое принесла России европейско-христианская цивилизация, можно показать на чеховском рассказе «Студент», который сам писатель называл, по свидетельству Бунина, *своей самой любимой вещью*... Для начала напомним только, что обычно студент воспринимался как выразитель, даже как символ *нигилизма*. Причем как с положительным, так и с отрицательным знаком. Быть может, острее всего это проявилось у Достоевского (роман «Бесы») в пародийном переосмыслении огаревского стихотворения «Студент». В романе стихотворение читает «бес» Петенька Верховенский:

*А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленскá до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.*

Ждал, чтобы

*Порешить вконец боярство,
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать навеки мщенью
Церкви, браки и семейство —
Мира старого злодейство!*

Итак, народ под руководством «студента» идет к разрушению святынь и преданий, разрушению семьи, собственности наследства. В рассказе Чехова, напротив, студент рассказывает «народу», двум крестьянским женщинам, евангельскую историю об отречении Петра и чувствует, как его слово помогло этим двум простым женщинам-работницам ощутить неразрушимую связь времен, стать сопричастными далекому евангельскому прошлому. И студент «подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему... *Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого.* И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой» (курсив мой. — **В.К.**). Рассказ написан в 1894 году, спустя два десятилетия после «Бесов». А Чехов был не из тех писателей, что *выдумывает желаемое*, во всех своих построениях он всегда опирался на реальность. Значит, поменялось нечто в развитии русской общественности и петровско-пушкинская традиция расширяющегося европейского образования проросла в русской жизни. К несчастью, она не стала определяющей. Ее преодолела традиция нигилизма. То, чему противостояла русская классика, победило.

Из истории мы были выбиты, конфликт отцов и детей стал определять советскую жизнь. Многим русским писателям-эмигрантам чудилось, что Россия *навсегда* заключена в этом заколдованном кругу. Теперь кажется, что не навсегда. В событиях так называемой перестройки сошлись вместе старшие и младшие поколения в попытке преодолеть традицию нигилизма. Надолго ли? Как известно, исторический путь крут и чреват срывами. Однако, и это показал семидесятилетний опыт, мы не безнадеежны.

Все русские деспоты не любили литературу и боялись ее, ибо ее влияние действенно *не только в пространстве, но и во времени*. И пусть не покажется этот фактор, фактор литературы, малозначимым. Как ни парадоксально, уверенность в конечном благоприятном исходе нашей исторической судьбы дает нам именно факт существования великой русской литературы. Когда-то Чаадаев сказал, что каждый из русских людей собственным усилием связывает настоящее с прошедшим. Разумеется, таких связывающих — единицы. Но этими «единицами» оказались великие писатели. И они *свое открытие русской истории сделали достоянием общественного сознания*. Русская литература стала русской Библией, творцом нравственно-исторических смыслов для своего народа.

Писатель Карамзин создает самое значительное свое произведение — «Историю государства Российского». Пушкин заявляет, что гордится своим шестисотлетним дворянством, пишет «Арапа Петра Великого», «Капитанскую дочку», «Историю пугачевского бунта», «Историю Петра», «Мою родословную», где говорит о себе в контексте российской истории. Не забудем и того, что «Война и мир» не просто великий, а великий *исторический* роман, наполненный историческими рассуждениями. Весь XIX век русская литература ведет *летопись* русской общественной жизни (Тургенев, Достоевский, Лесков, Чехов), параллельно создаются грандиозные «Истории» — С. М. Соловьева, В. О. Ключевского. В XX веке (сначала, пока было возможно это делать честно, открыто, а потом — потаенно) продолжалась эта летопись: периода революционных смут, гражданской войны и дальнейших потрясений России — И. Бунин, М. Булгаков, И. Бабель, М. Шолохов, А. Платонов, В. Гроссман, В. Шаламов...

Реально перестройка принесла прежде всего возрождение и возвращение русской классики прошлого и нынешнего столетий. Да и началась она с публикации ранее запретных литературных произведений. Тогда-то и стало внятно до конца нашему сознанию, что свободную мысль мы привыкли искать за последние два столетия не только на Западе, но и в нашей отечественной литературе. Внесенные Карамзиным и Пушкиным *европеизм, европейское чувство свободы* и историзма были усвоены и переработаны русской классикой, превратившись в наше национальное достояние и наследие. С известной долей уверенности можно сказать, что освобождением от тоталитарного гнета мы не в последнюю очередь обязаны нашей классике, сохранившей для нас историческую память. И донесшую до нас, разъяснившую нам весьма существенную русскую проблему — проблему отцов и детей.

Русская литература сказала жестокую правду о нашей жизни, о нашем прошлом, омысляя его. Но это те наработанные смыслы, то наследство, которое мы должны принять, чтобы жить дальше, *развиваясь*. И это возможно, ибо *в самой нестабильности русской истории*, о которой я говорил в самом начале, *есть залог изменения и прогресса*. Именно эту задачу поставил перед русской культурой великий отечественный мыслитель Владимир Соловьев. В 1897 году, под самый закат эпохи отечественной классики, он писал в статье «Тайна прогресса»: «Современный человек в охоте за беглыми минутными благами и летучими фантазиями потерял правый путь жизни. Перед ним темный и неудержимый поток жизни. <...> Но за ним стоит священная старина предания — о! в каких непривлекательных формах — но что же из этого? <...> Вместо того, чтобы праздно высматривать призрачных фей за облаками, пусть он потрудится перенести это священное бремя прошедшего через действительный поток истории. Ведь это единственный для него исход из его блужданий... <...> Дело одно: идти вперед, взяв на себя всю тяжесть старины. ... Вот тайна прогресса,— другой нет и не будет»⁴⁰ (курсив мой.— В. К.).

Разумеется, от проявления «взрослости» культуры, обозначившейся в ее словесности, шаг к «взрослости» общества и народа не простой и не элементарный. В истории не существует прямых и механических взаимосвязей. Русская классика указывает лишь на возможность такого повзросления, что, однако, в сочетании с ясной изменяемостью российского исторического процесса делает эту возможность весьма вероятной. Ибо в культуре есть четко указанный ориентир исторического прогресса (русская классика!), который предполагает рано или поздно и решение проблемы отцов и детей — в эволюционной смене поколений, умеющих с достоинством принимать *все свое* культурное наследство, гуманизируя и преумножая его.

⁴⁰ Соловьев В. С. Собр. соч. в 10-ти тт. СПб., б. г., т. 9, с. 85—86.

Леонид БАТКИН

О постмодернизме и «постмодернизме»

О судьбе ценностей в эпоху после модерна

Нам иногда разъясняют, будто «постмодернизм» — это приличествующее нынче умным людям уничтожение иерархии ценностей и даже отмена ценностей вообще. Возвещают абсолютное сомнение решительно во всем и превращение всего и вся в повод для «игры», отказ в искусстве от индивидуального стиля, готовность с усмешкой напялить на себя любой стиль и т. п. Но пусть толкующие об этом, и прежде всего отечественные инфантильные мэтры «постмодернизма», попробуют подобным образом истолковать и совладать хотя бы с одним действительным великим постмодернистом, будь то Борхес, или Шнитке, или Фаулз, или Бродский. С Фуко или Роланом Бартом тоже вряд ли получится.

Постмодернист (в условном переводе «послесовременный человек»), насколько я в состоянии понять его (до некоторой степени, возможно, и себя самого, будучи тоже захвачен новой ситуацией, которую я не в силах рассматривать только извне и вчуже), нимало не отказывается от ценностей (идеалов, личных убеждений и пр.). Не в этом дело. Да и как вообще такое мыслимо? Не о фитюльке же речь, о человеке.

Однако он менее, чем когда-либо, согласен принимать их извне в качестве готовых и нормативных. Вот и приходится положить свою душу на то, чтобы от начала, свободно, «из ничего», как выражался Бердяев, — вырабатывать их и менять по мере собственного человеческого изменения. Притом вовсе не без известной «иерархии», пусть внедогматической и, так сказать, не гомофонной, не по вертикали. С неминуемым противоречием и столкновением значимых для «Я» жизненных истин. С шумом и яростью. И болью. Конечно, правильной было бы называть эту неустранимо проблематичную иерархию, этот загадочный беспорядок *трагическим порядком*.

Послесовременный человек принимает это в качестве внутреннего закона для себя. Однако о чем это я? Вообще-то в подобных достаточно привычных и общих выражениях уместно характеризовать новоевропейскую культурную ситуацию, уже начиная, допустим, с «Племянника Рамо» или «Тристрама Шенди», не так ли? Или хотя бы начиная с романтиков? Разве много позже не таков же был — пусть опять-таки лишь в наиболее общем смысле — достигший критической массы взрывной индивидуализм Ницше? Или, допустим, Ван Гога и немецких экспрессионистов, или Кандинского, или раннего Прокофьева, или Андрея Белого, или Василия Розанова?

Но тогда есть ли в постмодернизме нечто вполне новое по сравнению с европеизмом вообще и особенно по сравнению с авангардом? Безусловно.

Об исчерпании футуристической ориентации

С наступлением нашего столетия Всемирная История под воздействием накопленной энергетической разницы двух потенциалов, традиционалистского («Восток») и модернизаторского («Запад»), стала через беспрецедентный и мгновенный взрыв (но вообще-то в третий раз за все время существования человечества) изменять самую суть и способ своего движения. Культура предчувствовала землетрясение за многие годы и отозвалась с такой же беспрецедентной новизной.

Далее произошло то, свидетелями и соучастниками чего оказались уже мы сами. Всемирная История, пройдя через две мировых войны и через возникновение и крушение тоталитарных режимов, через более или менее поверхностное, но необратимое втягивание в модернизацию всех стран, наконец, через вспышку постиндустриальных технологий и структур, вошла в серию труднообразимых дальнейших проблем и перемен. Что до «западной» (в том числе русской) культуры, случилось следующее. После беспримерно быстрого — при жизни одного-двух поколений — безоглядного перебора всех мыслимых и немыслимых вариантов будущего, в том числе форм искусства (или форм отказа от искусства), а также предельной и всяческой рационализации или иррационализации, так что затем любой еще один наиболее умный эксперимент был бы уже обречен напоминать более или менее пройденное, — «XX столетие», по сути, кончилось, само став материалом остранный рефлексии.

Тут-то и возникли — в очередной раз, но иначе, чем когда-либо, — усталость, замешательство. Опять «конец века», однако уже без напряженного ожидания освободительных и универсальных ответов от следующего (теперь XX) «века».

Исчезла *футуристическая* ориентация (в самом широком плане свойственная всей первой трети XX века). То есть развеялась иллюзия, будто надо лишь как можно сильнее толкнуть дверь, и за порогом — так вперед же! — окажется панорама замечательного неведомого мира.

Сильно потускнела и оборотная сторона авангардистской медали — идея «архетипической» метаморфозы. То есть что в ликах времени сохраняется материя предвечного всечеловеческого «Мифа», подлинной же новизны не бывает, она будто бы мнимая.

Да нет же! У нас есть больше оснований, чем у любых наших предков, увериться, что прошлое — это то, что действительно уходит в прошлое. Хотя и неохотно, хотя и не бесследно. В новом есть действительная новизна. Хотя и не приносящая успокоения. Ни ретроградная оглядка, ни, как никогда, необходимое нам мужество движения вперед, — ничто не избавляет от экзистенциальных и метафизических проблем (их едва ли не наиважнейшие социальные — политический и психологический — аспекты оставим здесь в стороне).

Возникло некое ощущение огромной и даже беспрецедентной *неопределенности* перед лицом и прошлого, и настоящего, и будущего. Во все возрастающей степени, опять и опять — новые времена. Но без прежнего *пафоса* Новых Времен. Без авторитетной идеи «модерна». Как и без трезво-историчной, работоспособной идеи «возвращения к истокам».

Современная высокая культура начала испытывать ощущение парения в неведомости не только как безусловно насущную свободу, но и как затруднительное отсутствие гравитации.

О кризисе кризисности

Культурное многоголосие осталось и останется. Однако что делать с ним дальше, дабы оно не выглядело вялым и неконструктивным?

Каждый пусть думает, пишет, живет, как хочет. А как иначе! Это хорошо. Нет единой общеобязательной конкретной парадигмы ни в искусстве, ни в философии, ни в гуманитарном знании, ни в личной повседневности. Это замечательно. Но ведь выстрадано и заведено не нами.

Художественным и мыслительным стилем «после современности» мог бы утвердиться диалогизм. Но участие в «диалоге» культурных эпох предполагает мощный *собственный* стиль. Как это и было в гениальном бунтовщическом модерниз-

ме. Теперь же на деле чаще «коллаж», эклектика, а то и — с многозначительным видом — примитивный эпатаж, откровенное валяние дурака, капуста.

«Послевоенная» культура (здесь я выделяю именно кавычки) превратилась в странное Телемское аббатство, где делают, что хотят, однако без жизненного полнокровия. Но ведь и без того, чтоб «тайная струя страданья согрела холод бытия». Короче, без главного: чувства пути и судьбы. Без человечности и трагизма, которыми отмечен истинный постмодернизм.

В нашем отечестве нынче заметно немалое число претенциозных, энергично гримасничающих, но ровно ничего не значащих людей писательской, литературно-критической и пр. профессий. Они-то и торопятся обзавестись модной терминологической татуировкой: «деструкционизм», «постмодернизм» и т. п. От них можно бы просто отмахнуться. Однако эти люди — как умеют — кормятся от вполне серьезной реальной ситуации.

Не «промежуток» как функционально оправданный и различимый переходный отрезок литературной, вообще культурной эволюции, а словно бы *метаисторическое состояние*, которое — по определению — воспринимается как безысходное. Без апокалипсизма... скорее как обыденная данность. Ибо, если бы нынешнее историческое состояние культуры воспринималось иначе, с (каким бы то ни было) вектором, исчезла бы *новизна невозможности новизны*, почва постмодернизма, си-речь не столько чего-то после и вместо модернизма, сколько в данном случае «модернизма после себя».

Мы вдруг увидели себя людьми после *собственной* современности. Мы вышли из себя, оборотились на себя и не очень представляем, что нам с нами, современными, делать.

Корень подкравшейся ситуации, очевидно, пророс в самом характере модерна, то есть закончившейся культуры XX века.

Истоки постмодернизма в исчерпании вариантов авангардизма

Все голоса звучали в ней синхронически. Она была «культурой общения культур» (В. С. Библер).

В этом заключалась ее величайшая оригинальность — и *в этом* же таился величайший ее парадокс, перешедший в осознанное мучение, когда авангардистский перебор небывалых возможностей иссяк.

Очевидно, между этими двумя характеристиками диалогизма нашего столетия есть корреляция по глубине. «Мы», наше культурное «сегодня», были неповторимы благодаря способности к универсальному диалогизму. Но в каком-то собственном общепохальном стиле и облике? Неужто лишь потому, что нам «одинаково дороги все речи»? что мы — везде и нигде, мы бомжи мировой истории и культуры?

Не отсюда ли постмодернизм как *кризис культуры, которая сама была в высшей степени кризисной и футуристической*? Кажется, именно в этом пункте кроется историко-онтологическая новизна ситуации. Бывали кризисы традиционалистских культур с переходом к другим традиционализмам. Был новоевропейский кризис традиционализма как такового, вплоть до революционного поворота через Просвещение к романтизму. Был «декаданс» новоевропеизма в конце положительного и критического XX века, затем на смену разочарованию и унынию пришла победоносная надежда, пришел авангард.

Но вот тут-то впервые тотальный *кризис кризисности*.

Пришла пора обживать мир, уже традиционно, привычно, необратимо нетрадиционалистский, в котором коллизия между прошлым и настоящим, однако же, перестала разворачиваться под знаком молодой дерзости и в котором настоящее кажется весьма сомнительным и опасным, а будущее — принципиально неясным.

Постмодернистское «Я» точно так же, как и модернистское, сознает себя властным организатором культурного пространства. Но без прежних вызывающе уверенных, зовущих вдаль творческих манифестов. В этом пространстве у него самого как бы нет адреса.

Постмодернизм, однако, в той мере, в какой он сам есть культура, иначе говоря (в бахтинском значении этого понятия), способность к сотворению ответственных жизненных смыслов, — не может удовлетвориться идиотской констатацией «исчерпанности» культуры, ее (стало быть, и своего?!) воображаемого «конца»

(стало быть, смерти истории). Он ищет выхода из лабиринта пресыщенностей и разочарований, из богатейших опытов XX и предыдущих веков, из своего рода l'embarras de richesses.

О законченности и незаконченности культурного текста

И вот отсюда, очевидно, заодно также и «постмодернизм» в кавычках, в виде интеллектуальных отбросов этой реальнотворческой ситуации. Замена диалогизма как спора разных жизненно-культурных правд — «интертекстуальностью» в виде чисто технической процедуры. Превращение резко возросшей открытости, неуютности, проблемности всего гуманитарного — в бойкий жупел и рекламу. Превращение оправданного недоверия к любым клише — в очередное пошлейшее клише. Превращение литературы — в тотальное пародирование, гримасничество, несмешной капустник.

Это сразу делает вопрос о таланте или бесталанности, как и о серьезности или незначительности, совершенно неадекватным. «Дальше ехать некуда. Не отличить златоуста от златоротца» (Бродский). Что, между прочим, довольно удобно для некоторых людей без стержня и идеи. Но едут, едут же!

Появился и литературоведение, не принимающее всерьез чего-либо, кроме себя же, с установкой не на понимание Другого, а на собственную изобличительную и самоуслаждающую изобретательность,— собственно, пародия на литературоведение. За этим, однако, кроется тоже нечто серьезное, ведь неспроста это *постструктуралистское* литературоведение. Выйдя на границы структурализма и смеху перешагнув их, оно, хотя и путая подчас Барта и Бахтина, тем не менее врывается в самую-самую суть, in medias res.

Даже в запальчивых глупостях отечественных снобов, этому подражающих, бывает повод задуматься, некая доля правды. Вообще же, когда люди, напротив того, оригинальные, проделывают престранные вещи,— что ж, отвергая их подход, благодарим за диковинно преувеличенные акценты на впрямь существенных сторонах дела. Благодарим деструкционистов за очередное доведение гуманитарных проблем до предела, вплоть до отрицания субъектности автора, вплоть до равнодушной надменности к тому, что (кого!) данный историк культуры исследует. Благодарим за добровольные интеллектуальные вериги, за сумасшедшинку, за односторонность метода (у Барта и Деррида подчас прекрасную, у их эпигонов лишь кокетливо щеголяющую лохмотьями юродивого). Спасибо за возможность задуматься над давно решенным и, задумавшись, что-то продумать наново и лучше. То есть сделать несогласие с деструкцией не бранным и догматичным, не скучным самоповтором, а некоторым собственным *продвижением*.

Собственно, именно так, по сложной спирали, толчками, в последние двести лет (после Канта) и развивалась рефлексия гуманитарной мысли на себя.

Так что спасибо, конечно, деструкционистам-интертекстуалистам.

Некоторые люди изуверились в семиотической системности. Это часто сами структуралисты-расстриги. (Бахтин же был изначально им чужд и непонятен.) Кажется скомпрометированным всякий подход к тексту, который предполагает, что текст разумен, логичен, закончен, закруглен, соответственно подлежит последовательному описанию.

И впрямь! — «законченность» любого текста (историк назовет его скорее «документом» или «нарративным источником») условна, определена волевым актом создателя. Идеи поэта, или философа, или биографа, или хрониста не могут добраться до собственного дна и тем более быть «вот этими» на все времена, также и для будущих историко-культурных контекстов. Всякая данная их логичность переплетена со своими алогизмами, смыслами зазорами, подменами и пр. Автор зависит от общих мест и метафор, от инерции языковых привычек и ресурсов, от неизбежной недосказанности всякого высказывания. Короче, любой текст — «человеческий, слишком человеческий». Отсюда известный лозунг постструктуралистов «долой логоцентризм» и любовь к отысканию в каждом тексте неких занятных подвохов и несообразностей по отношению к объявленному намерению автора.

Увы, постструктурализм выплескивает с водой и ребенка. Занимаясь многие годы Леонардо да Винчи, Макьявелли, Петраркой, десятками других итальянских гуманистов и писателей, я убедился в том, что неизбежные смысловые зазоры и

подвохи, напротив, парадоксально сопряжены с прямой логикой произведения. Это — мучение текста, подчас его родовая травма или же, напротив, наилучший плод. Это подводная часть высказывания, не освоенная автором сознательно и до конца. Прямая логика и скрытые алогизмы, инерционные языковые (жанровые, мыслительные) клише и их вольные или невольные сдвиги, их подчас новая смысловая функция даже при соналожении традиционных порознь элементов, — полагаю, должны быть взяты непременно *вместе* в качестве (разумеется, относительной) культурной целостности. Они, прочитываемые лишь с позиций венаходимости, встроены в уникальный смысл произведения и личного творчества. В каждом акте творчества пересоздается (по ходу дела меняясь) некий тип культурного сознания. «Алогизмы» — это скрытая (без-рассудная) разумность, закраина явленной логики текста. Они могут и должны быть истолкованы положительно, под знаком не деструкции, а воссоздания всегда *неравново себе*, то есть парадоксального смысла.

Господи, может быть, я, начиная с работ 70-х годов о гуманистическом диалоге и особенно о странностях затаившейся в текстах ренессансной «варьета», тоже был местным постмодернистом-самоучкой?! Упомянуть об этом — значит ли выказать гордыню? Или, напротив, оказаться невежей Журденом, не знавшим, что говорит прозой? Или, наконец, всего лишь отстаивать самую скромную долю методологической независимости? Но, похоже, невзначай, сохраняя склонность к ношению галстуков и не теряя некоторых академических манер, стать гуманитарием-постмодернистом в России нельзя, если сразу же не вложить два пальца в рот и не свистнуть, как Коровьев. И не принято нынче уважительно уступать дорогу перед лифтом, даже смешно сказать, Гегелю, Марксу, Веберу, позитивистам, неокантианцам, опоязовцам, «анналистам», структуралистам, их критикам... «Правы»-то, думаю я, все они, поскольку проблема гуманитарности высвечивается в поле их соприкосновения. Они правы только вместе, и они мертвы в изоляции друг от друга и от остальных.

Писателю, конечно, нельзя попросту *верить на слово*. Но нельзя и приближаться к нему в роли недоверчивого сыщика, сводя дело к тому, чтобы *поймать его на слове*. Писатель писал «для нас» свой message, движимый внутренней неизбежностью. Он наш равноправный собеседник, а не подопечный или подследственный. Сознание этого тривиального обстоятельства обуживает или расширяет возможности герменевтика?

О качестве индивидуализма, или Еще раз о ценностях в ситуации постмодерна

В нашей стране на мировую ситуацию наложился доморощенный особый болезненный излом, все особенно запутывая, искажая, то и дело шаржируя. У нас «постмодернизм» — после десятилетий запрещенности и подпольности самого модернизма, даже и того, который стал в остальном мире классикой, — выскочил таким чертиком из табакерки. И я думаю, что граница между постмодернизмом и «постмодернизмом» — это особенно в России прежде всего, как ни странно, жизненно-человеческий, личностный, а не узкопрофессиональный вопрос.

Это вопрос о стержне, на котором держится человек. Об его историко-культурной органике, естественности, чувстве достоинства. Следовательно, об эстетике поведения. Об истине. О культуре не как о сумме приемов, а как о смысловом мире, в котором люди решают для себя жить и в котором им предстоит помирать.

Короче, это вопрос о *качестве индивидуализма*.

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Что ж, разве мы хотим не того же? Мы давно не в пушкинской культуре. И не в блоковской. И даже не в мандельштамовской. Но все-таки и в ней, ибо она в нас. Что мы без нее? «Мы», уж какие ни есть, составляем еще один поворот спирали, новый диапазон перефокусировок мировой культуры.

В конце XX столетия нет той модернистской свежести, безоглядности, что в начале столетия. Это песня модернистского опыта, она же — невинности. Как, опять?! Безусловно. Пока есть запрос к будущему, пока есть надежда. Се — человек.

Но... пойдй туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. «Постмодернистский» человек глубоко скептичен, дерзок, втолковывают нам — о да, само собой, и даже небывало дерзок, но почему? Потому что это совершенно необходимый инструмент — простите-с! — *выстрадывания мысли и мироотношения*. Слово «выст-

радать» звучит банально и неясно, но я не могу найти ему замену и готов повторять его часто, оно главное.

Впрочем, и тут «мы» — преемники. Причем именно в строптивости, в нежелании торопливо согласиться даже с очевидным (особенно с ним). Позади нас (или, по Мандельштаму, впереди!) Сократ, Августин, Декарт, Кант, экзистенциалисты. Послесовременный человек — уберем к черту кавычки! — не повторяет их. Он живет очень странным настоящим: после себя, до себя. Он закладывает собственный крутой вираж.

И он — о! — с удовольствием готов признать, «что судьба — игра». Что жизнь и искусство *играют*.

Однако разве это и в наши времена не по-прежнему «серьезная игра», предельно ответственная перед смыслом, перед человечностью? *Ludum serium*. Ее не спутать с вымученным остроумничеством, самодовольным и не изящным эпатажем, самоцельной «интертекстуальностью».

А ведь нам пытаются, морща лбы, всучить все это под видом самоновейшей «постмодернистской» поэзии, или прозы, или литературоведения, или живописи, или хеппининга. Э, нет, простите. Отнюдь не всякая «игра» достойна жизни или может быть названа искусством или гуманитарным изыском. Хотя бы и постмодернистским.

О внекарнавальной обоюдозначимости «верха» и «низа»

Постмодернист (счет коим следует вести, возможно, начиная уже с полистилистики поздних Пикассо и Стравинского?) в отличие от модернистов любопытственен благожелателен, изобретательно чуток к прошлым поэтикам или нынешним «массовым» (клишированным), вообще к *нормативным* чужим стилям. Однако лишь постольку, поскольку они дают материал и силу для остранения и приращения смысла. Дают возможность выработать собственный индивидуальный стиль.

Иной настоящий (а не модничающий) постмодернист вполне способен «валить дурака под кожу» или при случае матерно выругаться. Но отнюдь не потому, что не отличает «низа» от «верха», а как раз потому, что острейшим образом ощущает и переживает их. Притом «низ» и «верх» для него не закреплены раз и навсегда, не изолированы, не герметизированы, как в корабельных отсеках. Высокость, выясняется «вдруг», неполна, малокровна, скудна и скучна без низа. Высокость есть, как известно, сублимация низа, то есть предполагает специфически-человеческое *усилие*. И «верх», если он подлинный, трагический, нимало не смущается присутствием «низа», — как и в Библии или у Шекспира, но теперь остро-рефлексивно, *экстравагантно* (в исходном значении этого слова, то есть бродяжничая вне и вдалеке от себя).

По той же причине истины низкой нет без «верха», как левого нет без правого. Подчас «низ» в своей экзистенциальной предельности может — теперь уже безо всякого средневекового карнавала и гротеска — даже оказаться «верхом», присвоить его статус. Гулять головокружительно высоко, как кот на крыше. Не таков ли, например, анархический романтизм («постмодернизм»?) Генри Миллера?

Послесовременный взгляд на вещи, пожалуй, более психологически, социально, стилистически толерантный, широкий, неготовый, чем в давнем или недавнем культурном прошлом, — он и на модернизм (то есть в огромной степени на себя) косится иронически и задумчиво.

Послесовременное «Я» пробует определить по-своему «верх» и «низ». Утвердить смысл, не притерпеваясь к мировой бессмыслице. Это серьезно, куда уж серьезней. Приходится расплачиваться единственной жизнью.

Уж не релятивизм ли это? Если да, то не в плоском и пошлом рядоположении, а в культурно-диалогическом значении. Повторюсь (вслед за Михаилом Михайловичем Бахтиным). Не «всякий прав по-своему», а «все правы вместе».

Об интертекстуализме

Инвентаризировать открытые связи любого текста с множеством предыдущих текстов; предполагать также вполне допустимые сокрытые и косвенные отклики любого автора на то, что ему скорее всего довелось прочесть; а еще пронизательно усматривать параллели даже с тем, чего автор не читал или, во всяком случае,

вряд ли имел в виду, а все-таки заманчиво похоже, — о, это ученое занятие чрезвычайно важно для комментариев. Хотя само по себе лишь сугубо вспомогательное, техническое. Подчас оно требует недюжинной начитанности, догадливости, дотошности и пр., однако же, по моему разумению, не идет к делу, когда его вдруг пытаются выдать за самоцель и перл новейшего литературоведения.

Не идет — к *какому* делу? Да все к тому же и, собственно, единственному: делу *понимания произведения*.

М. М. Бахтин гораздо раньше и не в пример глубже, чем нынешние «интертекстуалисты», установил, что всякое высказывание — это реплика нового участника в старинном разговоре; это «ответ» другим, это его *уникальный* смысл как переосмысление прежних (и провоцирование будущих) высказываний в «большом времени».

Ибо по ходу культурной ретрансляции «встречаются» как-никак не тексты, но люди. Их «голоса» — стилевые сгущения мировосприятий — откладываются в умах тех, кто, так или иначе истолковав, поняв, вобрав чужие смыслы в опыт собственного сознания, продирается, благодаря (или вопреки) им, к некоему *своему* смыслу. И, как выражается Бродский: сам «открывает рот».

В этом, собственно, только и состоит реально-культурная подоплека того, что — вещно и внешне — может быть описано как набор «межтекстовых связей». При *диалогической встрече* в чем-либо мышлении личного пред-смысла (то есть потребности и воли к осмыслению того, что до поры «бродит» в сознании) с инаковыми смыслами — возникает *новый* смысл.

Однако ныне принято снисходительно подсмеиваться над метафорой герменевтического *диалога*. Предпочитают видеть в «дискурсе» (то бишь речевом высказывании) не «произведение» (то есть не квазисубъекта, с которым мы внутренне вступаем в общение), а «текст»: иначе говоря, *вещь*, сделанную из слов. В таком случае, «понимать» — значит эту штуку препарировать.

Термин «интертекст» (взамен старинных «парафраза» или «заимствования» и, на мой взгляд, в *противоположность* бахтинскому «чужому слову») появился не случайно. Интертекстуализм, как часто напоминают, связан с «деструкцией» у Ж. Деррида и со «смертью автора» у Р. Барта. Именно тут его новизна и презумпция. Другие же теоретические изводы интертекстуализма компромиссны или же, особенно когда его смешивают с диалогизмом Бахтина, суть странное недоразумение. Как интернационализм не принадлежит конкретным нациям, так пафос интертекстуализма в анонимности.

Любой «текст» с этой точки зрения способен, сорвавшись со своего исторического и личного места, начать летать, как гроб в «Вие». Опуститься он может также в решительно любом «тексте». И получается: «интертекст».

Поэтому я не люблю и боюсь этого термина, боюсь механистической, внесистемной пустоты интертекстуализма. «Интер» размывает границы между произведениями и делает любое из них набором заимствований. Органичность данной поэтики, внутренняя необходимость (уместность) для нее данного заимствования, смысловая сопряженность всех заимствований между собою в каждом особом случае — эти вопросы, вне которых литературоведение становится эрудитской и манипуляторской операцией, заглушаются якобы случайными и принудительными шумами мировой культуры. Она давит на сочинителя неизбежностью тех или иных, часто машинальных, повторов. Интертекстуальная редукция сводит дело к *казусной* группировке отмеченных исследователем заемных элементов.

В итоге отдельный текст рассматривается как *витрина открытого и бессистемного множества других текстов*.

Насколько я могу судить, подход с позиций «интертекстуальности» не задается вопросами об индивидуальном замысле и о том, насколько целостно и талантливо данный замысел осуществлен. Установление подобий данного текста множеству *каких угодно* других текстов выглядит самодостаточным. Вопрос о глубине и системности этих действительных (или мнимых) переключек отмечается как забавно-простодушный, непрофессиональный. Речь не о приращении смысла, а о литературных крючках, нитках и петельках. Чем больше ниток и петелек сочинителю удалось спрятать в своем тексте, интерпретатору же обнаружить их, выдернуть из текста — тем занятней исследовательская процедура и тем полнее торжество.

Впрочем, принципиально безразлично, действительно ли в тексте наличествуют именно вот эти сознательные намеки и отсылки к другим текстам или же они более или менее остроумно приписаны автору. Ибо предполагается: то ли автор ничего иного и сам не хотел, окромя как быть остроумным и бесцельно, безбрежно интертекстуальным, то ли с любым автором это *случается*, поскольку он неизбежно

завязает в своей литературной памяти. Поскольку всякий смысл подозрительно не нов, то и всякий сочиняет лишь пародии.

Потому-то вопрос о качестве произведения и оказывается непрофессиональным, неприлично «импрессионистическим». Так же — и вопрос о «месте в истории культуры» или о «литературной эволюции». Так же — и старомодные вопросы об «истине», о «соотнесении литературы с жизнью» и пр.

Все в равной степени заслуживает любопытствующего интертекстуального анализа. Каждый автор, будь то гений или графоман, достоин смерти от рук коллекционера. Может показаться, что своего рода *энтотологизм* (отказ от гуманитарности) зато свидетельствует об известной объективности. Но одновременно и для исследовательского артистизма, для удовольствия от своей аналитической изобретательности также остается место. Ибо на это есть вроде бы запрос со стороны окказиональности и комбинаторики данного текста, насколько его удастся изобразить таковым (отказ от претензий на научность).

Так что может получиться весело и находчиво. А это для иного постструктуралиста самое дорогое и есть. Самое методологически-пряное, заманчивое, негуманитарно-гуманитарное. Чтобы и в девках, и замужем.

Индивидуальность, воление, личная правда автора, короче, бахтинский «смысл», установка на то, что всякий Другой — принципиально суверенный, «не готовый», «не завершаемый»; что при любой попытке понимания последнее слово всегда останется за ним, что в этом плане он есть тайна, — но и просто взволнованное отношение к чужой речи, задетость ею, — а впрочем, и сциентистски-жесткая установка на исчерпывающую системность описания, — решительно весь XX век разочаровывает и разочаровывает людей, которые, пожимая плечами и посмеиваясь, называют себя постструктуралистами (или постмодернистами).

Им неинтересны отвлеченности, философствование о культуре.

У них не вызывает доверия трагическая экзистенциальная подоплека; остается «интертекстуальность»; вот литература и начинает смахивать на тотальную пародию.

Им неприятна чужая убежденность и, конечно, смешна страстность. Раздражает критическая определенность суждений, особенно если они неблагоприятны для постструктуралиста. Да ведь это «тоталитарность»! — вот и весь сказ. «Тоталитарностью» называется желание оппонентов заставить кого-либо посчитаться с аргументами, которые данному индивиду чужды и которыми он предпочел бы пренебречь.

Им неинтересен смысловой центр, только периферия; нет аппетита к самому блюду, только к пикантной приправе. А иначе, о! — этот ужасный, ужасный «логоцентризм», то есть исходное предположение, будто текст разумен, поскольку в нем наблюдается авторский замысел и некоторая последовательность его осуществления. Будто это про-изведение.

С новейшей точки зрения тексты не творятся, а случаются (в обоих смыслах русского слова). Потому и неинтересна всякая, будь то гуманитарно-диалогическая, будь то структурно-формальная, их целостность. Путь к целостности (ответственность перед Другим) преграждается ухватыванием и обыгрыванием некоей занятой казуальности.

По сути, постструктурализм изымает из текста культурно-жизненную парадигматику. Ведь парадигматика, как известно, — это не просто соотношение между знаками и значениями. Значение целиком усматривается именно через сочетание знаков, но в нем есть также то, что не может быть, как определял *реальность* еще Поль Валери, исчерпано всей совокупностью значений. Таким образом, значение не равно себе, оно — мостик между знаками и внезнаковой реальностью. Между тем интертекстуалистами *значения* оприходуются в качестве *тоже своего рода знаков*, хотя и во второй производной, менее доступных формализации, характерных лишь для текста «X» или «Y». Предполагается, что тексты — это то, что извлекают из текстов для того, чтобы делать тексты. «Значения»? — это «интертексты», авторские «инварианты», «мотивы», «общие места» и т. п. С добавлением (ввиду считающегося вездесущим и универсальным «пародийного» измерения) смоляного каната и части деревянного масла, «так что нужно затыкать нос».

Правда, нам говорят, что это «содержательные моменты». Однако не в том простодушном смысле, будто они имеют какое-то отношение к затекстовой реальности. К душе автора.

Есть грамматические и пр. конструкты и есть «содержательные моменты». Но реальности, в которой живут и писатель, и читатель, — нет. Поэтому нет, собственно, и литературы. Только «интертекстуальные этюды». Да, эти господа именно так и выражаются.

План содержания при подобном взгляде на вещи столь же отчужден от реальности, как и план выражения. Оба сведены к «литературным» приемам. То и другое — *элементы текста*, то есть того, что получается, если дискурсный калейдоскоп встряхнуть в очередной раз.

Таким образом, заодно из постструктурализма выпадает по необходимости и синтагматика: ввиду равнодушия к устройству и движению смыслового целого не важно, «как сделан текст». Он не сделан, он случается.

Это шарж на ОПОЯЗ.

Писатель изображается в виде многоголового, нет, не огнедышащего дракона, а драконьего чучела. На лице посетителя музея, ощущающего любопытство, профессиональное удовольствие и небрежное чувство превосходства над тем, что вблизи оказалось всего лишь занятно набитой шкуркой, — блуждает легкая усмешка.

Что ж. Если это теперь называют литературоведением, оставим сии игры тем, кого они занимают. Подчас это, нельзя не признать, замечательно способные люди. Это большие забавники.

Однако сентиментальный читатель, вроде меня, здесь ни при чем. И, конечно, истолковываемый писатель тоже: ежели он не добивался всего лишь репутации остроумца.

Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы.

Как хотите, но читатель, открывающий литературный томик, делает это не ради обнаружения интертекстов. Всякий задумчивый читатель, сознаемся, немного гоголевский Поприщин. Он ведь почему, например, читает стихи? Потому что готов сказать: «Может быть, я сам не знаю, кто я таков». Он тоже готов воскликнуть: «Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи — той, которая бы питала и услаждала мою душу...» Согласен, этот стиль слишком устарел. Да и мы не в Испании. Ну а по существу дела?

О «затекстовой» реальности. Blow-up

Приходит на ум знаменитый фильм Антониони, где убийство — это условность фотоувеличения. Реальное событие совершилось постольку, поскольку его проявил художник, а исчезновение пленки равнозначимо тому, что одновременно и труп исчезает, так что события словно бы и не было.

В финале же наоборот: воображаемая игра клоунов и клоунесс в теннис становится реальностью, когда и сторонний человек, художник-фотограф, втягивается в нее. Вот он после некоторого колебания поднимает несуществующий мячик, вот размахивается, бросает...

Не важно, есть ли мяч, игра с ним настоящая ли, либо мяча нет, и это только захватывающая иллюзия игры. Достаточно, так сказать, содержательных приемов обращения с мячом. Сам же мяч, его действительное существование — нечто незнание. Ибо и в том, и в другом случае есть игра, только игра и ничего, кроме игры. Антониони показывает, между прочим, как незначимо для этого фотографа собственно убийство — вне азарта и могущества blow-up — равно и его живые женские модели, с которыми он так небрежен, властен, равнодушен, жесток.

Известно, что в искусстве впрямь всегда присутствует холодок бесчеловечности. Ибо жизнь отстраняется, превращается в «материал». Только такой ценой художник в состоянии уловить, обработать, «увеличить» переживание и добраться до основания реальности, дабы извлечь (создать) из нее нечто действительно человеческое.

Однако довести эту цену до «ничего, кроме игры», подорвать метафизические, экзистенциальные, нравственные основания и запросы искусства — значило бы выхолостить также и интерес самой игры, прикончить ее самодостаточность. Искусство возможно и необходимо в качестве «игры» потому, что у него есть граница, есть

жизненная реальность, которая искусство провоцирует, требуя рефлексии и воображения.

Парадоксальность (и, если угодно, «мораль») фильма Антониони состоит в том, что реальность труппа за кустами — когда все следы реальности исчезают и может показаться, будто она вообще привиделась, — вовсе не становится нулевой. Напротив! Пелена видимости, мировой художественной майи, будучи прорвана хоть на миг, уже вовек не пребудет самодостаточной. А она ведь прорвана изначально, по определению, просто ввиду осознания условности искусства.

«Осознание условности» — да ведь это оксюморон? Без условности игра невозможна, но невозможна она и при замкнутой на себя, мнимо-абсолютной условности. Тогда — как в финале у Антониони — торжество ее оборачивается поражением. Искусство перестает быть чистым.

Сейчас у нас стало модным твердить (в виде поверхностной реакции на прежние штампы), что художник — это «только художник» и никаких целей у него нет, кроме того, чтоб заниматься своим сугубо частным профессиональным делом, что ему незачем и невозможно пытаться вмешиваться в жизнь и пр. Это хуже, чем ложь, это жиденькая полуправда. Художник — человек, мучимый желанием осмыслить и выразить человеческое, ведь без вымысла и рефлексии на жизнь она, жизнь, бессмысленна, ее вообще как «жизни» — нет. Поэтому там, где «дышат почва и судьба», искусство, пожалуй, разом и «кончается», и *начинается*. Чем мощней этот запрос о жизни и — тем самым — воля к ее реконструированию, преобразению, — тем художественный импульс самозабвенней, тем ближе это к «чистому искусству».

Есть жизненная подкладка и мера для всякой условности. Всякое «якобы» имеет власть — от противного. Как, впрочем, и всякое «на самом деле». Весело играют ряженные в воображаемый теннис, но это притворство леденит в финале фильма душу. Мяч якобы «ест» — и «теннис» (подобные этюды дают разыгрывать студентам-актерам на первом курсе) мог бы выглядеть весьма изящным и забавным. Только не в данном случае.

Лотман назвал бы это «минус-приемом». Игра мимов пытается укрепить нас в ощущении, что условное реально, реальное условно и граница между ними безразлична. И что... убийства как бы и не было.

Но оно было...

Мы это помним и знаем тем острее и тверже, чем более увлеченно расходятся клоуны, и особенно в тот миг, когда фотограф «поднимает» мяч. Промелькнувший и скрывшийся с глаз островок реальности всячески затапливают волны игры. Но тем тревожней и непреложней этот островок. Да и само марево воображения тем трагичней в своей самоуверенности.

Как раз на границе между внетекстовой реальностью и текстом оба они актуализуются с наибольшей силой.

Памяти Николая Гавриловича Чернышевского

Похоже, до греческих календ не отвязаться все-таки от проблемы — покорно прошу извинить! — *эстетического отношения искусства к действительности.*

(Притом следует подчеркнуть, что художественное произведение целенаправленно и невероятно сгущает, гиперболизирует, наделяет самодовлением некое свойство, присущее *любому* тексту, попадающему, например, в руки историка: в той мере, в какой текст может быть понят как результат более или менее активного языкового пре-творения реальности.)

Искусство — для жизни потусторонний и, значит, высший, подлинный мир. Фантастичный, почти неузнаваемый, со своими законами, и т. п., это дело известное. Поэтому Тынянов пытался ввести понятие «лирического героя». Чтобы мы, когда лирик говорит «Я», не решили, что это бытовой Михаил Юрьевич или Осип Эмильевич. Если лирическая поэзия автобиографична, а это всегда более или менее так, если мы даже можем, читая, подставить в текст имена и даты, реальную личность и обстоятельства жизни поэта, короче, «действительность», — то это будет все-таки сомнительным контрабандистским предприятием ввиду «законов речи, запятых, языка». Язык, жанр, внутренняя необходимость стиля и пр. заставляют чувство, событие — самое «Я» — рождаться в поэзии наново и продолжать существование словно бы через метемпсихоз. Это дело известное, хотя и загадочное.

Ведь и у литературы есть свой потусторонний мир и, значит, тоже высший для нее и подлинный. Это «действительность» — иначе говоря, то, что есть в жизни помимо и сверх искусства.

Да, искусство для многих людей — лучшая и высшая доля жизни. «Дискурс», может быть, важнее, значительнее и в конце концов действительно самой действительности. Но это все же только ее часть. И жизнь универсальнее, важнее искусства. Речь не о «первичности», а об асимметрии этой неразлучной пары.

Они — как лошадь и всадник, на ней уверенно возвышающийся. Лошадь может обойтись без всадника и останется лошадей. Всадник не может обойтись без лошади, если хочет остаться всадником. Впрочем, поскольку существуют всадники, они смотрятся вместе с лошадьми или примысливаются к ним, отчасти наоборот.

Поэтическое понятие «лирического героя» проблематично не менее, чем наивное натуралистическое отождествление лирического «Я» с имярек. Поэтому нетрудно отнестись с сочувствием к горячим возражениям против этого понятия, например, у Надежды Яковлевны, кажется, во «Второй книге». Она была убеждена, что, когда Мандельштам писал «я», он писал не от имени своего лирического героя, он писал о себе. Это высказывалось его доподлинное реальное «Я».

Н. Я. была права. Однако с поправкой, против которой она вряд ли стала бы возражать (?). О себе писал не просто бытовой и повседневный человек, а поэт в *нем же*. Да, тот же Осип Эмильевич, что и «в жизни», но все-таки в некоем решающем и таинственно переворачивающем его жизнь *наклонении*.

То есть, собственно, с... тыняновской поправкой? — несмотря на, может быть, чрезмерную «доведенность» последней. Ибо Тынянов искал о-пределение, такую эпистемологическую дистинкцию, которая — между прочим, вполне в постмодернистском вкусе? — увела бы «Я» из внетекстовой эмпирии и сделала исключительно внутрилитературным знаком. Однако творческая энергия неустанно преступает пределы и работает — себе на пользу, подчас и в убыток — авантюрным «челноком» между человеком и Поэтом, который в нем живет.

Два «Я» живут в поэте, и оба они суть его единое и единственное «Я». «Реальное Я» срывается, как электрон, на другую орбиту вокруг себя же и движется уже по законам искусства. «Поэтическое Я» не только выражает «реальное я», но и формирует его. Их отношение может быть выражено знаками равенства/неравенства.

В той или иной степени *mutatis mutandis* это же может, конечно, сказать исследователь, например, античности или средневековья о риторском, богословско-мистическом, дидактическом сочинении, об эпистоле, или хронике, или эпитафии, или о словесно регламентированном либо описанном ритуале, даже о городском или цеховом уставе и всяком юридическом или хозяйственном тексте, о дипломатическом донесении, короче, о любом устном или письменном речевом проявлении. Неудивительно, что новые представления о реальности и языке, авторе и читателе, тексте и его понимании, возникнув в литературоведении, распространились тут же с художественных текстов, наиболее многозначных, самодостаточных, купающихся в языковом потоке, наиболее полно выражающих своей свободой/несвободой и нормативностью/спонтанностью идею текста, на всякую донесшуюся до историка человеческую речь (весь).

Читатель напрямую соприкасается только с литературным «Я», то есть с речью. Но, чтобы внять ей, он не может выхолощенно принимать литературу только за литературу. Речь сама по себе артефакт, но она же и эпифеномен жизни, в то время как жизнь — эпифеномен литературы (да простятся мне геллертерские выражения). Ему, читателю, приходится вбирать и соразмерять прочитанное с потусторонней для литературы, затекстовой реальностью, известной ему отчасти также по собственному опыту. Литература — это посредник не только между читателем и другим, но и между ним и его собственной жизнью.

Он, читатель, имеет дело не просто со словами о любви и желании, но с любовью и желанием, ставшими чужой речью о них и потому способными стать его собственным переживанием и претворять уже его «Я». Он имеет дело не просто со словами о смерти, но с реальностью смерти, напомнившей о себе «глаголом» и нередко, нарядившись в этот саван, гущей сердца людей сильнее, чем в реальности. Потому что смерть в реальности — нечто свершившееся, однозначное, готовое, чужое для живых, это только голый и бес-смысленный факт смерти. А смерть в (особенно) художественной рефлексии — это пред-знание и воображение о ней, это тайна, это катарсис, это что угодно.

Правда, кроме самой смерти.

Можно бы не пускаться в столь банальные напоминания, если бы я не испытывал необходимости сказать очень простую вещь, о которой нынче не принято вспо-

минать. Художественное волнение при чтении — это волнение по поводу всего только слов... однако, во-первых, это именно волнение, и анализ — тут я ощущаю себя непоправимо старомодным — должен бы чутко сверяться с ним и служить ему. Во-вторых, впечатление было бы невозможным или куда более слабым, если бы дело шло только о законах речи и запятых. Дело идет о любви и о потере ее, о жизни и смерти. Притом и о вашей жизни, вашей любви, вашем одиночестве, ваших похоронах.

Короче — о «затекстовой» реальности... Поэтому мне кажется странным литературоведение, которое видит свою задачу не в том, чтобы объяснить, как такое парадоксальное дело может получиться, а именно: как посредством размещения определенных слов в определенном порядке, то есть через превращение «жизни» в нечто, ей не тождественное, — через огромное удаление, через отлет от жизни, — мы получаем возможность к ней приблизиться.

Почему, собственно, мы — «жертвы законов речи»? Почему — «нет мертвых, живых. / Всё — только пир согласных на их ножках кривых»? (Пишу книжку о Бродском, отсюда потребность его цитировать.) Очевидно, потому, что, лишь будучи опосредованы *высказываниями*, жизненные *реальности* становятся для нас таковыми.

Поэт чрезвычайно остро ощущает жизненность, прочность, фундаментальность, самодостаточность «россыпи черного на листе». Но с этими свойствами сочинительства связан величайший парадокс, который и пытаются перетереть челюсти постмодернистической критики. Затекстовая реальность *существует*, будучи ничуть не менее поэзии «пресловуднейшей штуковиной». И — ни в зуб ногой! — даже составляет в конечном счете единственную причину, по которой люди испытывают потребность создавать тексты или знакомиться с ними. Но, разумеется, в «символическом» знаковом мире людей реальность возможна и действительна для себя только в качестве за-текстовой... пред-текстовой, после-текстовой.

Тексты исходят из пучин затекстовой реальности, в которой, кроме них, есть: телесность, инстинкты, страсти, интересы, семейные, политические или иные обстоятельства, средства передвижения и связи, традиции общения, материальные условия повседневности и многое другое. Возникнув, тексты возвращаются в эти же пучины, их преобразуя, консервируя, изменяя, окрашивая, так что затекстовая реальность оказывается неравной себе по определению.

Эта постоянная обратная связь — на историческом уровне, но и на уровне индивидуальной биографии — могла бы превратиться в сказку про белого бычка, если бы не возможность — по правде, очень трудная для реализации — воспринимать *вместе* и слова, слова, слова, и то, чем заполнен человек в молчании или поступке, если ему не дано сочинять и когда он не читает. Вместе, таким образом, все, из чего складывается «действительность»: и непосредственно действительное, и, по блоковскому слову, невозможно-возможное в ней.

«И невозможное возможно, / Дорога дальняя легка, / Когда блеснет в дали дорожной / Мгновенный взор из-под платка, / Когда звенит тоской острожной / Глухая песня ямщика». *Легка* — через воображаемое, напетое, выговоренное. Благодаря, если угодно, «дискурсам». Или «текстам».

Они кристаллизуют душу живую.

И делают для человека легче (о-смысленней) его не такую уж и дальнюю дорогу.

Лампа о ночи и о себе

«Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе» (И. Бродский, «Колыбельная Трескового мыса»).

Или скорее все-таки *лампа* о ночи?

Даже самое несложное и неутешительное заключение по ходу этого размышления — «*бессмысленность жизни*» — есть тоже некий смысл.

Даже такой слабый свет — бесконечно просветленной, чем жизнь без думания о мире и о себе. Пусть думание и заводит в заведомую «бессмысленность», то есть в трагическую несоизмеримость с какой-либо абсолютной шкалой, в мире не существующей (или, если считать ее существующей, для нас недоступной: что то же самое).

Речь идет о самооценности рефлексии.

Витгенштейн вовсе не полагал, конечно, что нельзя спрашивать о том, на что не существует ответов, но справедливо выводил подобные вопросы за пределы положительного рассудка. Они лежат в сфере эстетики (=этики). Они относятся не к тому, что существует и происходит в мире, а к тому, что в нем могло бы (и должно бы) происходить. Они вне какой бы то ни было *наличной* логики, поскольку она замыкается на себя же и *для нее* «тайны не существует».

Между тем смысл жизни относится к «мистике». Это всегда именно тайна.

Вопрошание человечно, и более того: безнадежные вопросы особенно. Ответ, состоящий в таинственности, то есть в невозможности ответа, не нулевой, это нечто вроде плюс-минус бесконечности. Он — и только, собственно, он — требует *избыточной* (по Канту, «незаинтересованной») работы ума и воображения. Парадоксальное совпадение предельной важности и бесплодности подобной работы, высшей ответственности и безответности, отсутствие положительных гарантий — как известно, есть почва и художества, и метафизики, сиречь философии. Это царство, по Бродскому, «незримых вещей».

Смысл — ответ на вопрос, который человек задает себе и немотствующему бесконечному миру, *как если бы* мир был «ТЫ». Такой вопрос есть вместе с тем эхо всех ранее данных и услышанных ответов. Дойдя до индивида, чужие ответы приобретают вновь характер вопросов, требующих собственного перерешения.

Смысл — по крайней мере «последний» смысл — состоит не в логическом выводе, отделившемся от человека, но в экзистенциальном выборе, *в самом усилии ответить*. Смысл совпадает в конечном счете с судьбой человека. Он поэтому не что иное, как «правда»: вот этого индивида и вот этой его неповторимой жизни (опять Бахтин).

Протертая до дыр максима, будто «смысл жизни в самой жизни», сама по себе, конечно, чистейшая глупость,— если при этом имеют в виду, что «надо просто жить». Темное протекание неодухотворенной жизни как таковой, в ее самотождественности, бес-смысленно и потому бесчеловечно.

Но это действительно серьезнейшая максима, если подразумевается, что жизнь отнюдь не тождественна себе, не равна самой себе: ввиду усилий индивида понять, оценить и, следовательно, направить ее. (См., кстати сказать, об этом в моей книжке об авторском самосознании Петрарки.)

Смысл жизни в проживании ее в качестве *осмысленной*. Как если бы в ней был смысл. Пусть в жизни «нет смысла» (внеположного ей), однако сама эта вечная мучительная «нехватка смысла», эта *разумная* экзистенциальная тоска свидетельствуют, наподобие платоновской «тени тени», что нечто высшее *бытийствует*. Высшее есть сам же индивид в меру его способности отстраниться от себя, увидеть свой мир со стороны.

Смысл жизни состоит в идее смысла жизни.

Неверно, что у жизни «нет смысла», он есть, но всегда *отсутствует*.

Его всегда приходится *искать*.

Это и называется культурой.



Вячеслав КУРИЦЫН

Экс-курсия

Город в истории существует как сгусток фактов и легенд плюс литературные амбиции того, кто историю рассказывает. Карты, схемы и телефонные золотые страницы — не город, а руководство по выживанию в пространстве и времени. Город же возможен лишь как нечто художественное, то бишь умышленное. Город как целое — каприз праздного зеваки, которому мало, чтобы стояли дома и курсировали троллейбусы: которому надо наделить все это каким-нибудь непрактическим смыслом.

Хотя бы таким: исполняется 79 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Год назад, говоря о советских датах, памятниках и т. д., приходилось оговариваться: «Это наша история, какой бы она ни была». Время утекло быстро: для тинейджеров коммунизм — уже вовсе не идеология, а текст. В среде панков было модно голосовать в июле за «папашу Зю». Михаил Золотоносов, рецензируя в «Московских новостях» книгу И. Паперно о Чернышевском, написанную так, будто окончательно ушел в архивы вопрос о ревдемократах и ревдемократии, выразил уверенность, что совсем скоро абсолютно деидеологизируются Сталин и Ленин. Останутся в качестве героев увлекательного исторического романа, где дух и душа главнее, чем политические страсти-мордасти. Дай-то Бог.

В октябрьском «Октябре» — прогулка по Красной площади. От Александровского сада мимо Никольской, Сенатской, Спасской башен, мимо Мавзолея, к Васильевскому спуску.

На Красной площади, как известно, круглей всего земля. Прекрасный повод для начала прогулки. Кремль. Лютеция Москвы, сердце России и символ государственности. Власть испаряется над его стенами, как пар над кастрюлей: великолепная, вкусная, наваристая власть. Но власть для нас таинственна, а потому страшна. «Все говорят: Кремль, Кремль. Ого всех я слышу про него, а сам ни разу не видел», — сообщено в «Москве — Петушках». Власть как бы есть, но ее не видно. В Кремль пускают (кроме четверга, с 10 до 17, вход одна тысяча руб., билет в несколько соборов и в Оружейную палату восемь тысяч, а для иностранцев в соборы пятьдесят, а в палату все шестьдесят: русские вахтеры всех уровней запросто отличают иностранца от соотечественника, будь последний одет хоть от Хьюго Босса), можно побродить по чистым тропинкам, потрогать Царь-пушку. Из телевизора граждане знают, что в Кремле гуляют и Высшие Руководители, но они никогда не столкнутся на променаде с тысячерублевым туристом. Турист уверен, что вот в этих красивых зданиях работает начальство, но он никогда не увидит в окне озабоченный лик Президента. Что, Президент не смотрит в окно? Уверяю вас, смотрит, да еще как смотрит. Просто кто-то из нас призраки — они или мы. Мы проходим друг через друга, не замечая. Так что — чур, чур — Кремль обойдется без нас.

На Красную площадь мы поднимемся от ворот Александровского сада. Слева мы оставим впавший в глухую реставрацию Исторический музей, где, однако, одна дверь открыта и даже манит тихим блеском: ювелирная лавка. Все совершенно понятно: денег не хватает даже на главные музеи, и всяк, обладающий квадратными метрами, охотно пускает в уголок новых предприимчивых людей — забавно только, что такая громада, как Исторический музей, пытается согреться угольком крошечного магазина. Он сверкает здесь, как изнеженный брильянт на чудовищной печатке, как золотой зуб во рту Паниковского.

Справа, как несложно понять, у нас остается кремлевская стена. Зубцы, форма которых очень привлекает балующихся фломастерами детей (я сам в детстве

обожал рисовать эти зубцы, но карандашами: фломастеры тогда были редкой импортной роскошью. Это сейчас я знаю, что карандаш в сто раз лучше...) Всего зубцов на кремлевской стене 1045 (одна тысяча сорок пять). Ученые сосчитали. Ширина 1—2 м, толщина 65—71 см, высота 2—2,5 метра. Эта информация была важна для людей, которые занимали очередь в шесть утра, чтобы увидеть Ленина. При жизни на Ленина ходили смотреть ходоки. Едва он почил в бозе, со всех концов необъятной страны кинулись люди смотреть на труп. Еще на излете застоя рассказывали анекдот про степного человека: тугудым-тугудым по степи копыта, в юрту степной человек, стремительно вступает в интимные отношения со стерегущей очаг женой, вновь седлает коня и возобновляет торжественный тугудым. «Что случилось?» — кричит вслед супруга. «Я Ленина виде-ел!»

Его следовало именно видеть. В этом мифе вообще много чего связано со зрением. Ленин, в общем, лежит и присматривает, чтобы все было правильно. По слову поэта, как рентген просвечивает тех, кто его посещает. Раньше была поговорка «глаз — алмаз» (что совмещает взгляд Ленина с рубиновыми звездами, чья визуальность тоже вполне сказочна, — о чем ниже). Не в силах скрыться от пронизывающего зрения, следующие вожди утверждали себя тем, что попирали его гробницу сапогами. Топтались на трибуне, грелись водочкой. Борис Гройс считает, что мертвое тело значит, что Дух его надежно покинул и может спокойно вселяться в тех, кто топчется на Мавзолее. Предположение смелое, но красивое.

Но мы пока топчемся в очереди — в той очереди, что стояла здесь несколько великих десятилетий. Стоя в очереди, мы сами являем объект искусства соцреализма: мы выставлены как свидетельство народной любви к мумии, нас воспроизводят во всех возможных альбомах и буклетах. Эта главная очередь делится своим метафизическим смыслом с очередью вообще: вся страна стояла в очередях весьма сакрально. В очереди свершается великое чудо — ничего не делая, ты приближаешься к цели. Владимир Сорокин написал об этом мире целый роман. Алексей Парщиков примером из жизни очереди иллюстрировал Карлоса Кастанеду: женщина, стремящаяся вне очереди к винному окошку, получая от поэта уместное замечание — «вы здесь не стоите», честно отвечает, что да, здесь не стоит, а стоит в конце, и преспокойно покупает бутылку. Человек большой культуры всегда готов согласиться, что его здесь нет. Он всегда существует в некоем подобии вечности.

Когда Мавзолей открыт, вход на площадь, что называется, ограничен: можно пройти только к Ленину и только здесь, где проходим сейчас мы. Гляньте еще раз направо: у кремлевской стены работает общественный туалет. Вполне грязный, но до сих пор бесплатный. Отдав дань этому торжеству гуманизма, двинемся к Мавзолею мимо Никольской башни, мимо строго глазающего на нас из автомобильного окна московского милиционера. Мавзолей гостеприимен, кроме пятницы и понедельника с 10 до 13. Очереди никакой вообще.

Мавзолеев было три. Первый Шусев построил за три дня, к лету 1924 года он же соорудил второй, потом был объявлен конкурс, который никто не выиграл, и вновь Шусеву достался лакомый заказ. Черный лабрадор да красный порфир. Кирпичи для кладки стен привозили в бумажной упаковке.

К. Мельников выиграл в 1924-м конкурс на саркофаг, получил двадцать червонцев. Сердился, когда не могли найти дубовый кряж, который, по его мнению, нес «идею вечности». Кряж нашли.

Текст написал В. Бонч-Бруевич. Предлагались всякие эстетские варианты: «СССР. Владимиру Ильичу...». Бонч все зачеркнул и написал: «Ленин». Текст и впрямь отличный.

Нереализованные проекты были чудо как хороши. Л. Коган предлагал двадцатизэтажное здание в виде фигуры покойника. С Правительством в животе и с прожекторами в глазах (вот бы она еще могла ходить-шагать по Москве). Н. С. Крылова хотела «соорудить глыбу, по которой безостановочно должен был двигаться поезд и трактор и течь ручей». Кому-то примерещилось сооружение размером со всю Красную площадь. Жаль, что ничего не сделали такого. Особо жаль идеи глыбы с трактором.

Ваш покорный слуга недавно испытал новый опыт общения с Мавзолеем: поспешая куда-то по Красной площади, он понял, что теперь можно запросто сюда ЗАГЛЯНУТЬ. Заскочить, забежать, быстро глянуть, на месте ли тело, и побежать дальше. Заскочил, обежал вокруг чучела, быстренько просеменил вдоль стены

(там, кстати, бродят очень аккуратные бабушки и объясняют желающим, что за личность крылась под той или иной фамилией: здесь похоронено очень много совершенно неясных людей), потратил на все пять минут. Утвердил себя как свободного человека в краю великих теней. Неправда, конечно: был бы свободным — не стал бы об этом и думать. Но все равно было приятно видеть, как изумлены милиционеры видом стремительно проходящего сквозь объект человека.

Мавзолей долго еще будет лишать сна интеллектуалов всех мастей. Стас Намин предлагает устроить мумии мировое турне. Комар и Меламид грезят бегущей электронной строкой. В двухминутном фильмике ОРТ боец, застыв на главном посту (ко времени выхода ролика — конец прошлого года — солдат у Мавзолея давным-давно не было: охраняет милиция). Вашингтонско-русский сочинитель боевиков Лев Гурский сообщает в романе «Опасность», что в подвалах Мавзолея торчит на видном месте кнопка, отвечающая за взрыв всего города Москва, а в аннотации еще не вышедшего романа «Кремлины» обещает поведать, где спрятаны деньги партии и что таится за строчкой «Уберите Ленина с денег».

Итак, проскочив вдоль траурной стены (и отметив в скобках, что у Сталина до сих пор больше всех цветов), мы вновь окажемся на площади. Мы оставим до следующего раза ГУМ, Казанский собор и Лобное место. Только взгляд бросим на собственную площадь: фотографии («Полароид» и «Кодак», пятнадцать — двадцать тысяч руб.), голуби, брусчатка. Еще была у коммунистов идея — выложить площадь светящимися плитами. Очень многого они не успели.

Справа от нас — Спасская башня. На минутной стрелке ее часов, если верить «Палисандрии» Саши Соколова, повесился Лаврентий Берия. Такая истерическая кода коммунистических претензий на господство над Временем, на остановку Времени. Такая метафизическая гордыня: часы обязаны остановиться в момент смерти хозяина. Эти часы многим не давали покоя: на картине «Утро стрелецкой казни» вопреки историческим реалиям часы на Спасской башне отсутствуют. То ли вызов великой государственности, то ли изысканное ей служение. Спасская — одна из пяти башен, на которых сияют рубиновые звезды. «Хоть велика планета Со всех концов земли Всем звезды кремлевские видны» — это Фатьянов, но мотив суперзвезд посещал каждого второго советского поэта. Первые звезды, сняв с башен орлов, поставили к ноябрьским торжествам тридцать пятого. Мне очень нравится, что за месяц до этого звезды выставляли на всеобщее обозрение в Парке Горького. По части инсталляций мы тогда были, конечно, вне всякой конкуренции. Ныне бродит в умах оригинальная идея заменить звезды обратно орлами, но пока в рассказе Виктора Пелевина о том, как Басаев взял Кремль, звезды облачали в гигантские папахи.

Через Спасскую в Кремль попадает начальство на черных машинах. Оно и раньше здесь ходило, только — даже сам Царь — снимало шапку и слезило с лошади. Славно было бы видеть Президента, кой, подъезжая к главным воротам страны, выпрастывается из «мерседеса» и обнажает голову.

Ошую — Покровский собор, он же храм Василия Блаженного. С апреля по ноябрь ждет гостей с 10 до 17, а с ноября по апрель — с 11 до 16. Кроме вторника и первого понедельника месяца. Самое загадочное в соборе, что его не снесли коммунисты. Согласно одной из легенд в маковках сидят баллистические ракеты. Согласно другой П. Д. Барановский забрался в ковш экскаватора, приехавшего губить храм. Но и экскаваторов тогда не было, и Барановский не художник-акционист. Последнее, впрочем, творение Бармы и Постника вниманием не обходят: с год назад здесь выл и лаял для французского телевидения и для программы «Времечко» лидер партии животных Олег Кулик. Тут же возник из-под земли молодой человек из местной охраны: выть он не запретил, но запретил снимать это на «Бетакам». Пришлось спуститься на Васильевский спуск, где теперь принято устраивать рок-концерты и показы мод. С тем же Куликом был на Васильевском спуске еще один казус: он купил место на рекламном щите и поместил там свою физиономию с рогами, а какие-то (чуть не Лужков) власти распорядились сие снять, дабы не увидела случившаяся как раз в Москве аглицкая королева.



НОВЫЙ МИР — 1997

*ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ*

❖ **ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИЗДАНИЙ
РОССИИ ❖ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ И САМЫЙ
ТОЛСТЫЙ ИЗ «ТОЛСТЫХ» ЖУРНАЛОВ ❖
БОЛЕЕ 800 НОМЕРОВ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ❖**

В 1997 году «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать третью часть военного романа ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Прокляты и убиты», повесть ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА «Алина», перевод нового романа ИНГМАРА БЕРГМАНА «Исповедальные беседы», дневники ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА, исторический роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Вечера с Петром Великим», повесть БОРИСА ЕКИМОВА «Наш старый дом», «Автобиографические анекдоты» БУЛАТА ОКУДЖАВЫ, роман ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ «Прохождение тени», цикл эссе «Из литературной коллекции» лауреата Нобелевской премии АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА, повесть ГАЛИНЫ ЩЕРБАКОВОЙ «Митина любовь», роман Ю. ЭДЛИСА «Аноним».

Над новыми произведениями для нашего журнала работают СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ, АНДРЕЙ БИТОВ, МИХАИЛ БУТОВ, ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР, МИХАИЛ КУРАЕВ, АЛЕКСАНДР КУШНЕР, СЕМЕН ЛИПКИН, ИННА ЛИСНЯНСКАЯ, ВЛАДИМИР МАКАНИН, АНАТОЛИЙ НАЙМАН, ОЛЕГ ПАВЛОВ, ВАЛЕРИЙ ПОПОВ, ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ, ЕВГЕНИЙ РЕЙН, ГЕНРИХ САПГИР, ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ и другие авторы.

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ
ЖУРНАЛ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ «АИФ-ПРЕСС».

Подписная цена на 1 месяц — 14 800 руб.

на 3 месяца — 42 400 руб.

на 6 месяцев — 83 800 руб.

Индекс льготной подписки через «АИФ-Пресс» — 61534.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПОДПИСКИ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ:

1. Б. Черкасский пер., д. 4, коми. 17	Центральный пункт приема подписки	928-00-41 928-10-85
2. ул. Рабочая, д. 29«а»	РЭУ № 8	278-64-08
3. ул. Авиамоторная, д. 29	РЭУ № 4	362-80-01
4. ул. Лонгиновская, д. 10	РЭУ № 8	360-16-75
5. ул. Молостовых, д. 1«г»	РЭУ № 41	300-00-81
6. ул. 5-я Соколиной горы, д. 25«а»	РЭУ № 17	365-17-01
7. ул. 2-я Владимирская, д. 8, к. 2	РЭУ № 35	176-79-45
8. ш. Энтузиастов, д. 70	РЭУ № 36	176-08-32
9. ул. Братская, д. 21	РЭУ № 38	368-34-00
10. ул. Салтыковская, д. 29«а»	Новокосино	702-58-01
11. ул. Вешняковская, д. 17«г»	РЭУ № 44	375-95-44
12. ул. Фортунатовская, д. 11, кв. 24	РЭУ № 20	369-19-74
13. Берингов пр-д, д. 3	РЭУ № 4	180-01-64
14. ул. Осташковская, д. 28	ДЗ уч. № 1	476-78-02
15. Ясный пр-д, д. 10	ДЗ уч. № 2	477-50-77
16. ул. Сухонская, д. 7	ТО-4	472-60-62
17. ул. Печерская, д. 11	РЭУ № 11	470-97-47
18. ул. Полярная, д. 34, к. 2	РЭУ № 32	478-95-01
19. Студеный пр-д, д. 6/3	РЭУ № 30	479-67-04
20. ул. Декабристов, д. 28, к. 1	РЭП № 23	907-55-79
21. ул. Мусоргского, д. 7	РЭП № 24	403-35-20
22. Путевой пр-д, д. 26, кв. 3	РЭП № 44	902-38-69
23. ул. 2-я Пугачевская, д. 8, к. 3	РЭУ № 2	963-71-57
24. ул. Наримановская, д. 13	РЭУ № 5	169-75-10
25. ул. Знаменская, д. 23	РЭУ № 3	168-26-85

26. Волгоградский пр-т, д. 135	РЭУ № 4	172-48-49
27. Волгоградский пр-т, д.130	РЭУ № 9	379-59-64
28. Волгоградский пр-т, д. 46/15	ДК АЗЛК	207-12-07
29. ул. Привольная, д. 5, к. 5	Жулебино	705-04-75
30. ул. Донецкая, д. 4, к. 2	Марьино	357-54-51
31. Батайский пр-д, д. 55	Марьино	349-12-13
32. ул. Шухова, д. 16	РЭУ № 56	237-05-75
33. Красностуденческий пр-д, д. 19	РЭУ № 51	977-54-29
34. м/р-н Строгино		499-50-17
		с 19 до 21
35. м/р-н Строгино		499-86-47
36. ул. Изумрудная	Сов. ветеранов	

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПОДПИСКИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ В СЛЕДУЮЩИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:

	телефон для справок
1. г. Жуковский	7-85-22
2. м/р Холодово	57-85-22
3. г. Раменское	1-18-04
4. г. Пушкино	
ул. Некрасова, д. 2, ц/библиотека	3-48-17
5. г. Железнодорожный	
ул. Смельчак, д. 8, библиотека	522-09-83
6. г. Реутов	
ул. Ленина, д. 2, библиотека	528-64-11
7. г. Краснознаменск	
п. Новостройка	5-52-38
8. г. Красногорск	562-46-23